

РАБОТА И ОНЛАЙН



ДРУГОЕ
НЕБО

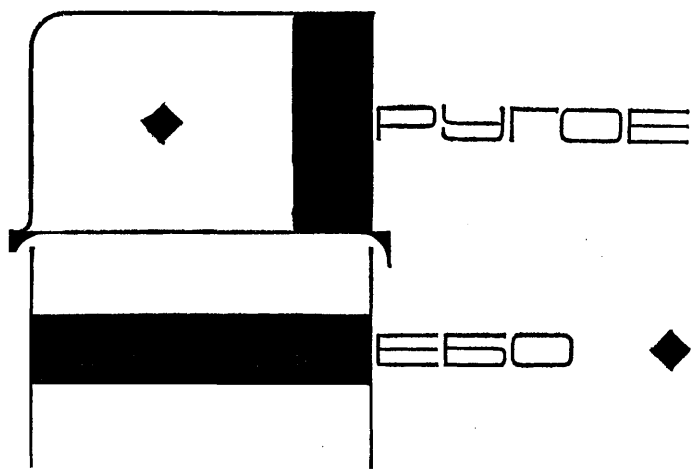


РАБОТА И ОНЛАЙН

**Издательство
«Художественная
литература»**



**МОСКВА
1971**



ХУЛИО
КОРТАСАР



РАССКАЗЫ



Перевод с испанского

И(Латин)
К69

Составление и предисловие
Э. ВРАГИНСКОЙ

Художник
Г. КЛОДТ

7-8-4
193-71

ХУЛИО КОРТАСАР И ЕГО РАССКАЗЫ

В знаменитой повести Хулио Кортасара «Преследователь» происходит разговор между негритянским саксофонистом Джонни Картером и его другом, джазовым критиком Бруно. «Да, я прочитал несколько страниц,— говорит Джонни о посвященной ему работе,— хорошая книжка, интересная... Все равно как в зеркало смотришь». В последних словах звучит вовсе не похвала, а серьезный упрек, порицание. Талантливый музыкант-самоучка Джонни не знал, что еще великий Леонардо да Винчи говорил о том, что «искусство не должно быть зеркалом вещей», но у чуткого честного Джонни свои счеты с зеркалом, столь частым в мировой литературе символом предела, стены, за которой кроется разгадка правды. «Бруно, ты забыл написать про главное, про меня!» — уверяет музыкант своего утонченного биографа, а дальше выпаливает с откровенной злостью: «Есть еще то, что и ты, и такие, как мой приятель Бруно, называют богом. Тюбик с пастой — для них бог, свалка барахла — для них бог. Боязнь дать себе волю — это тоже для них бог. И у тебя еще хватило смелости смешать меня со всем этим дерьмом... Наплел что-то про мое детство, про мою семью, про какую-то древнюю наследственность... Зачем ты заставляешь меня молиться ему в твоей книжке?»

То, что говорит саксофонист Джонни, имеет прямое, непосредственное отношение к программным философским рассуждениям автора «Преследателя» — о них речь впереди, но в этих словах слышится нетерпение и даже досада самого Кортасара, которому нередко приходится объяснять себя и свои поступки всем тем, кто толкует, расшифровывает и изучает его творчество. Разумеется, Хулио Кортасар, задавшийся целью не только осмыслить, но и переосмыслить современный мир и современного человека, — не Джонни, и, быть может, ему и приходится «выдавливать из себя по капле» Бруно, который боится дать себе волю и цепляется за окостеневшие условности. Но Кортасар твердо держит сторону Джонни и наверняка не желает, чтоб его заставляли «молиться чужому богу».

Кому же молится Хулио Кортасар? Во что верит? И во что не верит? Почему каждая книга этого уже немолодого аргентинского писателя становится сенсацией, предметом обсуждений, восторгов и споров? На страницах разноязычной печати есть ответы на этот вопрос — подчас противоречивые, а порой исклю-

чающие друг друга. Кортасара могут изобразить убежденным революционером, а могут и упрекнуть в равнодушии к насущным проблемам жизни. Хулио Кортасар сегодня так популярен, что его без преувеличения можно назвать одним из идолов современной латиноамериканской прозы, о расцвете которой так много и охотно пишут во всем мире. Почти все произведения Кортасара переведены в Европе и Америке, каждая новая книга его раскупается с небывалой для Латинской Америки быстротой. Предприимчивые журналисты в погоне за броскими заголовками своих статей перефразируют названия кортасаровских романов и рассказов. Знаменитый итальянский кинорежиссер Микеланджело Антониони поставил фильм «Крупным планом» по мотивам напряженного и увлекательного рассказа Кортасара «Слюни дьявола». Художники и фотографы стараются перецеголять друг друга в оригинальном оформлении кортасаровских книг. Рядом с именем Хулио Кортасара иной раз появляются и гиперболические сравнения: «Рабле XX века», «Симон Боливар в латиноамериканской литературе», «Писатель номер один в Латинской Америке» и т. д. У Кортасара, как и подобает знаменитости, появились уже и противники, которые пишут на него язвительные пародии и настаивают на том, что он всего лишь «старое вино в новых бутылках». Но пока идут споры, все знакомее и привычнее становится лицо Кортасара, смотрящее со страниц книг и журналов. Лицо, в котором есть горечь отречения и убежденность, озабоченность и мальчишеское озорство.

Звезда кортасаровской славы вспыхнула на стыке пятидесятих—шестидесятых годов, когда писателю было уже за сорок и когда он уже был автором книг, обойденных вниманием критики, незамеченных и непринятых. Полушутливый конспект своей жизни, до того как к нему пришла эта слава, Кортасар дает в письме к Грасиеле де Кола, автору книги «Кортасар и новый человек»:

«Я родился в Брюсселе, в августе 1914 года. Мой астрологический знак — Дева, отсюда моя астеничность и склонность к интеллектуальному. Моя планета — Меркурий, и мой цвет — серый (хотя мне по душе зеленый). Мое появление на свет — следствие любви к путешествиям и занятия дипломатической деятельностью. Отца моего назначили в аргентинское торговое представительство, которое находилось поблизости от аргентинской дипломатической миссии. Отец только-только женился и потому увез мою мать в Брюссель. Я родился как раз в самом начале первой мировой войны, в дни, когда Брюссель был оккупирован немцами.

Мне еще не исполнилось четырех лет, когда наша семья вернулась в Аргентину. В основном я говорил по-французски и до сих пор не отучился от привычки по-особому произносить звук «р». Годы детства прошли в Бансфийельде, пригороде Буэнос-Айреса, в доме, где было полно кошек, собак, черепах и сорок, — словом, в настоящем раю. Но я уже был Адамом в этом раю, потому что не сохранил ни одного светлого воспоминания о своем детстве. Своеволие взрослых, обостренная чувствительность, частые приступы тоски, астма, переломы руки, первая несчастная любовь. Потом средняя школа в Буэнос-Айресе. Потом первая работа в сельских районах. Два года (1944—1945) в Мендосе, после семилетней службы в средней школе. Потом отказ от всех педагогических должностей после провала антиперонистского движения, с которым я был связан. Возвращение в Буэнос-Айрес. Все последние десять лет я непрерывно пишу, хотя ничего, вернее почти ничего, не публикую... С 1946 по 1951 год замкнутая и независимая жизнь в столице. Я убежденный и неисправимый холостяк, меломан, страстный поклонник кино, человек, способный читать сутками. Словом, буржуйчик, слепой ко всему, что происходит за пределами эстетической сферы...»¹

К этому письму следует сделать пояснение. Хулио Кортасар, рано и твердо поверивший в себя как в писателя, не испытывал нетерпения, свойственного молодости, и сознательно не предлагал аргентинским издательствам свои рукописи. «Настал день, — говорит Кортасар, — когда я уже знал, что пишу то, что по своему уровню значительно лучше произведений, которые опубликовали в Аргентине мои сверстники. Но, предъявляя к литературе достаточно высокие требования, я понимал всю нелепость повального стремления публиковать все подряд...»²

Хулио Кортасар уже давно перестал быть «буржуйчиком», замкнувшимся в мире книг и эстетических проблем. Его глубоко волнует все, что происходит сегодня на нашей планете. Он давний и активный друг кубинской революции, и свое стихотворение, посвященное гибели Че Гевары, назвал «Послание брату». Аргентинский писатель осуждает американскую агрессию во Вьетнаме. «Смириться с ней, — пишет он, — и по-прежнему издавать книги, принять ее и по-прежнему вести разговоры о культуре — это значит быть слепцом, циником и трусом»³.

¹ G. de Cola, Cortázar y el hombre nuevo, B. Aires, Ed. Sudamericana, 1968, p. 9—10.

² L. H a r s s, Los nuestros, B. Aires, 1966, p. 262.

³ «Газета де Куба», Гавана, 1968, № 39.

Совсем недавно Кортасар побывал в Чили, куда приехал для того, чтобы приветствовать чилийский народ, одержавший историческую победу на выборах 1970 года.

Уже более шестнадцати лет Кортасар вместе со своей женой Ауророй Бернардес живет в Париже. Оба они работают переводчиками в ЮНЕСКО, в том же качестве уезжают на ежегодные совещания Комиссии по атомной энергии в Вене. Много путешествуют и ведут, по утверждению биографов, независимую и несколько замкнутую жизнь. Кортасара не раз упрекали в том, что он оставил родину, отступился от своего долга перед Латинской Америкой. Но огромная популярность Кортасара в Аргентине и в Латинской Америке делает этот упрек необоснованным. Писательский талант Кортасара дальнозорок, и Европа стала для него той точкой, откуда «перспектива Нового человека Латинской Америки, освобожденной от эксплуатации... видна отчетливей»¹.

Именно в «парижский период» стала разрастаться библиография произведений Хулио Кортасара. Сегодня он автор пяти сборников рассказов, двух нашумевших романов — «Премии» и «Игра в классы» — и трех книг, которые можно было бы назвать литературными коллажами:² «Вокруг дня на 80 мирах», «62 — модель для сборки» и «Последний раунд». Но это еще не все. Хулио Кортасар давно уже пишет стихи. Ему принадлежат публицистические эссе, литературно-критические статьи и прекрасные переводы произведений английских, американских и французских писателей.

Первая книга, на титульном листе которой появилось имя Хулио Кортасара, называется «Короли». Драматическая поэма «Короли» (1949) очень далека по своему строю и по форме от того, что Хулио Кортасар напишет в дальнейшем. Но в этой тщательно проработанной, несколько риторической поэме четко звучат темы поиска, неприятия, бунта, отречения, ереси, которые потом с годами будут настойчиво повторяться у писателя в самой различной оркестровке.

В «Королях» Хулио Кортасар обращается к греческому мифу о борьбе аттического героя Тесея с полубыком-получеловеком Минотавром. Миф о Тесее разрабатывался многими художниками и писателями. Но никто из них не посягал на незыблемость

¹ J. Cortázar, El último round, México, Siglo XXI, 1970, p. 141.

² Коллаж — склеивание (от *франц.* collage); здесь: литературный монтаж из разнородных по форме и содержанию материалов, скрепленных сквозным авторским замыслом.

этого мифа. А Кортасар разрушает его основную идею и дает ему совершенно новое содержание.

«Короли», — говорит Кортасар, — это диалоги между Тесеем и царем Миносом, между Ариадной и Тесеем или Тесеем и Минотавром. Но любопытен сам поворот темы, поскольку Минотавр берется мною под защиту. Тесей становится стандартным персонажем, личностью без воображения, почитающей все условности. Он поднимает шпагу, чтобы убить чудовище, которое есть не что иное, как исключение из ряда условностей. Минотавр — поэт, он не похож на других, он совершенно свободен. Его изолировали от всех, потому что он угрожает установленному порядку»¹.

В «Королях» Кортасар идет на штурм мифа, иными словами — на штурм того, что испокон века считается совершенным, исходным, незыблемым и что в конечном счете становится стандартным. В сущности говоря, Кортасар во всех своих произведениях будет штурмовать подобные мифы. Его шпага призвана защищать поэта, человека, «не боящегося дать себе волю», человека, «угрожающего установленному порядку». Кортасар ставит знак вопроса перед устоявшимися ценностями западной цивилизации. Он отрекается от стандартов, окаменевших формул и руководств, он пронизывает, издевается над ними, потому что видит в них все то, что душит в людях мечту, что обрекает их на бескрылое мышление и что в итоге превращается в охранную грамоту устоев и идеалов «индустриального» и «инертного» общества.

Кортасар не принимает буржуазной реальности с ее набором фарисейских традиций, у которых всегда к услугам добротные философские гарантии. И, пытаясь докопаться до корня зла, Кортасар отрекается от этих гарантий. Все его творения призваны убедить читателя в сомнительности, условности, призрачности и хрупкости философских схем, этикетов, абсолютов и каталогов, которые мешают раздвинуть рамки реальности, вывести человека на новые просторы.

Каждый рассказ сборника «Другое небо» — свидетельство страстных и настойчивых попыток Хулио Кортасара проникнуть за «зеркало», но не в страну чудес, как это было с маленькой Алисой, а все в ту же существующую и еще не познанную реальность. Каждый рассказ Кортасара — это стремление «вышибить дверь», которая не давала покоя Джонни Картеру, ищущему свою свободу.

С особой яростью Кортасар ополчается на категорию Времени. Время, измеряемое календарями и часами, становится глав-

¹ L. Hars s, Los nuestros, B. Aires, 1966, p. 263—264.

ной мишенью его атак, поскольку он видит в нем символ все тех же окостеневших условностей, сковывающих человеческий разум. Время с его триадой прошлого, настоящего и будущего млеет Кортасару в его погоне за новой реальностью, оно превращается для него в ненавистный барьер. И тогда Кортасар просто снимает этот барьер, отрывается от его логики в своих творениях. Писатель останавливает это время в повести «Южное шоссе», превращает прошлое в настоящее и даже в будущее в рассказах «Слюни дьявола» и «Мамины письма», заставляет все того же Джонни искать «способ», чтобы «прожить сто лет» в иных пространственных и временных измерениях. Но, пожалуй, наиболее прямолинейный и ключевой в этом смысле рассказ «Другое небо», где человек волей Кортасара живет сразу в двух временных и пространственных плоскостях: в Париже конца XIX века и в Буэнос-Айресе сороковых годов XX века. Заданность этого рассказа, его исходная посылка — это война, которую объявил Кортасар времени. И он воюет со временем, вводя в рассказ условия игры, нарушая привычную логику событий. Попасть в другой мир, спастись от вялой и монотонной повседневности Буэнос-Айреса очень просто: нужно лишь поверить, что крытая темная галерея, куда приходит герой, обладает магической властью, как некая машина времени. Иными словами, нужно отменить «условность привычных понятий», и тогда человеку откроется «другое небо».

Конечно, в своем неприятии всего, что охраняет лицемерие современного мира, Кортасар доходит до крайностей, он предлагает начать с нуля и слишком многому говорит «нет». В его отречении есть детская жестокость, а в его призывах крушить все и вся — «кантианские категории», «традиционную логику», «время» и вообще «заповеди христианско-иудейской цивилизации» — звучат печально известные мотивы анархистов. Но важна сама непримиримость Кортасара с догмами ложного общества. Важно то, что Кортасар, не в пример многим западным писателям-авангардистам, верит в бесконечные возможности человеческого разума. Важно, что он не впадает в отчаяние, что у него есть бог — новый свободный человек. Кортасар не испытывает никакого благоговейного восторга перед тайной, он далек от мистики и твердо знает, что «другой мир здесь... он в этом мире» (Поль Элюар). Вот почему его так мучит неназванность, невыраженность того, что ждет своего раскрытия. Вот почему он так враждует с успокоенностью и доверчивостью людей в своих рассказах, которые могут быть и вполне правдоподобными, реалистическими, а могут нарушать все законы логики, но в которых всегда будет заданность метафоры и урок притчи.

Рассказы раннего сборника «Зверинец» мало похожи на рассказы из книги «Секретное оружие», а сборник «Все огни — огонь» очень далек по своему стилистическому решению от гротескных «Историй о кронопах и славах». Но все эти книги — дети одного отца, они объединены сквозным замыслом, и черты фамильного сходства обнаружить в них совсем не трудно.

У Хулио Кортасара есть небольшая статья «О коротком рассказе и его окрестностях», в которой он излагает свою концепцию рассказа как литературного жанра и свой творческий метод. В этой статье Кортасар с удовольствием вспоминает одну из заповедей классика латиноамериканской прозы, уругвайского писателя Орасио Кируги: «Рассказывай так, словно рассказ этот интересен для небольшого круга твоих литературных персонажей, одним из которых можешь быть и ты. Только так твой рассказ обретет жизнь».

Кортасар следует этой заповеди, и потому его рассказы, как бы они ни были «запрограммированы» и усложнены, обладают силой убедительности. Кортасар словно «доверяет» свой рассказ читателю, надеется, что тот примет его условия игры и поэтому всегда находит с ним контакт. Маленький круг слушателей и эта доверительность обуславливают то, что Кортасар называет «сферичностью» и «замкнутостью» рассказа, к которым он стремится с неизменным постоянством.

Многие рассказы Кортасара написаны от первого лица, однако писатель никогда не становится судьей и толкователем ситуации, возникшей в рассказе: «Когда я пишу, то как бы инстинктивно стараюсь не быть демиургом. Хочу, чтобы рассказ обрел свою независимую жизнь, а читатель получил или мог получить такое ощущение, будто это нечто родившееся само собой, в самом себе и даже из самого себя»¹.

Кортасар признается, что он пишет очень быстро и легко и почти не правит написанного. Но рассказ может зреть дни и недели. Рассказ становится как бы разрядкой, взрывом той нервной энергии, которая накапливалась в писателе определенное время. Один английский мальчик, пытаясь объяснить, как он рисует, сказал: «Я сначала думаю, а потом обвожу линией то, что надумал». Вспоминая слова этого талантливого мальчика, Кортасар говорит, что у него нет предварительного обдумывания рассказа. Его рассказ начинается с «огромного сгустка», с «единого блока», где-то на границе сознательного и подсознательного.

¹ J. Cortázar, El último round, México, Siglo XXI, 1970, p. 40.

И форму этот рассказ обретает прямо под писательским пером, потому что в «изначальный сгусток включена не только завязка рассказа, но и его развязка»¹.

Пытаясь разобраться в особенностях рассказа, найти ту линию, которая станет границей между рассказом и другими прозаическими жанрами, Кортасар пишет: «Каждый раз, когда мне приходилось проверять перевод моего рассказа на иностранный язык... я чувствовал, до какой степени действительность и смысл этого рассказа зависят от тех ценностей, которые определяют жизнь и суть стихотворения или джазовой музыки — напряжение, ритм, внутренний пульс, то непредвиденное в параметрах предвиденного, та роковая свобода, которой любая попытка произвола наносит непоправимый ущерб»².

Хулио Кортасар посвятил своим размышлениям о рассказе целую статью, в которой мы видим писателя в творческих кулисах, как бы смотрим, что с ним происходит перед выходом на сцену. Однако Хулио Кортасару хочется сделать нас свидетелями творческого процесса непосредственно в самих рассказах. Так сказать, приобщить нас к таинству создания рассказа в самом рассказе. Пусть видит писателя за черной работой, пусть он придет на исповедь к читателю и открыто, без стыда признается в своих сомнениях, поисках и грехах — вот на что совершенно сознательно идет Кортасар. Взять хотя бы рассказ «Слюни дьявола», там о творческом распутье, о беспомощности и неуверенности писателя — чуть ли не на каждой странице. «Пооди знай, как это лучше рассказать: то ли от первого лица, то ли от второго, то ли взять третье лицо множественного числа...» Или рассказ «Мамины письма», где настойчивым рефреном звучит фраза: «Это не был вопрос, но как тут лучше выразиться». Таких примеров много, и они заключают еще одну идею, которая неотступно преследует аргентинского писателя. Хулио Кортасар при каждой возможности спешит убедить нас в том, что слово, при помощи которого люди ищут общения друг с другом, несовершенно.

Но Хулио Кортасар, не в пример целому ряду писателей Запада, вовсе не выступает против языка в его основе. Он не отрекается от слова, а восстает против его оцепенения. Ему, как пишет чилийский литературовед Луис Харс, «хочется вернуть жизнь глаголу, добиться того, чтобы слово выразило все, что оно само пыталось скрыть»³. Кортасар прекрасно понимает парадоксальность своей борьбы со словом, с тем, что является основным

¹ J. Cortázar, *El último round*, México, Siglo XXI, 1970, p. 41.

² Там же, стр. 42.

³ L. Harss, *Los nuestros*, B. Aires, 1966, p. 285.

орудием писателя, но он борется за освобождение энергии слова, за его стихийность, за высвобождение языка из плена риторики и накрахмаленных традиций.

Раскрепостить слово, найти новые измерения времени и пространства, раздвинуть горизонты реальной действительности — все это нужно Кортасару для создания нового человека. Это по существу развернутые образы, которыми Кортасар пользуется в своей художественной системе для утверждения необратимости познавательного процесса. И его творчество, даже когда в нем появляется холодок лаборатории или беспристрастность научного эксперимента, гуманно в своей основе и целенаправленности.

В первом сборнике рассказов «Зверинец» — а он по своим сюжетным линиям близок к воспоминаниям детства — очень четко проступает желание автора соединить, сплавить два начала: реалистическое и фантастическое. Соединить так, чтобы они выявляли друг друга как два дополнительных и чистых цвета. Рассказы «Захваченный дом», «Автобус» — это замкнутые, изолированные структуры, где тайна, непознанное предстает как грозная сила, внушающая страх и печаль. Фантастика вплетается здесь в сугубо правдоподобный и добросовестно обыденный контекст все с той же произвольностью игры, которая свойственна многим произведениям Кортасара. Причем именно фантастика несет в этих рассказах философскую нагрузку, «идейное задание» писателя. В рассказе «Захваченный дом» двое людей живут самой скромной жизнью. Кортасар усердно и убедительно выписывает детали этой жизни и вдруг вводит в рассказ какие-то таинственные силы, которые захватывают дом и прогоняют его обитателей. Эти таинственные силы становятся как бы символом непознанного, и есть глубокий смысл в том, что герои рассказа не вступают с ними в борьбу, а со смирением уходят. Иначе строится рассказ «Автобус», который был по-разному прочитан многими исследователями Кортасара. Казалось бы, обыкновенный автобус, который едет по улицам Буэнос-Айреса, обыкновенная девушка Клара, которая купила билет за пятнадцать песо, обыкновенный, но просто молчаливый кондуктор и пассажиры. Однако путешествие Клары в автобусе оборачивается дурным сном, который полнится предчувствием грозной опасности. Эта опасность не названа, в ней еще меньше определенности, чем в тех невидимых силах, что захватывают дом, но она страшнее, в ней больше злобы, потому что Клара и ее неожиданный спутник противопоставляют себя и пассажирам с увядшими букетами, и кондуктору, который молча требует,

чтобы они сошли вместе со всеми, и водителю, который слепо подчиняется злой воле пассажиров. Должно быть, уже здесь Кортасар хотел показать, через какие испытания суждено пройти людям, которые отстаивают свою независимость и свое желание «избрать новый непрономерованный маршрут жизни».

Герои, чьим далеким предком у Кортасара был Минотавр, герои, которые не подчиняются воле «извне» и действуют согласно своей внутренней убежденности, принимают в кортасаровских рассказах самый различный облик. Если не быть знакомым с комплексом идей писателя, если не проследить развитие этих идей в его творчестве, то его знаменитые «Истории о кронопах и славах» покажутся какой-то странной и усложненной безделкой, а между тем придуманные им кронопы — это существа, символизирующие внутреннюю свободу, убежденность и независимость, которая так необходима новому человеку. Кронопы — это существа, наделенные сверхчуткостью, и оттого они больше мученики, чем герои. «Зеленые игольчатые и влажные» кронопы живут, страдают, поют и пляшут в иных измерениях. Они давно уже сошли со страниц своих «Историй...» и появляются всюду, где идет борьба с рутинной и догмой. Кортасар, любящий при случае вспомнить мудрую аргентинскую поговорку: «Не дай себя продать, парень, и не дай себя купить», — не без гордости причисляет себя к кронопам. И не без кокетства он поместил в своей новой книге фотографию, на которой мы видим лозунг венесуэльской молодежи: «Кронопы против системы».

Кортасар придумал в этих «Историях...» не только кронопов, но еще и надежд и слав. И кронопы никак не могут понять, почему надежды превыше всего ценят точность и почему славы с такой внимательностью заводят стенные часы. На первый взгляд — забава, а на самом деле кронопа, проверяющий часы по листьям артишока, все тот же кортасаровский бунт против времени календарей. Кронопа-врач так не похож на своих больных, — а они наверняка славы и надежды, — что заболел от лекарств, которые прописывает своим пациентам. Это и есть несовместимость сверхчутких существ с окружающим их миром. Кронопа исполнен любви к мечтателям, вот почему он рисует цветными мелками крылья ласточки на панцире черепахи. У кронопов свои поводы для радости, и они равнодушны к тому, что волнует и тревожит слав и надежд, «которые вообще неподвижны». Обо всем этом сказано в «Путешествиях кронопов». А когда Кортасар пишет об «их вере в пауку», он смеется над бесплодными попытками ученых, которые лишены

воображения. Словом, ироничные и полные поэзии «Истории о кронапах и славах» написаны вовсе не для разминки, а с твердой верой, что они помогут человеку изменить взгляды на многие привычные вещи. «Истории о кронапах и славах» насыщены смехом, но в глубине своей Кортасар остается серьезным. «Я всегда считал, что юмор — это одна из самых серьезных вещей на свете», — говорит сам писатель, и его словам, как бы эхо, вторит один из популярных лозунгов французских студентов в мае 1968 года: «Все серьезные вещи следует делать предельно весело».

Кортасар, как и многие писатели XX века, чрезвычайно ироничен, и его ирония, как справедливо пишет Луис Харс, «не только приправа, но и неотъемлемая составная часть динамики всего произведения, метод, при помощи которого он хочет проникнуть в сущность явления»¹.

Кортасаровский смех многолик, и это легко увидеть в рассказах сборника «Другое небо». Он звучит беспощадно и издевательски в жутковатом фарсе «Менады», где обезумевшие меломаны, которые растерзали Маэстро, становятся убедительным символом стандартов буржуазной культуры. Он язвителен и горек в рассказе «Здоровье больных», где показана вся бессмысленность и обреченность обмана и самообмана. Он полнится грустью в одном из наиболее поэтических рассказов Кортасара «Конец игры», это смех над самим собой, навсегда отлученным от детства.

Кортасар не выносит «торжественности исканий», бежит от риторики, и потому в его рассказах есть желание пародировать самого себя и даже усмехнуться в лицо читателю. Иногда в смехе Кортасара проглядывает тот самый бесстрастный энтомолог, о котором идет речь в рассказе «Менады». Но чаще в многоцветной проницательности писателя чувствуется нетерпение, даже надрыв человека, осознавшего неодолимую необходимость борьбы с призраками и догмами буржуазных «слав» и «надежд».

Пожалуй, эта неодолимая необходимость борьбы выражена сильнее всего в одном из вершинных произведений Хулио Кортасара — повести «Преследователь». Герой повести — джазист Джонни Картер — самый достоверный и самый убедительный кроноп, созданный кортасаровским воображением. В отличие от многого, что было сделано писателем прежде, «Преследователь» — полнокровный реалистический рассказ, в котором нет произвола заданности, нет игровой ситуации и привычного кортасаровского нарушения логики, а между тем этот рассказ — одно из самых программных творений писателя, где есть все его узловыe выкладки и концепции. «Преследователь» написан новым Кортаса-

¹ L. Hars, Los nuestros, B. Aires, 1966, p. 291.

ром, который умно и тонко проникает в глубины человеческой психологии и там находит подтверждение своим догадкам, мыслям и выводам.

«Перед тем как был создан «Преследователь»,— говорит Хулио Кортасар,— в моей жизни наступил момент, когда я почувствовал необходимость обратиться к тому, что рядом со мной. Работая над «Преследователем», я забыл об уверенности и обратился к проблематике экзистенциального общечеловеческого плана... В «Преследователе» я хотел отказаться от всякого изобретательства и почувствовать под ногами почву собственной личности, иными словами, посмотреть на самого себя. А смотреть на самого себя — это значит видеть человека, видеть своего ближнего...»¹

Надо сказать, что Джонни Картер — удивительно удобный и как бы «вместительный» образ для кортасаровского замысла. Писатель нашел его так же счастливо, как настойчивый кинорежиссер находит наконец того единственного человека, который может и должен сыграть главную роль в задуманном им фильме.

Джонни — талант, а это значит, что он вне обыденного. Джонни — джазист, а, по Кортасару, джаз — синоним поиска, синоним свободы, потока без русла, движения «навстречу цели». Джонни — человек из низов, не отягощенный теми проштампованными знаниями, которые лишают людей порыва, инициативы. Наконец, Джонни психически неустойчив; и тут уж Кортасар встает в один ряд с теми западными писателями, которые упорно обращаются к теме безумия², полагая, что аномальный человек якобы может быть ближе к разгадке тех неназванных вещей, что еще недоступны опыту. И рядом с Джонни всегда есть ироничный Бруно, этакий рафинированный Санчо Панса, кающийся трезвенник, который только и делает, что объясняет нам порывы и поступки музыканта, а заодно и самого себя. Над искренным и чутким Джонни властвуют две силы: вера и сомнение. Вера в то, что есть другое, более честное и счастливое бытие, другая правда, которая прячется «по ту сторону двери». И Джонни полон решимости вышибить эту дверь, открыть ее своей музыкой. А сомнение помогает Джонни увидеть, что «все в пробоинах», и это сомнение толкает негритянского музыканта на беспрерывные поиски, на новый путь познания. В сбивчивых, путаных речах больного Джонни, обозленного на людей «правиль-

¹ L. Harss, Los nuestros, B. Aires, 1966, p. 288.

² См. статью: В. Ивашева, В дебрях абсурдного мира, журн. «Иностранная литература», 1969, № 2.

ных», «убежденных», на тех, «кто чувствует себя уверенно», не видя «дыр», «пробойн», есть глубокий философский смысл, есть тот призыв к сомнению, который невольно заставляет вспомнить французского философа Рене Декарта, сомневающегося для того, «чтобы достичь уверенности». Гибель Джонни — а Кортасар всегда приводит к трагическому концу своих хронопов, преследователей, бунтарей и правдоискателей — становится расплатой за тех, «кто чувствует себя уверенно», за тех же слав и надежд.

О «Преследователе» и его философском содержании можно писать и писать. Символы в этой повести на каждом шагу. Они в рассуждениях Бруно, который нередко чувствует себя жалким и ничтожным со всем своим великолепным здоровьем, домом и общественным престижем и который понимает, что в мире лжи и лицемерия «Джонни — единственная реальность среди ирреальностей». Они, эти символы, в самих поступках Джонни, то встающего на колени перед критиком, то босого на репетиции, и всегда бунтующего против опеки стандартов.

Хулио Кортасару прежде всего дорог и нужен Джонни-преследователь, сомневающийся и надеющийся человек, а не гений, Кортасару прежде всего дороги упорство и совесть этого музыканта, а не его величие, придуманное посторонними. Он восхищается тем, как мучительно ищет саксофонист то «другое время» в поездах метро, в музыке, во влете лифта, в воспоминаниях, время, которое научит «жить сотни лет». Конечно, Кортасара можно было бы упрекнуть за то, что он перекладывает все свои нелегкие думы и размышления на плечи хрупкого и ранимого великана, замученного болезнями и наркотиками. Но ведь Кортасар и не ждет от своего героя подвига, он лишь хочет отстоять необходимость поиска, необходимость погони за более глубокой правдой и, следовательно, более глубокой реальностью.

Герои кортасаровских рассказов ищут эту реальность и самих себя по-разному. Дети в рассказе «Конец игры» обретают высшую радость в игре, которая уводит их от тягостного родительского надзора. Стюард верит, что его реальность, его обетованная земля — это остров в Средиземном море, который он видит из окна самолета («Остров в полдень»), Мауро и адвокату, который немного напоминает критика Бруно, приоткрывается правда, приоткрываются «врата неба» там, где Селина была самой собой, где она танцевала милонгу. И снова мы видим, что реальность доверяет свои тайны только мечтателям, только тем, кто идет в огонь отречения, кто гстов, как герой рассказа «Остров в полдень», выбросить часы и «уничтожить в себе прежнего человека».

А как же с теми, для кого «бог — свалка барахла», для кого святы спасительные фарисейские традиции? В своих рассказах Кортасар утверждает, что реальность им мстит, потому что она гораздо сложнее, чем в их кодексах. Рассказ «Здоровье больных» — это цепная реакция обмана во имя спасения обреченного человека. Бессмысленными становятся усилия родственников, скрывающих от матери гибель ее сына. Бессмысленны и муки матери, поддерживающей игру своих обманщиков. Словом, все оборачивается таким порочным кругом, где вообще неясно, кто обманывает, а кто обманут. В рассказе «Мамины письма» двое людей — муж и жена — поверили, что они навсегда отстранили от себя то, что стало прошлым, потерянным во времени. Но умерший Нико, которого они предали, ожил в воспоминаниях матери, в их собственных воспоминаниях и как настоящая реальность разрушил их хрупкий мир. Отстаивая обязательность движения человеческой мысли навстречу новым целям, Кортасар осознанно показывает нам, что границы между привычной реальностью и фантастическим могут быть размыты. В рассказе «Ночью на спине» дана такая психологически оправданная ситуация, когда вопреки нашей читательской логике мы не можем решить, где явь, а где бредовый сон. Что правда: ночь в больничной палате наших дней и человек, пострадавший в уличной катастрофе? Или ночь, освещенная луной, наполненная запахами (запахи Кортасар старательно подчеркивает), и человек, которого индейцы другой земли и другого времени понесут на костер, совершая свой жестокий обряд?

Есть у Хулио Кортасара рассказ, который занимает в его творчестве особое место. Это — «Южное шоссе». Эпиграфом к рассказу стали две коротенькие фразы из газетной информации: «Считается, что об этих оголтелых автомобилистах рассказывать нечего... В самом деле пробки на дорогах — любопытное зрелище, но не более». Ну, а Кортасар показал, что он может сделать из «пробки на дорогах» (хотя справедливости ради стоит вспомнить, что пробка на дороге уже давно стала символом индустриальной эпохи, а еще более «потребительского общества»). Пробка на Южном шоссе, ведущем в Париж, превратилась благодаря писательскому таланту Кортасара в развернутую метафору современной западной цивилизации, отлилась в художественное произведение, идеологически насыщенное, даже перегруженное образами и ассоциациями, объясняющими современного человека и человеческие связи. Из огромного скопища машин — в этом рассказе не зря названы машины, а не их владельцы — выделено всего восемь. Но какой простор для аналогий, какое богатство ассоциаций, наводящих на мысль о церкви,

об армии, о возникновении человеческих конфликтов, о «чужаке», отвернувшемся от спаянных общей бедой людей, застрявших в пути. Рассказ «Южное шоссе» приближается к фантастическому гротеску, где время то останавливается, то бежит по законам, придуманным писательской фантазией. Язычительная ирония Кортасара при всей своей сдержанности приобретает в этом рассказе особый накал. Можно даже увидеть в «Южном шоссе» некую пародию на современное капиталистическое общество. Но значительнее всего звучат в этом рассказе размышления писателя о людской солидарности. Она сродни той «окопной солидарности», по Ясперсу, о которой пишет в своей статье «Экзистенциализм» советский философ Э. Соловьев¹. Это ведь все та же солидарность и «общность вместе вынесенного», где люди «в ответе за тех, кто рядом», и не более.

Причины пробки, иными словами — катастрофы, неведомы, им нет объяснения. Самые неожиданные и даже нелепые догадки и слухи сменяют друг друга. Но Кортасару важны последствия этой катастрофы, которые приводят людей к союзу, к согласию. «Поскольку это надо было делать всем, никто не терпел терпения». Рассказ «Южное шоссе» — очень невеселый, многие западные критики считают его чуть ли не самым пессимистическим в творчестве Кортасара. И действительно, от всех этих «форд-меркури», «дофинов», «ситроенов» и «фольксвагенов» веет безжалостностью клинического эксперимента, и делается тоскливо оттого, что людская солидарность оказалась всего лишь миражем, истаявшим в стремительном беге машин, где «никто не знал ничего о другом». Но рассказ «Южное шоссе» вовсе не беспросветен. Кортасар, как и его инженер из «пежо-404», верит, что люди нужны друг другу, и это уже надежда на успех, это уже надежда на то, что человечество придет к истинному, инициативному, а следовательно, прочному единению.

Читая рассказы Кортасара, мы убеждаемся, что при всей на первый взгляд усложненности образного языка, при настойчивой разработке тем, которые могут быть названы «умозрительными», перед нами писатель, накрепко связанный со своей эпохой, с историческим временем. Замыслы Хулио Кортасара бесконечны. Эти замыслы, мечты и порывы нередко имитируют философские концепции прошлых веков, в которых заложены не столько силы созидания, сколько силы разрушения. Но Кортасар рожден второй половиной XX века, когда неверие в идеалы и целесообраз-

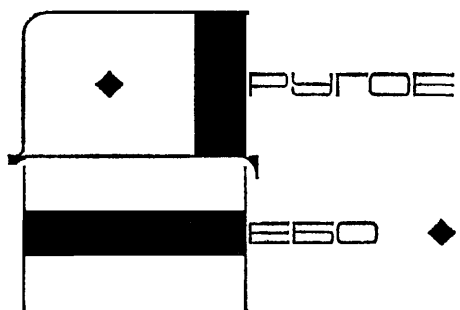
¹ Э. Соловьев, Экзистенциализм, журн. «Вопросы философии», 1966, № 12; 1967, № 1.

ность западного мира, разрушительные войны и политические тупики создали широкий и подчас очень сложный фронт оппозиции, в которую влилась прогрессивно настроенная интеллигенция. И рассказы «Другого неба» принадлежат преследователю, мечтателю, человеку, который уверен, что «в буржуазном обществе писатель всегда оппозиционер»¹. Рассказы, собранные в этом сборнике, принадлежат человеку большого таланта, поэту, который не только «не забывает о реальности», а, «напротив, атакует ее со всех возможных сторон, отыскивая в ней самые скрытые и самые богатые жилы»².

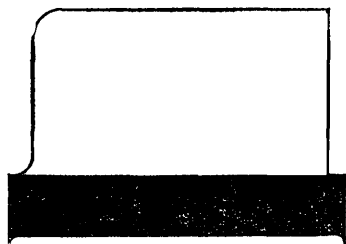
Э. Брагинская

¹ J. Cortázar, La literatura en la revolución y la revolución en la literatura, Caimán barbudo, Habana, 1970, № 38.

² Там же.



ЗАХВАЧЕННЫЙ ДОМ



ом нравился нам. Он был и просторен и стар (а это встретишь не часто теперь, когда старые дома разбирают выгоды ради), но главное — он хранил память о наших предках, о дедушке с отцовской стороны, о матери, об отце и о нашем детстве.

Мы с Ирене привыкли жить одни, и это было глупо, конечно, — ведь места в нашем доме хватило бы на восьмерых. Вставали мы в семь, прибирали, а часам к одиннадцати я уходил к плите, оставляя на сестру последние две-три комнаты. Ровно в полдень мы завтракали, и больше у нас дел не было, разве что помыть тарелки. Нам нравилось думать за столом о большом, тихом доме и о том, как мы сами, без помощи, хорошо его ведем. Иногда нам казалось, что из-за дома мы остались одинокими. Ирене отказала без всякого повода двум женихам, а моя Мария Эстер умерла до помолвки. Мы приближались к сорока и верили, каждый про себя, что тихим, простым содружеством брата и сестры и должен завершиться род, поселившийся в этом доме. Когда-нибудь, думалось нам, мы тут умрем; неприветливые родичи завладеют домом, разрушат его, чтоб использовать камни и землю, — а может, мы сами его прикончим, пока не поздно.

Ирене отроду не побеспокоила ни одного человека. После утренней уборки она садилась на тахту и до ночи вязала у себя в спальне. Не знаю, зачем она столько вязала. Мне кажется, женщины вяжут, чтоб ничего не делать под этим предлогом. Женщины — но не Ирене; она вязала все нужные вещи, что-то зимнее, носки для меня, кофты — для себя самой. Если ей что-нибудь не нравилось, она распускала только что связанный свитер, и я любил смотреть, как шерсть в корзине сохраняет часами прежнюю

форму. По субботам я ходил в центр, за шерстью; сестра доверяла мне, я хорошо подбирал цвета, и нам не пришлось менять ни клубочка. Пользуясь этими вылазками, я заходил в библиотеку и спрашивал — всегда безуспешно, — нет ли чего нового из Франции. С 1939 года ничего стоящего к нам в Аргентину не приходило.

Но я хотел поговорить о доме, о доме и о сестре, потому что сам я ничем не интересен. Не знаю, что было бы с Ирене без вязанья. Можно перечитывать книги, но перевязать пуловер — это уже происшествие. Как-то я нашел в нижнем ящике комода, где хранились зимние вещи, массу белых, зеленых, сиреневых косынок, пересыпанных нафталином и сложенных стопками, как в лавке. Я так и не решился спросить, зачем их столько. В деньгах мы не нуждались, они каждый месяц приходили из деревни, и состояние наше росло. По-видимому, сестре просто нравилось вязанье, и вязала она удивительно — я мог часами глядеть на ее руки, подобные серебряным ежам, на проворное мельканье спиц и шевеленье клубков на полу, в корзинках. Красивое было зрелище.

Никогда не забуду расположение комнат. Столовая, зал с гобеленами, библиотека и три большие спальни были в другой части дома, и окна их выходили на Родригес Пенья; туда вел коридор, отделенный от нас дубовой дверью, а тут, у нас, были кухня, ванная, наши комнаты и гостиная, из которой можно было попасть и к нам, и в коридор, и — через маленький тамбур — в украшенную майоликой переднюю. Войдешь в эту переднюю, откроешь дверь и попадаешь в холл, а уж оттуда — и к себе и, если пойдешь коридором, в дальнюю часть дома, отделенную от нас другой дверью, дубовой. Если ж перед этой дверью свернешь налево, в узкий проходик, попадешь в кухню и в ванную. Когда дубовая дверь стояла открытой, видно было, что дом очень велик; когда ее закрывали, казалось, что вы — в нынешней тесной квартирке. Мы с Ирене жили здесь, до двери, и туда ходили только убирать — прямо диву даешься, как липнет к мебели пыль! Буэнос-Айрес — город чистый, но благодарить за это надо горожан. Воздух полон пыли — земля сухая, и, стоит подуть ветру, она садится на мрамор консолей и узорную ткань скатертей. Никак с ней не сладишь, она повсюду; смахнешь метелочкой — а она снова окутает и кресла и рояль.

Я всегда буду помнить это, потому что все было очень просто. Ирене вязала у себя, прибило восемь, и мне

захотелось выпить мате. Я дошел по коридору до приоткрытой двери и, сворачивая к кухне, услышал шум в библиотеке или в столовой. Шум был глухой, неясный, словно там шла беседа или падали кресла на ковер. И тут же или чуть позже зашумело в той, другой части коридора. Я поскорей толкнул дверь, захлопнул, припер собой. К счастью, ключ был с этой стороны; а еще, для верности, я задвинул засов.

Потом я пошел в кухню, сварил мате, принес его сестре и сказал:

— Пришлось дверь закрыть. Те комнаты заняли.

Она опустила вязанье и подняла на меня серьезный, усталый взор.

— Ты уверен?

Я кивнул.

— Что ж,— сказала она, вновь принимаясь за работу,— будем жить тут.

Я осторожно потягивал мате. Ирене чуть замешкалась, прежде чем взяться за вязанье. Помню, вязала она серый жилет; он мне очень нравился.

Первые дни было трудно — за дверью осталось много любимых вещей. Мои французские книги стояли в библиотеке. Сестре недоставало салфеток и теплых домашних туфель. Я скучал по можжевелевой трубке, а сестра, быть может, хотела достать бутылку старого вина. Мы то и дело задвигали какой-нибудь ящик и, не доискавшись еще одной нужной вещи, говорили, грустно переглядываясь:

— Нет, не здесь.

Правда, кое-что мы выгадали. Легче стало убирать: теперь, вставши поздно, в десятом часу, мы управлялись к одиннадцати. Ирене ходила со мной на кухню. Мы подумали и решили, что, пока я стряпаю полдник, она будет готовить на ужин что-нибудь холодное. Всегда ведь лень под вечер выползать к плите! А теперь мы просто ставили закуски на Иренин столик.

У сестры, к большой ее радости, оставалось больше времени на работу. Я радовался чуть меньше, из-за книг; но чтоб не расстраивать ее, стал приводить в порядок отцовскую коллекцию марок и кое-как убивал время. Мы жили хорошо, оба не скучали. Сидели мы больше у сестры, там было уютней, и она говорила иногда:

— Смотри, какая петля! Прямо трилистник.

А я показывал ей бумажный квадратик, и она любовалась заморскою маркой. Нам было хорошо, и мало-

помалу мы отвыкали от мыслей. Можно жить и без них.

Писать было бы не о чем, если б не конец. Как-то вечером, перед сном, мне захотелось пить, и я сказал, что пойду попить на кухню. Переступая порог, я услышал шум то ли в кухне, то ли в ванной (коридорчик шел вбок, и различить было трудно). Сестра — она вязала — заметила, что я остановился, и вышла ко мне. Мы стали слушать вместе. Шумело, без сомненья, не за дверью, а тут — в коридоре, в кухне или в ванной.

Мы не глядели друг на друга. Я схватил сестру за руку и, не оглядываясь, потащил к передней. Глухие звуки за нашей спиной становились все громче. Я захлопнул дверь. В передней было тихо.

— И эту часть захватили, — сказала сестра. Шерсть волочилась по полу, уходила под дверь. Увидев, что клубки — там, за дверью, Ирене равнодушно выронила вязанье.

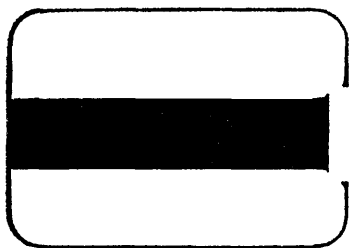
— Ты ничего не унесла? — глупо спросил я.

— Ничего.

Мы ушли, в чем стояли. Я вспомнил, что у меня в шкафу пятнадцать тысяч песо. Но брать их было поздно.

Часы были тут, на руке, и я увидел, что уже одиннадцать. Я обнял сестру (кажется, она плакала), и мы вышли из дома. Мне стало грустно; я запер покрепче дверь и бросил ключи в водосток. Вряд ли, подумал я, какому-нибудь бедняге вздумается воровать в такой час; да и дом ведь занят.

АВТОБУС



Если нетрудно, захватите мне «Очаг» на обратном пути,— попросила сеньора Роберта, откидываясь в кресле.

Клара расставила лекарства на передвижном столике и зорко оглядела комнату. Все есть, Матильда присмотрит за сеньорой, и горничная знает, что нужно. Можно идти, уйти на весь день, до ночи, подружка ждет ее, они поболтают, радио послушают, выпьют в полшестого чаю, сладкого чаю с шоколадными конфетами.

В два часа, когда народ уже не валит валом в учреждение, на Вилья-дель-Парке пусто и светло. Четко стуча каблучками, Клара спустилась по Тинагасте и по Самудьо, радуясь ноябрьскому солнцу, пересеченному на ее пути длинными тенями деревьев. На углу Сан-Мартина и Ногойи, поджидая 168-й автобус, она услышала, как над головой дерутся воробьи, а флорентийская башня собора на чистом небе показалась ей особенно красной и высокой до головокруженья. Прошел часовщик, дон Луис, и поклонился ей, и посмотрел так, словно оценил впервые ее ладную фигуру, белый воротничок кремовой блузки и ноги, особенно стройные в новых башмачках. По пустынной улице примчался автобус и сердито фыркнул, открывая дверцу единственной пассажирке, остановившей его на тихом послеполуденном углу.

Кошелек был полон всякой чепухи, и Клара не сразу отыскала нужную монетку. Коренастый кондуктор ждал с угрюмым вызывающим видом, расставив для устойчивости короткие кривые ноги. Клара сказала два раза: «Мне за пятнадцать»,— а он все глядел на нее в упор и как будто удивлялся. Потом дал ей розовый билет, и ей припомнились детские стишки, примерно такие: «Дай билетик розовый или голубой, а пока его даешь, песенку пропой». Она улыбнулась про себя, искала, где бы сесть, нашла местечко подальше, у запасной дверцы, и села, ра-

дуюсь нехитрой радостью тех, кто садится у окошка. Тут она заметила, что кондуктор все еще глядит на нее. А на углу, у моста, перед поворотом, взглянул на нее и водитель — обернулся и отыскал ее взглядом, не без труда, потому что она забилась в самый угол. Он был худой, светловолосый, с каким-то голодным лицом. Они с кондуктором пошептались, взглянули оба на нее, потом — друг на друга, и автобус, тряхнув как следует, помчался по Чорроарину.

«Вот идиоты», — подумала Клара тревожно. Засовывая билет в кошелек, она увидела, что перед ней сидит женщина с большим букетом гвоздики. Женщина обернулась и взглянула на нее поверх цветов нежно, словно корова, глядящая через изгородь. Клара вынула зеркальце и погрузилась в изучение своих бровей и губ. Что-то защекотало ей затылок, и, опасаясь еще одного наглого взора, она сердито и быстро обернулась. В двух сантиметрах от нее сверкали глаза какого-то старичка в крахмальном воротничке, с букетом тошнотворных маргариток. Все, кто сидел на самом заднем, длинном и зеленом сиденье, глядели на нее, как будто что-то в ней поражало их и раздражало, а ей становилось не по себе и от этих взглядов, и от букетов, а главное, оттого, что кажется — вот-вот все как-нибудь смешно и мило разрешится, ну, например, выяснится, что у нее нос в саже. Однако нос был чистый; и под этими упорными взглядами смех уже не разбирал ее. Кларе казалось, что не люди, а цветы уставились на нее.

Ей стало уж совсем неуютно, она чуть-чуть сползла с места и принялась упорно глядеть на потертую спинку переднего сиденья, на рычаг запасной двери и надпись «Дерните ручку на себя и встаньте» — но буквы что-то не складывались в слова. Так она отвоевала хоть какую-то возможность посидеть спокойно и подумать. Ничего нет странного, что все глядят на новую пассажирку, и цветы полагается возить на кладбище, значит — очень хорошо, что у них у всех букеты. 168-й миновал больницу Альвеар, и справа от Клары тянулись пустыри, за которыми лежит Эстрелья, где по грязи и лужам тащатся гнедые лошади с обрывком веревки на шее. Даже солнце не скрашивало теперь вида, но Клара упорно глядела в окно, только раза два краем глаза, быстро и робко посмотрела на соседей. Красные розы и каллы, а подальше — противные, мятые, мутные гладиолусы, тускло-розовые с сизыми потеками. Пассажир, сидевший за два окошка (глядит, не глядит — нет, глядит снова), держал почти черные гвоздики, плотно

спрессованные в какую-то морщинистую массу. Впереди, тоже сбоку, — девицы с хищными носами везли один на двоих букет из астр и далий; букет был жалкий, хоть сами вроде не бедные (жакеттики хорошие, юбки в складочку, белые чулки до колен), и глядели девицы свысока. Клара тоже стала смотреть, чтоб эти наглые соплячки опустили глаза, но четыре зрачка все сверлили ее, и кондуктор глядел, и тот, с гвоздиками, и от этого прямо пекло затылок, и старик в крахмальном воротничке чуть не носом уткнулся, и какие-то мальчишки с ним рядом, — ну, вот остановка Патерналь, выходить, кто брал билеты по десять.

Никто не вышел. Ловко вспрыгнул какой-то мужчина и стал перед кондуктором, который ожидал его в проходе, глядя на его руки. В правой руке пассажир держал мелочь, левой одергивал пиджак. Не обращая внимания на пристальный взгляд, он помешкал немного, и Клара услышала: «За пятнадцать». Как у нее. Но кондуктор билета не дал, а все глядел и глядел, пока пассажир не заметил его взгляда и не сказал в сердцах: «Я говорю, за пятнадцать!» Потом пассажир взял билет и, пока ему отсчитывали сдачу, легко скользнул на пустое место рядом с гвоздиками. Кондуктор дал ему пять сентаво, и еще раз посмотрел сверху, словно заинтересовался его головой; но пассажир теперь глядел на черные гвоздики. Владелец букета заметил, что он смотрит, и раза два быстро обернулся, и они поворачивались друг к другу сразу, не сговариваясь, и друг на друга глядели. Клару выводили из себя девицы с астрами, не отрывавшие глаз от нее и от этого, нового. Когда 168-й двинулся вдоль кладбищенской стены, все смотрели на него и на нее — больше на него, они за него взялись, но как бы захватывали взглядом и ее, Клару, соединяли их своей наглостью. Ну, что за глупость, ведь не маленькие, девицы — и те на возрасте, везут цветы, занялись бы чем своим, а они уставились! Ей захотелось остеречь новенького, и братская нежность к нему затеплилась в ней. Сказать бы: «Мы оба взяли за пятнадцать», — как будто это их роднит! Тронуть за руку, посоветовать: «Ну их совсем, они — нахалы, глядят из-за букетов, дураки!» Хорошо бы, он сел рядом с ней; но молодой человек — а он был молод, хоть и с какими-то горестными складками на лице, — занял первое попавшееся место. И смеясь и смущаясь, она старалась выдержать взгляды девиц и тетки с гладиолусом; а теперь еще этот, с гвоздиками, глядел, обернувшись, на нее тупым, мутным,

бесцветным, словно пемза, взором. Клара упрямо смотрела на него, а внутри все пустело, и очень хотелось выйти (тут, на ходу, и потом — из-за чего? Что без цветов едешь?). Она заметила, что новому тоже не по себе, — он вертел головой и удивился, увидев тех четверых на задней скамье и старика с маргаритками. Взор его скользнул по ее лицу, чуть задержался на губах, на подбородке. Спереди пристально глядели и кондуктор, и девицы, и тетка с гладиолусом; и новенький повернулся туда, словно хотел их утихомирить. «И он, бедняга, без цветов», — как-то глупо подумалось ей. Он был какой-то беззащитный, только взглядом оборонялся от холодного огня, обступавшего его со всех сторон.

На крутом откосе перед колоннадой кладбища 168-й взял на полном ходу оба изгиба дороги. Девицы прошли по проходу и встали перед дверцей: за ними выстроились маргаритки, розы и гладиолус. Прочие толпились сзади, и Клара задыхалась от сладких запахов у своего окошка, но тихо ликовала, что столько народу выходит. Над головами показались черные гвоздики; новенький пропустил соседа и неловко, боком, устроился теперь на пустом сиденье перед Klarой. Он был хорош собой, приветлив и прост и, судя по виду, служил где-нибудь в аптеке, в бухгалтерии или даже в конструкторском бюро. Автобус мягко затормозил, дверца фыркнула и открылась. Новенький ждал, пока все сойдут, чтоб сесть по-человечески, а Клара терпеливо ждала вместе с ним и торопила про себя гвоздику и гладиолусы. Дверь была открыта, но все стояли в проходе, глядя на него и на нее — не выходили, глядели сквозь цветы, колыхавшиеся, словно от ветра, который шел из-под земли и шевелил корни и все букеты сразу. Наконец вышли розы, и гвоздики, и букеты с заднего сиденья, и девицы, и старик с маргаритками. Остались только Клара с новеньким, и 168-й стал меньше, милей, бесцветней. Она обрадовалась и не удивилась, что новенький пересел к ней, хотя мест было полно. Он сел, и, опустив головы, они взглянули на свои руки. Руки, просто руки, пустые, без цветов.

— Кладбище! — крикнул кондуктор.

И Клара и сосед ответили на его властный взгляд простым заклинаньем: «А у нас — по пятнадцать». Они не сказали этих слов, только подумали, и того хватит!

Однако дверь не закрылась, и кондуктор подошел к ним.

— Кладбище! — сказал он, словно что-то объясняя.

Сосед не глядел на него, а Клара его пожалела.

— Мне до Ретира, — сказала она, показывая билет. «Дай билетик розовый или голубой».

Водитель чуть не сполз с сиденья, глядя на них; кондуктор несмело обернулся и махнул рукой. Снова фыркнула дверца — никто не вошел, — и 168-й, словно с цепи сорвался, понесся вперед так легко и быстро, что у Клары засосало под ложечкой. Кондуктор стоял у кабины, держась за блестящие поручни и значительно глядел на них. Они тоже на него глядели чуть не до поворота на Доррего, а там Клара почувствовала, что сосед медленно кладет ладонь на ее руку, как будто пользуясь тем, что спереди это не видно. Ладонь была нежная, теплая, и Клара не шевельнулась, разве что чуть-чуть подвинула руку к колену. За стеклами свистел ветер.

— Сколько народу, — тихо сказал сосед. — И все сошли.

— Они на кладбище, с цветами, — объяснила Клара. — По субботам много ездят.

— Конечно, а все-таки...

— Да, странно. Вы заметили?

— Заметил, — сказал он. — И с вами так было. Было, я видел.

— Очень странно. А сейчас никто не садится.

Шофер затормозил у шлагбаума. Их качнуло вперед, и стало легко от этого внезапного толчка. Автобус трясся, как чье-то большое тело.

— Мне в Ретира, — сказала она.

— И мне.

Кондуктор долго стоял на месте — ссорился с шофером. Потом (скрывая, что туда глядят) они увидели, что шофер идет к ним по проходу; кондуктор шел за ним. Клара заметила, что оба уставились на ее спутника, а тот подобрался, словно перед боем. У него дрожали ноги и вздрагивало плечо, касавшееся ее плеча. Тут зловеще взревел поезд и черный дым закрыл небо. Грохот вагонов заглушил все звуки и слова шофера, который — за два шага до них — остановился и пригнулся, как перед прыжком. Кондуктор схватил его за плечо и властно ткнул рукой туда, где уже поднимался шлагбаум, пока последний вагон, лязгая железом, проходил мимо них. Шофер сжал губы, побежал на свое место, и, сердито подскочив, 168-й пересек пути, а потом поднялся по откосу.

Кларин спутник расслабил мышцы и сел чуть ниже.

— В жизни такого не видал,— проговорил он как бы про себя.

Клара чуть не плакала. Заплакать было легко, но совсем не нужно. Почти об этом не думая, она понимала, что все в порядке, что она едет в автобусе, можно сказать — пустом, с одним только спутником, и вообще, только дерни звоночек, и выходи на первом углу. Да и так неплохо, только мучит мысль, что надо выйти, надо вырвать руку из его руки.

— Мне страшно,— просто сказала она.— Хоть бы фиалок приколоты!

Он взглянул на нее и на ее простенькую блузку.

— Я иногда втыкаю жасмин в петлицу,— сказал он.— А сегодня торопился, не до того было.

— Вот жаль! А вообще — нам ведь в Ретиرو.

— Конечно, в Ретиру.

Они беседовали, говорили. Только бы беседа не угасла, только б говорить, все равно о чем.

— Вы окошко не откроете? Душно очень.

Он удивленно посмотрел на нее; его скорей знобило. Кондуктор тайком за ними наблюдал, переговариваясь с шофером. За путями 168-й ни разу не остановился и теперь сворачивал на углу Каннинга и Санта-Фе.

— Тут не открывается,— сказал он.— Видите, только наше не открыто. Здесь запасная дверь.

— А! — сказала она.

— Может, пересядем?

— Не стоит.— Она сжала его руку, не дала встать.— Лучше тихо сидеть.

— Ну, другое откроем, впереди.

— Ой, не надо, пожалуйста!..

Он думал, что она еще поговорит, но она как-то сжалась и стала глядеть ему в лицо, чтоб не смотреть туда, вперед, откуда на них дышало злобой, словно зноем или тишиной. Он положил ей на колено другую руку, она придвинула свою, и теперь они беседовали тайным касаньем пальцев, теплотой ладоней.

— Очень уж я рассеянная,— робко сказала Клара.— Думаешь, все взяла, а нет, что-нибудь забудешь.

— Мы же не знали.

— Да ладно. Они все на меня глазели, особенно эти девицы. Ну, никаких сил!

— И у меня,— подхватил он.— Помните, они, как сговорились, все на нас уставились?

— Подумаешь! У самих одни астры,— сказала Клара.—

А воображают!

— Потому что другие глазели,— сердито сказал он.— Особенно этот, птичий старик, у которого гвоздики комком. Он смотрит — и они за ним. А задних я не видел. Думаете, все?..

— Все,— ответила Клара.— Я сразу поняла. Села на углу Ногойи и Сан-Мартина, оглянулась и вижу — все, как один.

— Спасибо хоть вышли!

Пуэйрредон. 168-й резко затормозил. Мулат-регулюровщик, словно каясь, крестом распростер руки в высокой будке. Шофер сполз с сиденья, кондуктор схватил его было за рукав, но он не дался, дернулся и снова пошел по проходу, глядя то на него, то на нее. Он весь подбрался, влажные губы дрожали. «Дай дорогу!» — крикнул кондуктор странным голосом. Гудок в десять голосов ревел в хвосте автобуса, и шофер с досадой затрусил на свое место. Кондуктор что-то зашептал ему, то и дело оглядываясь на Клару и ее соседа.

— Если б не вы... — тихо сказала Клара.— Если б не вы, я бы все-таки вышла.

— Вам же в Ретиро,— не без удивленья сказал он.

— Да, я в гости. А все равно бы вышла.

— Я взял за пятнадцать,— сказал он.— До Ретиро.

— И я. Плохо, что другого пришлось бы ждать...

— Конечно, и еще не влезешь.

— Наверное. Теперь так трудно ездить. Видели, что в метро?

— Ужас! Пока доберешься, больше устанешь, чем на службе.

Зеленый, светлый воздух наполнил машину, мелькнули на ходу розоватые стены музея, потом — новое здание юридического факультета, и 168-й понесся по Леандро Алем, словно ему не терпелось скорее завершить маршрут. Два раза путь заграждал регулировщик, два раза готовился к прыжку шофер, и во второй раз кондуктор не пустил его, стал в проходе, яростно, как от боли, качая головой. У Клары колени прижались к груди, спутник выпустил ее руки, и она увидела, как на его руках выступили острые костяшки и толстые жилы. Она не знала до сих пор, как сильно и гневно сжимается мужская рука, и смотрела теперь на тяжелые кулаки доверчиво и робко, вконец присмирив от страха. И болтала, болтала о том, как трудно стало ездить, какие очереди на

Майской площади, как озверели люди, как много нужно терпенья. Потом она замолчала, и они увидели парапет железной дороги. Он вынул кошелек и стал в нем рыться, пальцы у него дрожали.

— Еще чуть-чуть,— сказала она, выпрямляясь.— Сейчас приедем.

— Да. Когда свернем — скорей вставайте, и вниз!

— Ладно. У самой площади.

— Вот-вот. Остановка — подальше, у Английской башни. Вы раньше сходите, а я — потом.

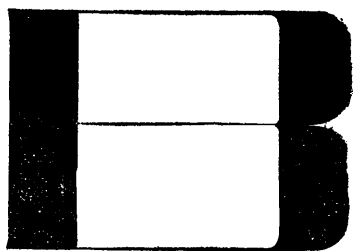
— Все равно.

— Нет, я — после, так надо. Как свернем, я вас пропущу. Вы поскорей поднимайтесь и становитесь на нижнюю ступеньку. А я сзади буду.

— Хорошо,— сказала Клара, встревоженно глядя на него.— Спасибо.

И они принялись разрабатывать план, примеряясь, как стать и далеко ли до двери. Они прикинули, что легче всего выскочить на углу. У самой площади, дребезжа стеклами, 168-й свернул на всем ходу. Сосед вскочил, Клара метнулась на ступеньки, он прикрыл ее сзади. Сильно дрожа, она смотрела на дверцу, на черные полосы резины и грязные квадраты стекла; ей не хотелось видеть больше ничего. Волос коснулось его тяжелое дыхание, потом их смело вбок — автобус встал, и, пока открывалась дверца, водитель, вытянув руки вперед, бежал по проходу. Но Клара уже прыгала вниз, на площадь, и, обернувшись, увидела, как прыгает ее сосед, а дверца сердито закрывается. Черная резина прищемила водителю руки, белые прямые пальцы. Сквозь стекло было видно, что кондуктор лег животом на руль и тянется к рычагу, закрывающему двери, чтоб не пустить шофера.

Спутник взял ее за руку, и они пошли через площадь, ловко лавируя среди ребят и мороженщиков. Они молчали и не глядели друг на друга, но дрожали, как от счастья. Клара покорно шла за ним, смутно видя и траву и клумбы, и сладостный воздух дышал ей в лицо. У стены продавали цветы. Спутник ее остановил перед корзиной на козлах и выбрал два букетика анютиных глазок. Он протянул ей один, потом — другой, вынул кошелек, заплатил и забрал свой букетик. Они пошли дальше (он не взял ее за руку), и теперь у обоих были цветы, и оба они радовались.



восемь часов пришел Хосе Мария и почти без подготовки сообщил мне, что Селина только что умерла. Помню, я на миг задержался мыслью на этом «только что», оно звучало так, будто Селина сама назначила минуту своей кончины. Уже почти стемнело, губы у Хосе Марии дрожали.

— Мауро в таком горе, совсем обезумел. Пойдем туда.

Мне надо было закончить кое-какие заметки, кроме того, я обещал одной приятельнице сводить ее поужинать. Несколько телефонных звонков, и мы с Хосе Марией вышли ловить такси. Мауро и Селина жили на углу улиц Каннинга и Санта-Фе, так что добрались мы за десять минут. Подойдя к дому, мы увидели людей, которые с виноватым, растерянным видом толпились в вестибюле; по дороге я узнал, что в шесть часов у Селины пошла горлом кровь, что Мауро сбегал за врачом и что его мать была с ними. Врач вроде бы сел писать длинный рецепт, когда Селина открыла глаза, закашлялась — кашель был больше похож на свист — и испустила дух.

— Доктору пришлось выскочить за дверь, Мауро хотел броситься на него с кулаками, еле я удержал. Вы знаете, каков он, когда выйдет из себя.

Я думал о Селине, о ждавшем нас в доме ее последнем облике. До меня почти не доходили вопли старух и сутолока в патно, зато я помню, что такси стоило два семьдесят, а у шофера была люстриновая кепка. Два-три приятеля Мауро, стоя в дверях, читали «Ла Расон»; девочка в синем платье держала на руках бело-рыжего котика и заботливо подрезала ему усы. Дальше, за ними, лачинались стенания и пахло спертым воздухом.

— Пойди к Мауро, — сказал я Хосе Марии. — Надо хорошенько накачать его, ты знаешь.

В кухне уже заваривали мате. Само собой составилось бдение около покойницы; в жарком воздухе комнаты мелькали лица, подносы с напитками. Просто невероятно, как соседи со всей улицы бросают привычные дела и разговоры, устремляясь к месту пропшества. Забулькала вода в бомбилье¹, когда я прошел мимо кухни и заглянул в комнату усопшей. Мисия² Мартита и другая женщина взглянули на меня из темной глубины, где кровать, казалось, плавала в айвовом желе. По их несколько надменному виду я понял, что они обмыли и обрядили Селину — слегка пахло уксусом.

— Отмучилась, бедняжка, — сказала мисия Мартита. — Заходите, доктор, посмотрите на нее. Как будто спит.

Сдерживая желание послать ее ко всем чертям, я окунулся в теплое варево комнаты. Вот уже несколько минут я смотрел на Селину и не видел ее. Теперь я подошел к ней, к черным гладким волосам над низким лбом, блестящим, как перламутр на гитаре, к ровному, иссиня-белому блюду ее навеки застывшего лица. Я понял, что мне здесь нечего делать, что эта комната теперь для женщин, для плакальщиц, приходящих ночью. Даже Мауро не мог спокойно посидеть около Селины, да она и не ждала его, этот черно-белый предмет отходил в царство плакальщиц, поощрял их своей неподвижной, повторяющейся темой. Нет, лучше пойти к Мауро, он по-прежнему на грешной земле.

В темном коридоре, ведущем в столовую, курили глухие стражи. Пенья, дурачок Басан, два младших брата Мауро и какой-то нелепый старик почтительно поздоровались со мной.

— Спасибо, что пришли, доктор, — сказал один из них. — Вы всегда были так дружны с бедным Мауро.

— Друзья познаются в беде, — изрек старик, подавая руку, которая показалась мне живой сардиной.

Но меня здесь уже не было. Я снова танцевал с Селиной и Мауро в Луна-Парке, в карнавал сорок второго года. Селина в голубом платье, — оно совсем не шло к ее смуглому скуластому лицу, — Мауро в светлом летнем костюме и я, пьяный в стельку после шести стопок ви-

¹ Бомбилья — здесь: металлическая трубочка для питья мате.

² Мисия — простонародное сокращение слов «моя сеньора» (от исп. *mi señoa*).

ски. Мне нравилось гулять с Мауро и Селиной, соприкаться с их прочным, горячим счастьем. Чем больше попрекали меня этим знакомством, тем теснее я сближался с Мауро и Селиной, проводил с ними мои дни, мои часы, разделяя их жизнь, о которой сами они ничего не знали.

Я оторвался от танца — из комнаты, пробив преграду двери, донесся стон.

— Мать, должно быть, — сказал дурачок Басан с довольным видом.

«Законченная логика простого человека, — подумал я. — Селина мертва, значит, приходит мать, и мать рыдает». Мне было противно так думать, опять перебирать в уме все то, что другим достаточно чувствовать. Мауро и Селина не были моими подопытными кроликами. Я любил их и все еще люблю. Я только никогда не мог обрести их простодушия, был вынужден подбирать крохи их страсти; я, доктор Ардой, адвокат, которого не удовлетворяет в Буэнос-Айресе мир судебный, музыкальный или мир скачек, — я забрасываю удочки повсюду, где только можно. Знаю, что за этим стоит любопытство, что мой ящик постепенно заполняется карточками с заметками. Но к Селине и Мауро меня увлекло не любопытство, нет.

— Кто бы мог подумать, — услышал я слова Пеньи. — Вот так, раз — и нет...

— Но у нее ведь, знаешь, с легкими давно было плохо.

— Да, но все же...

Они спасались от разверзшейся земли. Очень плохо с легкими, но тем не менее... Селина тоже, должно быть, не ждала смерти, для нее и Мауро туберкулез был «слабостью». Снова я увидел, как она с восторгом кружится в объятиях Мауро, — оркестр Канаро наверху, запах дешевой пудры... Потом она танцевала со мной матчиш, на пыльной площадке было настоящее столпотворение. «Как вы хорошо танцуете, Марсело», — она словно удивилась, что адвокат способен схватить ритм матчиша. Ни она, ни Мауро никогда не обращались ко мне на «ты», я говорил «ты» Мауро, но Селине на ее «вы» отвечал тем же. Селина неохотно рассталась со словом «доктор», наверно, она гордилась, называя меня так при посторонних, — мой друг доктор. Я попросил Мауро передать ей, чтобы она называла меня просто «Марсело». Так они немного приблизились ко мне, но я по-прежнему был от них далек. Далек, хотя мы вместе ходили на танцы, на бокс, даже на футбол (Мауро несколько лет назад

играл в «Расинге»¹⁾ или допоздна засиживались на кухне, потягивая мате. Когда тяжба кончилась и Мауро благодаря мне получил пять тысяч песо, Селина первая попросила меня не забывать, заходить к ним. Она уже тогда была нездорова, всегда хрипловатый голос все больше слабел. По ночам она кашляла, Мауро покупал ей нейтрофосфат «Эскай» — эдакая чушь, — а еще хинно-железистый препарат фирмы «Бислери» — патентованные средства, про которые читают в журналах и начинают в них верить.

Мы вместе ходили на танцы, и я смотрел на их жизнь.

— Поговорили бы с Мауро, — сказал Хосе Мария, словно вынырнув из-под земли. — Ему станет легче.

Я пошел, но все время думал о Селине. Сознаюсь, — хоть это и некрасиво, — я собирал и приводил в порядок мои карточки о Селине, не написанные, но заготовленные в уме. Мауро плакал, не закрывая лица, без малейшего стыда, как всякое здоровое животное, вполне от мира сего. Он брал меня за руки, ладони у него были потные, беднягу лихорадило. Когда Хосе Мария заставлял его выпить джину, он между двумя всхлипываньями со странным звуком опрокидывал рюмку. Он бормотал какую-то чепуху, в которой, однако, была вся его жизнь, смутное сознание непоправимости того, что случилось с Селиной, но за что он лишь сердился и досадовал на нее. Великая самовлюбленность, наконец выпущенная на свободу во всей своей красе! Я почувствовал отвращение к Мауро, но еще большее к самому себе, и принялся пить дешевый коньяк — он обжигал рот, не доставляя удовольствия. Бдение шло заведенным ходом, кроме Мауро, все были на высоте, даже ночь помогала, душная и тихая, — в такую ночь хорошо сидеть в патио под открытым небом и в ожидании зари перемывать косточки покойнице.

Это было в понедельник, потом мне пришлось поехать в Росарио на конгресс адвокатов, где только и дел было, что рукоплескать друг другу и напиваться до потери сознания, и вернулся я только в пятницу. В поезде ехали две танцовщицы из «Moulin Rouge»²⁾, я узнал младшую, но она притворилась, что мы не знакомы. Все это утро я думал о Селине, меня не так уж потрясла ее смерть, скорей оборвался какой-то порядок, необходимая привычка. Уви-

¹⁾ «Расинг» — футбольный клуб в Буэнос-Айресе.

²⁾ Название кабаре в подражание знаменитому парижскому кафешантану «Мулен Руж» («Красная мельница»).

дав девушек, я представил себе, как Мауро увел Селину из милонги¹ грека Касидиса. Надеяться, что девица из кабаре станет хорошей женой, — для этого нужно было мужество. Как раз тогда я и познакомился с Мауро, он пришел просить моего совета насчет тяжбы своей старухи из-за земельных участков в Санагасте. Во второй раз он пришел вместе с Селиной, она все еще была накрашена, как кафешантанная певичка, и шла размашистым шагом, крепко опершись на его руку. Мне не составило труда сравнить их, оценить напористую грубоватость Мауро, то, как он старался, не сознаваясь, верно, самому себе, окончательно завоевать Селину. В начале знакомства мне показалось, что ему это удалось, по крайней мере внешне, в обиходе. Потом я оценил дело верней: капризы Селины, ее страсть к народным танцам, долгие мечтанья возле радио со штопкой или вязаньем в руках — все это был путь, по которому она незаметно ускользала от Мауро. Однажды вечером, когда «Небиоло» выиграла у «Расинга» со счетом четыре — один, Селина запела, и я понял, что она все еще с Касидисом, далеко от семейного очага и от Мауро, рабочего бойни. Чтобы лучше узнать Селину, я шел навстречу ее дешевым желанием, и мы втроем посетили немало увеселительных заведений, где надрывались громкоговорители, кипела пицца, а пол был усеян жирными бумажками. Но Мауро предпочитал патио, часы болтовни с соседями и мате. Кое в чем он соглашался, уступал, но не сдавал позиций. Тогда Селина делала вид, что ее устраивает меньше выходить и больше хлопотать по дому — возможно, она и в самом деле постепенно привыкала к этому. Не ей, а мне удавалось вытащить Мауро на танцы, и она сразу же прониклась ко мне благодарностью за это. Они любили друг друга, и радости Селины хватало на двоих, иногда на троих.

Мне захотелось принять ванну, позвонить Нильде, что я заеду за ней в воскресенье, по дороге на ипподром, а потом навестить Мауро. Я застал его в патио, он курил и не спеша прихлебывал мате. Меня растрогали две-три дырочки на фуфайке вдовца, и, здороваясь, я хлопнул его по плечу. Лицо у Мауро было все такое же, как на похоронах, у могилы, когда он бросил туда горсть земли и откинулся назад, застыв, словно изваяние. Но глаза блестели, и он крепко сжал мою руку.

¹ Милонга — здесь: ночной клуб, кабаре.

— Спасибо, что заглянули. Долгая штука — время, Марсело.

— Ходишь на бойню или тебя замещают?

— Послал брата, хроменького. Не хватает духу пойти, хотя дню конца не видеть.

— Ясно, надо тебе развлечься. Одевайся, прогуляемся по Палермо¹.

— Пошли, мне все равно.

Он надел синий костюм, повязал на шею вышитый платок и надушился из флакона Селины. Мне нравилось, как он заламывал кверху поля шляпы, нравилась его мужественная походка, легкая и неслышная. Я приготовился выслушать «друзья познаются в беде», и после второй бутылки «Кильмес Кристаля» Мауро выложил передо мной всю душу. Мы сидели за столиком в глубине кафе, почти одни; я не прерывал его, только время от времени подливал пива. Почти не помню, что он говорил, кажется, все время одно и то же. Осталась в памяти фраза: «Она у меня вот здесь», — при этом Мауро тыкал указательным пальцем в грудь, будто показывал медаль или большое место.

— Хочу забыть, — говорил он еще. — Что угодно: напиться, пойти в милонгу, привести любую девку. Вы меня понимаете, Марсело, вы... — Указательный палец загадочно поднимался, вдруг складывался, как перочинный нож. Теперь Мауро был готов принять любое предложение, и, когда я как бы вскользь упомянул «Санта-Фе Палас», он первый вскочил и посмотрел на часы — решено, идем на танцы. Мы шли молча, полумертвые от жары, и все время я подозревал, что Мауро снова и снова удивляется, не чувствуя подле себя тепла и радости Селины, идущей танцевать.

— Ни разу я не водил ее в этот «Палас», — сказал он неожиданно. — Заходил туда как-то, еще до знакомства с ней, дрянная была милонга. Вы бываете там?

В моих карточках есть хорошее описание «Санта-Фе Паласа» (на самом деле он не называется «Санта-Фе» и даже находится не на этой улице, правда, недалеко от нее). Жаль, что невозможно толком описать все это, ни скромный фасад с зазывными афишами и темной кассой, ни тем более зевак, которые слоняются у входа и окидывают вас взглядом с головы до пят. Внутри еще хуже,

¹ Палермо — квартал Буэнос-Айреса с большим парком и ипподромом.

вропрочем, нельзя сказать, что плохо, слишком уж все там расплывчато; это именно хаос, путаница под видом многого порядка: ад и его круги. Ад японского парка, где вход стоит два пятьдесят, а дамы — ноль пятьдесят. Три смежных зала — вроде крытых патио, в первом ансамбль национальной музыки, во втором — характерной, в третьем — северной¹, с певцами и маламбо². Стоя в проходе (я в роли Вергилия), мы послушали три сорта музыки и посмотрели на три круга танцующих; потом выбираешь, что тебе больше по вкусу или переходишь из зала в зал, пропуская рюмки джина в поисках столиков и женщин.

— Недурно, — сказал Мауро с унылым видом. — Жарница только. Сюда бы вентиляторы.

(Для карточки: изучить, по методу Ортеги, отношение человека из народа к технике. Там, где ждешь отталкивания, происходит, напротив, быстрое усвоение и использование; Мауро говорил о холодильниках или супергетеродинах с самонадеянностью жителя Буэнос-Айреса, считающего, что ему все по плечу.)

Я схватил Мауро за локоть и потащил к столу, а то бы он так и стоял, рассеянно глядя на эстраду, на певца, который держал обеими руками микрофон и слегка его встряхивал. Мы сели, и Мауро единым духом опорожнил свою стопку сухой каньи.

— Пусть уляжется пиво. Черт побери, какая тут толкучка.

Он заказал еще каньи и дал мне возможность отвлечься и поглядеть по сторонам. Столик был у самого края площадки, а по другую ее сторону, у длинной стены, стояли стулья, и там, все время меняясь, толпились женщины с тем отсутствующим видом, какой бывает у девиц милонги и когда они работают, и когда развлекаются. Разговаривали мало, и нам хорошо было слышно, как в первом зале с огоньком играет национальный ансамбль. Певец смаковал тоску, умудряясь придать драматизм быстрому, почти без передышки, ритму. «Моей метиски косы ношу я в чемодане...» Он цеплялся за микрофон, как за брусья барьера, словно не мог иначе петь — с какой-то томной страстью. Временами он прижимал губы к хромированной

¹ «Севером» называют в Аргентине провинции Сальта и Жужуй, где народная музыка вобрала в себя индейский фольклор.

² М а л а м б о — виртуозный народный танец, исполняется мужчинами соло или вдвоем, на соревнование.

решеточке, из репродукторов вылетал вкрадчивый голос — «ведь человек я честный...»; я подумал, что было бы здорово запрятать микрофон в резиновую куклу, тогда певец, держа ее в объятиях, всласть горячил бы себе кровь. Нет, к танго кукла не подходит, лучше хромированную палку с маленьким блестящим черепом наверху, с решеточкой в его оскале.

Здесь уместно будет сказать, что я ходил в эту милонгу ради чудовищ, я не знаю другой, где их было бы такое множество. Они появляются к одиннадцати часам, стекаются из разных мест города, в одиночку или парами, не спеша, уверенные в себе. Женщины с примесью цветной крови, почти карлицы, мужчины, по типу лица похожие на яванцев или индейцев моковí, в тесных клетчатых либо черных костюмах, с жесткими, непослушными волосами, в которых отливают голубым и розовым капельки брильянтина; женщины с высоченными прическами, отчего они еще больше похожи на карлиц, утомительными, сложными прическами, составляющими их гордость. Мужчин можно отличить по распущенным волосам, по-явенски длинным и пышным, что никак не вяжется с грубым лицом, с его хищным, настороженным выражением; у них крепкие торсы на тонких талиях. Все они узнают друг друга, любят друг друга, молча, не подавая вида, это их танцы, их встреча, их ночь. (Для карточки: откуда они выползают, какими профессиями прикрываются днем, под маской каких темных занятий прячутся?) Чудовища выходят, с важной покорностью кладут руку на плечо партнера, кружатся танец за танцем медленно и безмолвно, многие закрывают глаза, наслаждаясь наконец тем, что на них смотрят, их сравнивают. В перерывах они приходят в себя, хвастают за столиками, и женщины начинают говорить визгливо, чтобы привлечь к себе внимание. Тогда мужчин охватывает ярость, и я видел, как кривая женщина в белом, сидевшая за рюмкой анисовой, получила такую оплеуху, что вся ее прическа разлетелась. У чудовищ особый, неотъемлемый запах, запах талька на влажной коже, загнивающих фруктов, так и представляешь себе поспешное мытье — обтереть мокрой тряпкой лицо и подмышки, потом главное — лосьоны, тушь для ресниц, пудра, белесая штукатурка, сквозь которую просвечивают бурые пятна. Они также красят перекистью, волосы как початки маиса вздымаются над земляным лицом, крашеные брюнетки изучают повадку блондинок, надевают зеленые платья и,

поверив в свое преобразование, свысока взирают на тех, кто сохраняет естественный цвет. Поглядывая украдкой на Мауро, я изучал его лицо с чертами итальянца, лицо жителя побережья без примеси негритянской или индейской крови — как отличалось оно от окружавших нас лиц! — и вдруг вспомнил о Селине, ведь она была ближе к этим людям, чем Мауро и я. Думаю, Касидис выбрал ее, чтобы угодить вкусам своих цветных клиентов, немногочисленных тогда завсегдатаев его кабаре. Я ни разу не был у Касидиса, пока там работала Селина, но потом как-то вечером зашел туда (хотел познакомиться с местом, откуда ее извлек Мауро) и видел только белых женщин, блондинок или брюнеток, но белых.

— Я бы не прочь покрутиться в танго, — сказал Мауро жалобно.

Принявшись за четвертую стопку каньи, он был уже навеселе. Я думал о Селине, она была бы здесь у себя дома, именно здесь, куда Мауро никогда ее не водил. Ани-та Лосано кланялась теперь с эстрады публике в ответ на шумные аплодисменты, я слышал ее в «Новелти», когда она была в зените славы, теперь она постарела и похудела, но сохранила весь свой голос, столь подходящий для танго. Она даже выиграла, потому что стиль ее был озорной, и для язвительных слов требовался голос чуть хриплый и глухой. Селина пела таким голосом, когда ей случалось выпить, и вдруг я почувствовал почти невыносимое присутствие Селины в «Санта-Фе».

Уйдя к Мауро, она совершила ошибку. Она терпела семейную жизнь, потому что любила Мауро и он избавил ее от грязи и толчеи кабаре, от дешевых угощений, от близости клиентов, тяжело дышавших ей в лицо, но если бы не работа в милонгах, Селина предпочла бы остаться певицей. По ее бедрам и рту было видно, что она создана для танго, рождена для песен и танцев. Вот почему Мауро непременно должен был водить ее по кабаре, я видел, как она преображалась, едва войдя, с первым глотком горячего воздуха, при первых звуках бандонеона. В тот час, застряв в «Санта-Фе», я оценил величие Селины, мужество, с каким она заплатила Мауро годами, проведенными на кухне и в патио за сладким мате. Она отреклась от своего неба милонги, от жаркого призванья к креольским вальсам и анисовой. Она сознательно приговорила себя к Мауро и жизни Мауро, лишь изредка взламывая его мир, чтобы он сводил ее на праздник.

Мауро уже подцепил негритянку, довольно смазливую, ростом повыше других и с талией, тонкой на диво. Меня рассмешил его инстинктивный, но в то же время обдуман- ный выбор — девушка меньше других походила на чу- довище; снова у меня мелькнула мысль, что Селина на свой лад тоже была чудовищем, только днем, за стенами кабаре, это не так бросалось в глаза. Я задал себе вопрос, приходило ли это в голову Мауро, я немного боялся его упреков, ведь я привел его в такое место, где в каждом углу подстерегало воспоминание.

Аплодисментов на сей раз не было, и Мауро подвел к столу девушку; вырванная из стихии танго, она вдруг сникла и точно поглупела.

— Позвольте представить вам моего друга.

Мы обменялись положенными «очень приятно» и тут же дали девушке выпить. Я радовался, видя, как оживлен Мауро, и даже перемолвился несколькими словами с его дамой, которую звали Эмма — имя, не идущее худым. Мауро, казалось, вполне разошелся, он говорил об оркестрах, и я — как всегда — восхищался его короткими, степенными фразами. Эмма сыпала именами певцов, вспоминала Вилью-Креспо и Эль-Талар¹. Тут Анита Лосано объявила старое танго, раздались крики и аплодисменты гостей, особенно индейцев, которые ее безгранично обожали. Мауро, однако, не вполне забылся: когда зазмеились мехи бандонеонов и оркестр заиграл, он вдруг посмотрел на меня напряженно, словно вспомнив. Я тоже увидел себя в «Расинге», Мауро и Селину, крепко обнявшихся в этом танго, — она напе- вала его потом весь вечер и в такси на обратном пути.

— Станцуем? — спросила Эмма, шумно глотая свой гранадин.

Мауро даже не взглянул на нее. Мне кажется, в эту минуту мы оба добрались до самых потаенных глубин. Сейчас (сейчас, когда пишу) передо мной стоит лишь один образ — мне двадцать лет, я ныряю в бассейн и натываюсь на другого пловца, мы вместе касаемся дна и смотрим друг на друга сквозь зеленую едкую воду. Мауро отодвинул стул и облокотился на стол. Как и я, он глядел на пло- щадку, потерявшаяся Эмма скрывала свое унижение, до- едая жареный картофель. Теперь Анита пела в более слож-

¹ Вилья-Креспо, Эль-Талар — населенные пункты; Вилья-Креспо в провинции Энтре-Риос, Эль-Талар в провинции Жужуй.

пом ритме, пары танцевали, почти не сходя с места, и слушали слова с жадной и болью, с самозабвенным наслаждением. Лица поворачивались к эстраде, танцоры, даже кружась, не сводили глаз с Аниты, склонившейся над микрофоном и доверительно шептавшей слова песни. Одни шевелили губами, повторяя слова, другие обалдело улыбались, и когда певица закончила: «Так долго ты со мною был повсюду, и лишь сегодня нет тебя нигде», — вслед за вступлением в тутти бандонеонов танец возобновился с неистовой силой — по краям площадки исполнялись «корриды», а на середине — «восьмерки»¹. Многие взмокли от пота, одна метиска, такого росточка, что едва достала бы мне до второй пуговицы пиджака, прошла мимо стола, и я увидел, как пот выступает у корней ее волос и струится по затылку, где кожа на слое жира была побелее. Из соседнего зала — там ели жаренное на решетке мясо и танцевали ранчеру² — валил дым, от жаркого и сигарет в воздухе повисло низкое облако, искажавшее лица и дешевую роспись стены напротив. Думаю, я помогал танцу изнутри, пропустив четыре стопки каньи, а Мауро подпер подбородок тыльной стороной руки и неподвижно уставился вперед. Мы не обратили внимания на то, что танго все продолжается и продолжается, раз или два Мауро окинул взором эстраду, где Анита подражала движениям дирижера, но потом снова впился глазами в пары танцующих. Не знаю, как сказать, мне кажется, я следовал за его взглядом и в то же время указывал ему путь; не видя друг друга, мы знали (мне кажется, Мауро знал), что попадаем в одну точку, останавливаемся на тех же самых парах, тех же волосах и брюках. Я услышал, как Эмма что-то говорит, извиняется, и пространство за столом между Мауро и мной опустело, хотя мы не глядели друг на друга. На площадку словно снизошел миг огромного блаженства, я глубоко вздохнул, вбирая его в себя, и Мауро вроде бы сделал то же самое. Дым был так густ, что мы видели лица танцующих лишь на нашей половине площадки, а стульев напротив (для тех девушек, что «подпирают стенку») совсем не видно было за телами и туманом. «Так долго ты со мною был повсюду» — репродуктор передавал голос Аниты с забавным треском, снова танцующие застыли на месте (продолжая двигаться), и справа от нас

¹ «Корриды», «восьмерки» — фигуры танго.

² Ранчера — деревенский танец.

из дыма возникла Селина, она кружилась, слушаясь своего кавалера, вот она в профиль, повернулась спиной, другой профиль и подняла лицо, чтобы слушать музыку. Я говорю: «Селина», — но тогда я скорее знал, чем понимал это; Селина здесь и не здесь — конечно, этого не поймешь в одно мгновенье. Стол вдруг задрожал, я знал, что дрожит рука Мауро или моя, но не от страха, скорее от изумления и радости. По правде сказать, то было глупое чувство, что-то держало нас, не позволяя прийти в себя, обратиться отсюда. Селина все еще была здесь, не видя нас, она впивала танго всем своим лицом, которое портил и менял желтый от дыма свет. Любая негритянка в эту минуту больше походила бы на Селину, чем она сама, блаженство преображало ее жестоко, я не вынес бы Селину такой, как в эту минуту, в этом танго. Я еще был достаточно трезв, чтобы понять, как опустошительно ее блаженство, — восхищенное, бессмысленное лицо в наконец обретенном раю; такой она могла появляться в милонге Касидиса, не будь работы и клиентов. Ничто не связывало ее теперь, она одна владела своим небом, всем существом отдавалась счастью и снова вступала в мир, недоступный для Мауро. То было завоеванное ею суровое небо, ее танго, которое снова играли для нее одной и ей подобных, пока не задрожали стекла от аплодисментов в ответ на припев Аниты. Селина со спины, Селина в профиль, другие пары в дыму рядом с ней.

Я не хотел смотреть на Мауро, я на всех парах возвращался к своему обычному цинизму, к привычной манере держать себя. Все зависело от того, как принял дело Мауро, так что я не тронулся с места, изучая площадку, которая мало-помалу пустела.

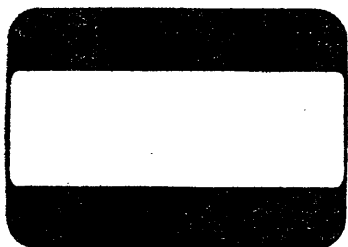
— Ты заметил? — спросил Мауро.

— Да.

— Заметил, как она похожа?

Я не ответил — на эту вспышку радости еще тяжелей было смотреть, чем на горе. Он был по сю сторону, бедняга был по сю сторону, и у него уже не хватало веры в то, что мы познали вместе. Я видел, как он встал и направился к площадке нетвердым шагом пьяного, ища женщину, похожую на Селину. Я сидел спокойно, неторопливо курил крепкую сигару, глядя, как он ходит взад и вперед; я знал, что он даром тратит время, что он вернется удрученный и жаждущий, не найдя врат неба в этом дыму и в этой толпе.

ЗАКОЛОЧЕННАЯ ДВЕРЬ



Отедь «Сервантес» понравился ему тем, чем не понравился бы многим, — полумраком, тишиной, пустотой. Случайный попутчик на пароходе похвалил этот отель и сказал, что он — в центре; и вот, уже в Монтевидео, Петроне взял номер с ванной, выходящий прямо в холл второго этажа. Взглянув на доску с ключами, он понял, что отель почти пустой. К каждому ключу был прикреплен большой медный номер, чтобы постояльцы не клали их в карман.

Лифт останавливался в холле, у журнального киоска и списка телефонов, за несколько шагов от его двери. Вода шла горячая, чуть ли не кипятком, и это хоть немного искупало духоту и полумглу. Маленькое окошко выходило на крышу соседнего кино, по которой иногда прогуливался голубь. В ванной было свежей, окно побольше, но и там взгляд упирался в стену, а кусочек неба над ней казался неуместным. Мебель ему понравилась — много ящиков, полки и, что особенно редко, много вешалок.

Управляющий — высокий, тощий, лысый — носил очки в золотой оправе и, как все уругвайцы, говорил громко и звонко. Он сказал, что на втором этаже очень тихо, занят только один номер, соседний, и обитательница его поздно возвращается со службы. На другой день Петроне столкнулся с ней в лифте; он узнал ее по номерку, который она держала в руке, словно огромную монету. Портье взял ключи у них обоих, повесил на доску, а с женщиной поговорил о письмах. Петроне успел заметить, что она еще молодая, невзрачная и плохо одета, как все здешние женщины.

Он рассчитал, что контракт с поставщиками мозаики займет примерно неделю. Под вечер он развесил вещи, разложил бумаги, принял ванну и пошел побродить, а по-

том отправился в контору. До самой ночи велись переговоры, скрашенные легкой выпивкой в кафе и ужином в частном доме. В отель его привезли во втором часу. Он устал и заснул сразу. Проснулся он в девять и в те первые минуты, когда еще не ушли ночные сны, подумал, что в середине ночи его потревожил детский плач.

Уходя, он поболтал с портье (тот говорил с немецким акцентом) и, справляясь об автобусных маршрутах и названиях улиц, рассеянно оглядывал холл, в который выходил его номер. В простенке, между его дверью и соседней, стояла на пьедестале жалкая копия Венеры Милосской. Дальше, сбоку, был ход в небольшую гостиную, уставленную, как и везде, креслами и журнальными столиками. Когда беседа замирала, тишина ложилась хлопьями золы на мебель и на плиты пола. Лифт громыхал нестерпимо, и так же громко шуршала газета или чиркала спичка.

Совещания кончились к вечеру. Петроне прогулялся по улице 18 июля, а потом поужинал в кафе на площади Независимости. Все шло хорошо, и, быть может, возвращение в Аргентину было ближе, чем ему казалось раньше. Он купил аргентинскую газету, пачку тонких черных сигар и пошел к себе. В кино у самого отеля шли две знакомые картины, да и вообще ему не хотелось никуда идти. Управляющий поздоровался с ним и спросил, не нужен ли еще один комплект белья. Они поболтали, покурили и простились.

Прежде чем лечь, Петроне прибрал бумаги, которые взял с собой, и лениво просмотрел газету. В гостинице было нестерпимо тихо; редкие трамваи на улице Сорриано разрывали тишину на миг, а потом она делалась еще плотнее. Спокойно и все же нетерпеливо Петроне швырнул газету в корзинку и разделся, рассеянно глядя в зеркало. Зеркальный шкаф, довольно старый, заслонял дверь, ведущую в соседний номер. Увидев эту дверь, Петроне удивился — раньше он ее не заметил. Он понял, что здание не предназначалось для отеля: скромные гостиницы часто располагаются в прежних конторах и квартирах. Да и всюду, где он останавливался (а ездил он много), обнаруживалась запертая дверь, то ничем не закрытая, то загороженная шкафом, столом или вешалкой, двусмысленно и стыдливо, словно женщина, прикрывающая рукой грудь или живот. И все же, скрывай не скрывай, дверь была здесь, выступала над шкафом. Когда-то в нее входили, закрывали ее, хлопали ею, давали ей жизнь, и сейчас не ис-

чезнувшую из ее непохожих на стену створок. Петроне представил себе, что за нею — другой шкаф, и соседка тоже думает об этой двери.

Он не устал, но заснул крепко и проспал часа три, когда его разбудило странное чувство, словно что-то случилось дурное, какая-то неприятность. Он зажег лампу, увидел, что на часах — половина третьего, и погасил ее снова. И тогда в соседнем номере заплакал младенец.

Сперва он не совсем понял, даже обрадовался — значит, и вчера его мучил детский плач. Все ясно, он не ошибся, можно снова заснуть. Но тут явилась другая мысль; Петроне медленно сел и прислушался, не зажигая света. Да, плач шел оттуда, из-за двери. Он проходил сквозь дверь вот здесь, в ногах кровати. Как же так? Там не может быть ребенка; управляющий сказал твердо, что женщина — одна и весь день на службе. Быть может, она взяла его на ночь у родственницы или подруги... А вчера? Теперь он знал, что слышал и тогда этот плач, не похожий ни на что другое: сбивчивый, слабый, жалобный, прерываемый то хныканьем, то стоном, словно ребенок чем-то болен. Наверное, ему несколько месяцев — новорожденные плачут громче, кричат и заходятся. Петроне почему-то представлял себе, что это — непременно мальчик, хилый, больной, сморщенный, который еле шевелится от слабости. Вот *это* и плачет по ночам, стыдливо жалуется, хнычет, не привлекая вниманья. Не будь этой двери, никто бы и не знал о ребенке — стены́ этим жалобным звукам не одолеть.

За завтраком, куря сигару, Петроне еще о нем подумал. Дурные ночи мешают дневным делам, а плач будил его два раза. Второй раз было хуже: женский голос — очень тихий, нарочито четкий — мешал еще сильнее. Ребенок умолкал на минуту, а после короткий стон сменялся горькой жалобой. И снова шептала женщина непонятные слова, заклинала по-матерински своего младенца, измученного телесной или душевной болью, жизнью или страхом смерти.

«Все это очень мило, но управляющий меня надул», — подумал Петроне, выходя. Ложь сердила его, и он того не скрыл. Управляющий, однако, удивился.

— Ребенок? Вы что-то спутали. У нас нет грудных детей. Рядом с вами — одинокая дама, я ведь говорил.

Петроне ответил не сразу. Одно из двух: или управляющий глупо лжет, или здешняя акустика сыграла с ним дурацкую шутку. Собеседник глядел чуть искоса, словно и его это все раздражало. «Наверное, считает, что я из робости не решаюсь потребовать, чтобы меня перевели в другой номер», — подумал Петроне. Трудно, просто бессмысленно настаивать, когда всё наотрез отрицают. Петроне пожал плечами и спросил газету.

— Наверное, приснилось, — сказал он. Ему было неприятно, что пришлось говорить это и вообще объясняться.

В кабаре было до смерти скучно, оба сотрапезника угощали его довольно вяло, так что он легко сослался на усталость и уехал в отель. Подписать контракты решили на завтра к вечеру; в сущности, с делами он покончил.

В вестибюле было так тихо, что, сам того не замечая, он пошел на цыпочках. У кровати лежали вечерняя газета и письма из дому. Он узнал почерк жены.

Прежде чем лечь, он долго смотрел на шкаф и на выступавший над ним кусок двери. Если положить туда два чемодана, дверь исчезнет совсем, и звуки будут много глуше. В этот час, как и прежде, стояла тишина. Отель уснул; спали и вещи и люди. Но растревоженному Петроне казалось, что все — не так, что все не спит, ждет чего-то в сердцевине молчанья. Его невысказанный страх передается, наверное, и дому и людям, и они тоже не спят, притаившись в своих номерах. Как это глупо, однако!

Когда ребенок заплакал часа в три, Петроне почти не удивился. Привстав на кровати, он подумал, не позвать ли сторожа — пускай свидетель подтвердит, что тут не заснешь. Плакал ребенок тихо, еле слышно, порой затихал ненадолго, но Петроне знал, что крик скоро начнется снова. Медленно проползали десять — двенадцать секунд, что-то коротко хрюкало, и тихий писк срывался в пронзительный плач.

Петроне закурил и подумал, не постучать ли вежливо в стену — пускай она там укачает своего младенца. И сразу понял, что не верит ни в нее, ни в него — не верит, как это ни странно, что управляющий солгал. Женский голос, настойчиво и тихо увещающий ребенка, заглушил детский плач. Она баюкала, утешала, и Петроне все же представил себе, как она сидит у кровати, или качает колыбель, или держит младенца на руках. Но *его* он не мог себе

представить, словно заверения управляющего пересилили свидетельства чувств. Время шло, жалобы то затихали, то заглушали женский шепот, и Петроне стало казаться, что это — фарс, розыгрыш, нелепая дикая игра. Он вспомнил о бездетных женщинах, тайком возившихся с куклами, рассказы о мнимом материнстве, которое много опасней возни с племянниками или с животными. Она кричит сама, ребенка нет, и убаюкивает пустоту и плачет настоящими слезами, ведь ей не надо притворяться — горе с ней, нелепое горе в пустой комнате, в равнодушии рассвета.

Петроне зажег лампу — спать он не мог — и подумал: что же делать? Настроение испортилось вконец, да и как ему не испортиться от этой игры и фальши? Все казалось теперь фальшивым — и тишина, и баюканье, и плач. Только они и существовали в этот предутренний час, только они были правдой и невыносимой ложью. Постучать в стену — мало. Он еще не совсем проснулся, хотя и не спал как следует, и вдруг заметил, что двигает шкаф, медленно обнажая пыльную дверь.

Босой, в пижаме, он приник к дверям — всем телом, как сороконожка, — и, приложив губы к грязным сосновым створкам, заплакал и запищал, как тот, невидимый младенец. Он плакал все громче, захлебывался, заходиллся. Там, за дверью, замолчали — должно быть, надолго. А за миг до того он услышал шарканье шлепанцев и короткий женский крик, предвещавший бурю, но оборвавшийся, словно тугая струна.

В одиннадцатом часу он проходил мимо портье. Раньше, в девятом, сквозь сон, он слышал его голос и еще один — женский, и кто-то двигал вещи за стеной. Сейчас у лифта он увидел баул и два больших чемодана. Управляющий был явно растерян.

— Как спалось? — по долгу службы спросил он, с трудом скрывая безразличие.

Петроне пожал плечами. К чему уточнять, все равно он завтра уедет.

— Сегодня будет спокойней, — сказал управляющий, глядя на вещи, — ваша соседка уезжает через час.

Он ждал ответа, и Петроне подбодрил его взглядом.

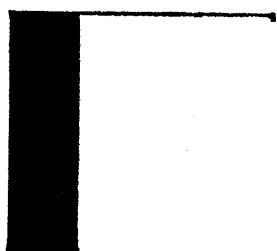
— Жила тут, жила, и вот — едет. Женщин не поймешь.

— Да, — сказал Петроне. — Их понять трудно.

На улице его качнуло, хотя он был здоров. Глотая горький кофе, он думал все о том же, забыв о делах, не замечая светлого дня. Это из-за него, из-за Петроне, уехала

соседка, в припадке страха, стыда или злости. «Жила, тут, жила...» Больная, наверное, но — безобидная. Ему, а не ей надо было уехать. Поговорить, извиниться, попросить остаться, пообещать молчание. Он пошел назад, остановился. Нет, он свалывает дурака, она примет его слова как-нибудь не так. И вообще, пора идти на деловое свидание — нехорошо, если им придется ждать. Бог с ней, пускай себя дурачит. Просто истеричка. Найдет другой отель, будет там баюкать своего воображаемого младенца.

Ночью ему снова стало не по себе, и тишина показалась еще нестерпимей. Возвращаясь, он не удержался — взглянул на доску, и увидел, что соседкиного ключа уже нет. Поболтав немного с портье, который зевал за своим барьером, он вошел в номер, не слишком надеясь уснуть, положил на столик вечерние газеты и новый детектив, сложил чемоданы, привел бумаги в порядок. Было жарко, и окно он открыл настежь. Аккуратная постель показалась ему неудобной. Наконец стояла тишина, он мог уснуть как убитый — и не спал: он ворочался в постели, тишина давила его — та самая, которой он добился так хитро, та, которую ему так мстительно вернули. Горькая, насмешливая мысль подсказала ему, что без детского плача и не уснешь и не проснешься. Плача не хватало, и когда, чуть позже, он услышал слабый, знакомый звук за заколоченной дверью, он повял — сквозь страх, сквозь желание бежать, — что женщина не лгала, что она была права, убаюкивая ребенка, чтобы он замолчал наконец, а они — заснули.



де-то раздобыв программу, напечатанную на кремовой бумаге, дон Перес проводил меня до моего места. Девятый ряд, чуть вправо, ну что ж, прекрасное акустическое равновесие! Я, слава богу, знаю театр Корона — капризов у него больше, чем у истеричной женщины. Сколько раз я предупреждал друзей: не берите билеты в тринадцатый ряд, там что-то вроде воздушного колодца, и туда не попадает музыка. А с левой стороны в бельэтаже, точь-в-точь как во флорентийском «Театро Коммунале», некоторые инструменты как бы отделяются от оркестра и плывут по воздуху; вот флейта, к примеру, может зазвучать в трех метрах от вас, а весь оркестр, как ему и положено, останется на сцене. Это забавно, но приятного мало.

Я заглянул в программу — чем нас сегодня угощают? «Сон в летнюю ночь», «Дон-Жуан», «Море» и «Пятая симфония». Ну, как тут не улыбнуться? Ах, Маэстро, старая лиса, опять в вашей концертной программе беззастенчивый эстетический произвол, но... он прикрывает отличное психологическое чутье, которым, как правило, столь щедро наделены режиссеры мюзик-холлов, концертные знаменитости и организаторы вольной борьбы. Только со скуки можно притащиться на концерт, где после Штрауса дают Дебюсси и тут же, следом, — Бетховена, что уж не лезет ни в какие ворота. Но Маэстро знал свою публику. Репертуар был рассчитан на завсегдатаев театра Корона, а они люди без вывертов, уравновешенные и предпочитают плохое хорошему, лишь бы это было привычно и знакомо. Ничего неудобоваримого и нарушающего их спокойствие. С Мендельсоном им будет легко и просто, потом «Дон-Жуан», такой щедрый, округлый, все мелодии — в памяти, можно напеть любую. Дебюсси — другое дело, с Дебюсси они почувствуют себя людьми искусства: не каждому дано понимать его музыку. А потом главное блюдо —

Бетховен, внушительный звуковой массаж, так судьба стучится в дверь, ах, этот глухой геній, победа и ее символ — буква V. А дальше — дальше бегом домой, завтра в конторе дел невпроворот.

В сущности, я питал самые нежные чувства к Маэстро за то, что он принес хорошую музыку в наш незнакомый с искусством город, где каких-нибудь десять лет назад не шли дальше «Травнаты» и увертюры к «Гуарани»¹. Маэстро попал к нам по контракту, заключенному с одним бойким импресарио, и вот создал оркестр, который по праву может считаться первоклассным. Потихоньку в его репертуаре появились Брамс, Малер, импрессионисты, за ними и Штраус и Мусоргский... На первых порах владельцы лож недовольно ворчали, и Маэстро подобрал паруса, разбавив концертные программы отрывками из опер. Со временем даже Бетховен, которого он нам преподносил, стал награждаться долгими и упорными аплодисментами, ну а кончилось тем, что Маэстро рукоплескали за все подряд, даже и просто за выход на сцену, вот как сейчас, когда его появление вызвало невиданный взрыв восторга. Вообще-то в начале концертного сезона слушатели щедрты на аплодисменты и ладоней не жалеют, хлопают с особым вкусом, но что ни говори — все до единого обожали Маэстро, который, как всегда без особой старательности, даже сухоовато, поклонился публике, быстро отвернулся к оркестрантам и сразу стал чем-то похож на главаря пиратов. Слева от меня сидела сеньора Джонатан, я с ней едва был знаком, но слышал, что она меломанка. Зардевшись, сеньора протонала:

— Вот! Вот человек, который достиг того, о чем другие могут лишь мечтать! Он создал не только оркестр, но и нас, публику! Разве это не восхитительно?

— Да,— согласился я, будучи покладистым по натуре.

— Порой мне кажется, что он должен дирижировать лицом к публике, ведь мы в известном смысле — тоже его музыканты.

— Меня, пожалуйста, увольте! — сказал я. — Как это ни печально, но в моей голове весьма смутные представления о музыке. Эта программа, например, мне кажется просто ужасной. Впрочем, я наверняка заблуждаюсь...

¹ «Г у а р а н и» — опера-балет бразильского композитора Карлоса Антонио Гомеса (1836—1896).

Сеньора Джоватан глянула на меня осуждающе и тут же отвернулась, но ее природная любезность взяла верх, и мне пришлось выслушать пространные объяснения.

— В эту программу включены настоящие шедевры, и она, между прочим, составлена по письмам его почитателей. Разве вы не знаете, что сегодня у Маэстро серебряная свадьба с музыкой? А то, что оркестру исполняется пять лет? Взгляните в программу, там на обороте очень тонкая статья профессора Паласина.

Я прочитал статью профессора Паласина в антракте, после Мендельсона и Штрауса, вызвавших бурные овации в честь Маэстро. Прогуливаясь по фойе, я несколько раз задался вопросом: заслуживает ли исполнение обеих вещей такого прилива восторженных чувств и почему сегодня так неистовствует публика, которая вообще, по моим наблюдениям, не отличается особым великодушием? Но каждый юбилей — это ворота, распахнутые для человеческой глупости, и сегодня приверженцы Маэстро совсем потеряли над собой власть. В баре я столкнулся с доктором Эпифанией и его семейством — пришлось потерять на них несколько минут. Дочери Эпифании — раскрасневшиеся, возбужденные — окружили меня и наперебой закудахтали (они вообще походили на пернатых разной породы). Мендельсон был просто божественный, не музыка, а бархат, тончайший шелк, и в каждой ноте — неземной романтизм. Ноктюрн? Ноктюрн можно слушать до конца жизни, а скерцо — оно сыграно руками феи. Бебе больше понравился Штраус — в нем настоящая сила, это истинно немецкий Дон-Жуан, а от тромбонов и валторн у нее бегали мурашки по телу — я почему-то воспринял эти слова в их буквальном смысле. Доктор, снисходительно улыбаясь, смотрел на дочерей.

— Ах, молодежь, молодежь! Сразу видно, что вы не слышали Рислера¹ и не знаете, как дирижировал фон Бюлов...² То было время!

Девушки рассердились. Росарио сказала, что нынешние оркестры куда лучше, чем пятьдесят лет тому назад, а Беба решительно пресекла попытку отца усомниться в исключительных способностях Маэстро.

¹ Рислер Эдуард (1873—1929) — французский пианист.

² Фон Бюлов Ганс (1830—1894) — немецкий пианист, дирижер и композитор.

— Разумеется, разумеется,— согласился доктор Эпифания.— Я и сам считаю, что сегодня он гениален. Сколько огня, какой подъем! Мне давно не случалось так хлопать... Вот полюбуйтесь!

Доктор Эпифания с гордостью протянул мне ладони, глядя на которые подумаешь, что он давил свеклу. Странно, но у меня сложилось иное впечатление — мне даже казалось, что Маэстро не в ударе, что у него, должно быть, побаливала печень, что он, как говорят, не выкладывается, а сдержан и скучноват. Наверно, я был единственным в театре Корона, кто так думал, потому что Кайо Родригес, нагнав меня, чуть не сбил меня с ног.

— Дон-Жуан — блеск! А Маэстро — потрясающий дирижер! — заорал он.— Ты помнишь то место в скерцо Мендельсона, ну, прямо настоящий шепоток гномов, а не оркестр!

— Знаешь,— сказал я,— услышать бы сначала этот шепоток гномов!

— Не валяй дурака,— огрызнулся Кайо, и я видел, что он искренне возмущен.— Неужели ты не в состоянии уловить такое! Наш Маэстро — гений, и сегодня он превзошел самого себя, ясно? По-моему, ты зря притворяешься глухим.

В эту минуту нас настигла Гильермина Фонтан, которая слово в слово повторила то, что наплели дочери Эпифании, а потом они с Кайо проникновенно смотрели друг на друга со слезами на глазах, растроганные созвучностью своих восторгов, стихийным братством, от которого добреют, правда ненадолго, человеческие души. Я глядел на них, ничего не понимая, силясь осмыслить причины этого восхищения. Ну, допустим, я не каждый вечер хожу на концерты и не в пример им порой могу спутать Брамса с Брукнером или наоборот, что в их кругу расценят как непростительное невежество. И все же эти воспаленные лица, эти потные загривки, готовность аплодировать где угодно, в фойе или посреди улицы, — все это наводило меня на мысль об атмосферных влияниях, о влажности воздуха, о солнечных пятнах, словом, о тех вещах, что сказываются, несомненно, на поведении человека. Помнится, я даже подумал, нет ли в зале какого-нибудь остряка, который решил повторить знаменитый опыт доктора Окса, чтобы распалить всю эту публику. Гильермина прервала мои раздумья, дернув меня за руку (мы были едва знакомы).

— А сейчас — Дебюсси! — прошептала она в сильнейшем возбуждении. — Кружевная игра воды, «La mer»¹.

— Счастлив буду это услышать, — сказал я.

— Представляете себе, как прозвучит «Море» у нашего Маэстро!

— Безупречно, — обронил я, глядя на нее в упор, чтобы проследить, как она отнесется к моему замечанию.

Обманувшись во мне, Гильермина тут же повернулась к Кайо, который глотал содовую, словно одуревший от жажды верблюд, и оба молитвенно погрузились в предварительные расчеты того, что даст вторая часть «Моря» и какой неслыханной силы достигнет Маэстро в третьей части. Я решил прогуляться по коридорам, а потом вышел в фойе. Меня трогал и вместе с тем раздражал этот иступленный восторг всей публики после первого отделения. Громкое жужжанье разворошенного улья било по моим нервам — я сам вдруг разволновался и даже удвоил свою обычную порцию содовой воды. В известной мере, мне было досадно, что я не участвую в этом действе, а скорее на манер ученого энтомолога наблюдаю за всем со стороны. Но что поделаешь! Такое происходит со мной везде и всюду и, если уж на то пошло, даже помогает не связываться всерьез ни с чем в жизни.

Когда я вернулся в партер, все уже сидели на своих местах, и мне пришлось поднять весь ряд, чтобы добраться до моего кресла. Что-то было смешное в том, что нетерпеливая публика расселась по своим местам, не дожидаясь оркестрантов, которые озабоченно, словно нехотя, выходили на сцену. Я взглянул на галерку и на балконы — сплошная черная масса, будто мухи в банке из-под сладкого. В партере то тут, то там вспыхивали и гасли огоньки — это меломаны, что принесли с собой партитуры, проверяли свои фонарики. Когда огромная центральная люстра стала медленно тускнеть, в наступающую темноту, навстречу вышедшему на сцену Маэстро покатались аплодисменты. Я подумал, что эти нарастающие звуки как бы теснили свет и заставили вступить в строй одно из моих пяти чувств, в то время как другое получило возможность передохнуть. Слева от меня яростно била в ладони сеньора Джонатан, и не одна она — весь ряд целиком. Но впереди, наискосок, я заметил человека, который сидел совсем не-

¹ «Море» (франц.).

подвижно, едва склонив голову. Слепой? Конечно, слепой, я даже мысленно различил блики на его белой полированной трости и еще эти бесполезные очки. Лишь мы вдвоем во всем зале не аплодировали, и, разумеется, у меня возник острый интерес к слепому человеку. Мне неудержимо захотелось подсесть к нему, заговорить, завязать разговор. Ведь как-никак — это единственный человек, дерзнувший не аплодировать Маэстро. Впереди иступленно отбивали свои ладоши дочери Эпифании, да и он сам не отставал от них. Маэстро небрежно кивнул публике, поднял глаза кверху, откуда, как на огромных роликах, скатывался грохот, врезааясь в аплодисменты партера и лож. Мне показалось, что у Маэстро не то испытующее, не то озабоченное выражение лица — его опытный слух, должно быть, уловил, что сегодня на его юбилейном концерте публика ведет себя как-то совсем по-другому. «Море» тоже вызвало овацию, и не менее восторженную, чем Рихард Штраус, что вполне понятно. Я и сам не устоял перед звуковыми раскатами и всплесками финала и хлопал до боли в ладонях. Сеньора Джонатан плакала.

— Непостижимо! — прошептала она, повернув ко мне совершенно мокрое лицо, словно в крупных каплях дождя. — Ну просто непостижимо!

Маэстро то исчезал, то появлялся, как всегда, был элегантен и взлетел на дирижерскую подставку с легкостью, напоминающей распорядителей аукционов. Он поднял своих музыкантов, и в ответ с удвоенной силой грянули новые аплодисменты и новые «браво!». Слепой, что сидел справа от меня, тоже аплодировал, но очень скупомощно, щадя ладони, — мне доставляло истинное удовольствие наблюдать, с какой сдержанностью он, весь подобранный, даже отсутствующий (голова опущена вниз), поддерживает этот взрыв энтузиазма. Бесконечные «браво!» — обычно они звучат обособленно, выражая чье-то личное мнение, — неслись отовсюду. Поначалу аплодисменты не были такими бурными, как в первом отделении концерта, но теперь музыка как бы отошла в сторону, теперь рукоплескали не «Дон-Жуану» и не «Морю», а только лишь Маэстро и еще, пожалуй, той солидарности чувств, которая объединила всех ценителей музыки. И овация, черпавшая силы сама в себе, нарастала и минутами делалась мучительно невыносимой. Я с раздражением смотрел по сторонам и вдруг слева от себя заметил женщину в красном — она побежала по проходу и остановилась возле сце-

ны у самых ног Маэстро. Когда Маэстро снова склонился перед публикой, он отпрянул, увидев прямо перед собой сеньору в красном, и тут же выпрямился. Но сверху, с галерки, несся такой угрожающий гул, что ему пришлось снова кланяться и приветствовать публику — он это делал очень редко — вскинутой вверх рукой, что незамедлительно вызвало новый взрыв восторга, и к неистовым аплодисментам присоединился топот ног в ложах и бельэтаже. Ну, это уж слишком.

Хотя и не было перерыва, Маэстро удалился на несколько минут, и я даже привстал с кресла, чтобы получше разглядеть зал. Влажная, вязкая духота и возбуждение превратили большинство людей в какое-то подобие жалких, мокрых креветок. Сотни смятых платочков колыхались, словно волны нового моря, возникшего как бы в насмешку вслед за только что смолкшим «La mer». Многие чуть ли не опрометью бросились в фойе, чтобы наспех осушить стакан лимонада или пива и, боясь упустить что-либо важное, значительное, бегом летели в зал, натываясь на встречных. У главного входа в партер образовалась беспорядочная толчея. Но не было и намека на какое-либо недовольство, люди исполнились бесконечной добротой друг к другу, вернее, настало какое-то всеобщее умирение, в котором они друг друга понимали и чувствовали. Сеньора Джонатан, с трудом умещавшаяся в узком кресле, подняла на меня глаза — я все еще стоял, — и лицо ее до удивления напоминало спелую репу. «Непостижимо! — простонала она. — Просто непостижимо!»

Я почти возликовал, увидев выходящего на сцену Маэстро; эта толпа, к которой я — увы! — принадлежал, внушала мне жалость и отвращение. Из всех в зале, пожалуй, один Маэстро и его музыканты сохраняли человеческое достоинство. Да еще этот слепой, там справа, что не аплодировал, а сидел прямой, как струна, — сама сдержанность, само внимание.

— Пятая! — влажно выдохнула мне в ухо сеньора Джонатан. — Экстаз трагедии!

Я сразу подумал, что это неплохо для названия фильма, и прикрыл глаза. Наверно, мне хотелось уподобиться слепому, единственному человеческому существу среди этого студенистого месива, в котором я так безнадежно увяз. И когда я увидел маленькие зеленые огоньки, скользнувшие передо мной, словно ласточки, первая фраза бетховенской симфонии обрушилась на меня ковшом

землечерпалки и заставила смотреть на сцену. Маэстро был почти прекрасен — тонкое, пронизательное лицо и руки, к ним прикован оркестр, гудевший всеми своими моторами в великой тишине, которая мгновенно затопила грохот безудержных аплодисментов. Но, честно говоря, мне показалось, что Маэстро пустил в ход свою машину чуть раньше, чем настала эта тишина. Первая тема прошла где-то над нашими головами и с ней ее символы, огни воспоминаний, ее привычное, совсем простое: та-та-та-та́. Вторая, очерченная дирижерской палочкой, разлилась по залу, и мне почудилось, что воздух занялся пламенем. Но пламя это было холодным, невидимым, оно жгло изнутри. Наверно, никто, кроме меня, не обратил внимания на первый крик, слишком короткий, придушенный. Я расслышал его в аккорде деревянных и медных духовых, потому что девушка, забившаяся в судорогах, сидела прямо передо мной. Крик был сухой, недолгий, словно в истерическом припадке или любовном экстазе. Девушка запрокинула голову, касаясь затылком резного единорога, которым увенчаны кресла в партере, и с такой силой колотила ногами по полу, что ее едва удерживали сидевшие рядом. Сверху, с первого яруса, донесся еще один крик и более яростный топот ног. Едва закончилась вторая часть, как Маэстро сразу, без паузы, перешел к третьей. Меня вдруг взяло любопытство — может ли дирижер слышать эти крики, или он целиком в плену звуковой стихии оркестра. А девушка из переднего ряда клонилась все ниже и ниже, и какая-то женщина (скорее всего — мать) обнимала ее за плечи. Я хотел было помочь им, но попробуй сделать что-нибудь во время концерта, если они сидят в другом ряду и кругом незнакомые люди. У меня даже мелькнула мысль призвать в помощники сеньору Джонатан, ведь женщины более находчивы и знают, что нужно делать в подобных случаях. Но сеньора Джонатан не отрывала глаз от спины Маэстро — она вся ушла в музыку. Мне показалось, что у нее на подбородке, прямо под нижней губой, что-то блестит. Внезапно впереди нас встал во весь рост какой-то сеньор в смокинге, и его могучая спина целиком заслонила Маэстро. Так странно, что кто-то встал посреди концерта... Но разве не странно, что публика вообще не замечает этих криков, не видит, что у девушки настоящий истерический припадок? Мои глаза неожиданно выхватили расплывчатое красное пятно в центре партера. Ну, конечно, это та самая женщина, что в антракте бежала к сцене! Она мед-

ленно шла к сцене, и хоть держалась совсем прямо, я бы сказал — не шла, а подкрадывалась, ее выдавала походка: шаги медленные, как у замороженного человека, — вот-вот изготовится и прыгнет. Она неотрывно смотрела на Маэстро, мне даже почудился шалый блеск ее глаз. Какой-то мужчина, выбравшись из своего ряда, устремился вслед за ней, — вот они уже где-то в пятом ряду или ближе, а возле них еще трое. Сейчас будет финал, и по велению Маэстро уже врывались в зал его первые мощные и широкие аккорды, великолепно четкие — совершенные скульптурные формы, высокие колонны, белые и зеленые, Карнак¹ звуков, по нефу которого осторожно продвигались женщина в красном и ее провожатые.

Между двумя взрывами оркестра я снова услышал крик, вернее вопль, из ложи справа. И вместе с ним прямо в музыку сорвались аплодисменты, не сумевшие удержаться еще какую-то малость, как будто в пекле страсти весь зал, эта огромная задыхающаяся самка не дождалась мужского ликованья оркестра и с иступленными криками, не владея собой, отдалась своему наслаждению. Неудобное кресло мешало мне обернуться назад, где — я это чувствовал — что-то нарастало, надвигалось, вторя женщине в красном и ее спутникам, которые подбежали к сцене как раз в ту минуту, когда Маэстро, точь-в-точь как матадор, ловко всаживающий шпагу в загривок быка, вонзил дирижерскую палочку в последнюю стену звука и подался вперед, поникший, словно его ударило тугой волной воздуха. Когда Маэстро выпрямился, весь зал стоял, и я, разумеется, тоже, а пространство стало стеклом, в которое целым лесом острых копий вонзались аплодисменты и крики, превращая его в невыносимо грубую, взбухшую и исполненную тем не менее особым величием массу, которая была сродни чему-то похожему на стадо бегущих буйволов. Отовсюду в партер набивались люди, и меня даже не очень удивили двое мужчин, что спрыгнули в проход прямо из ложи. Взвизгнув, точно придавленная крыса, сеньора Джонатан вырвала наконец свои телеса из кресла и, протянув руки к сцене, уже не кричала, а вопила от восторга. Все это время Маэстро стоял спиной к публике, словно выражая к ней презрение, и, должно быть, одобрительно смотрел на музыкантов. Но вот он

¹ Карнак — здесь: крупнейший в Древнем Египте храмовый ансамбль.

неторопливо обернулся, впервые удостоив публику легким наклоном головы. Лицо его было совершенно белое, будто его доконала усталость, и я даже успел подумать (в путанице ощущений, обрывков мыслей, мгновенных вспышках всего того, что окружало меня в этом аду восторга), что он вот-вот потеряет сознание. Маэстро поклонился во второй раз и, посмотрев вправо, увидел, как на сцену карабкается тот самый сеньор, белобрысый, в смокинге, а за ним еще двое. Мне показалось, что Маэстро сделал какое-то неопределенное движение, словно надумал сойти с помоста, и тут я заметил, что движение это — судорожное, что он хочет освободиться и не может. Ну, так и есть: женщина в красном вцепилась в его ногу. Она вся тянулась к Маэстро и при этом кричала, я, по крайней мере, видел ее широко открытый рот. Думаю, что она кричала, как все и, не исключено, как я сам. Маэстро уронил палочку и отчаянно дернулся в сторону. Он явно что-то говорил, но что — разобрать было невозможно. Один из спутников женщины обхватил руками другую ногу Маэстро, и тот повернулся к музыкантам, словно взывая к ним о помощи. Музыканты, повскакавшие с мест, натыкались под слепящим светом софитов на брошенные инструменты. На сцену, теснясь у лестниц, лезли и лезли новые люди; их набралось столько, что в толчее нельзя было различить оркестрантов. Пюпитры полегли на пол, как смятые колосья. Бледный Маэстро, пытаясь высвободить ногу, ухватился за какого-то человека, который вскочил прямо на подставку, но, увидев, что этот человек вовсе не музыкант, он резко отпрянул назад. В этот миг еще одни руки обвилились вокруг его талии. Потом я увидел, как женщина в красном, словно в мольбе, раскрыла ему объятия, и неожиданно Маэстро исчез — толпа обезумевших почитателей унесла его со сцены и потащила куда-то в глубь партера. До сих пор я следил за общим исступлением с каким-то восторгом и ужасом ясновидца. Все мне открывалось с особой высоты, а может, напротив — откуда-то снизу. И вот внезапно раздался этот пронзительный, режущий крик. Кричал слепой — он поднялся во весь рост и, размахивая руками, точно мельничными крыльями, что-то выпрашивал, вымаливал, молил. Это было сверх всякой меры — я уже не мог просто присутствовать в зале, я почувствовал себя полным участником этого буйства восторгов и, сорвавшись с места, понесся к сцене. Одним прыжком я очутился на сцене, где обезумевшие мужчины и

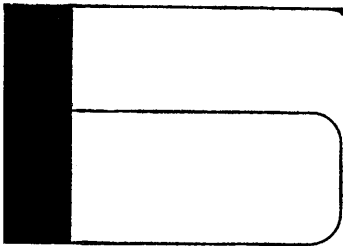
женщины с воем вырывали у скрипачей инструменты (скрипки хрустели и лопались, точно огромные рыжие тараканы), потом стали кидать в зал всех музыкантов подряд, и там наваливались на них другие безумцы. Любопытно, что я не испытывал ни малейшего желания хоть как-то способствовать этому разгулу страстей. Мне лишь хотелось быть рядом со всеми, видеть собственными глазами все, что происходит и произойдет на этом невероятном юбилее. У меня еще остались какие-то проблески разума, чтобы подумать, отчего это музыканты не пытаются удрать за кулисы. Но я тут же сообразил, что это невозможно — слушатели буквально забили оба крыла сцены, образовав кордон, который выплескивался вперед, подминая под себя инструменты, подбрасывая вверх пюпитры, аплодируя, надрывая глотки истошным криком. В зале стоял такой чудовищный грохот, что он уже воспринимался, как тишина. Прямо на меня с кларнетом в руках бежал какой-то толстяк, и я чуть было не схватил его, чуть было не подставил ему ножку, чтобы и он достался разъяренной публике. Но, разумеется, я смалодушничал, и желтолицая сеньора с глубоким декольте на груди, по которой прыгали жемчужные россыпи огромного ожерелья, подарила мне взгляд, исполненный ненависти и вызова. Она поволокла визжащего кларнетиста, который прикрывал свой кларнет, к каким-то мужчинам, а те потащили его — уже притихшего — к ложам, где общее возбуждение достигло высшего предела.

Аплодисменты едва пробивались сквозь крики, да и кто мог аплодировать, если все, как одержимые, ловили музыкантов, чтобы схватить их в свои объятия. Зал ревел все пронзительнее и острее, то тут, то там нарастающий рев вспарывали жуткие вопли, среди которых — как мне казалось — были совсем особые, вызванные физической болью, что, в общем-то, не удивительно — в таком столпотворении, в такой сумятице и беготне можно было переломать руки и ноги. Но я все же смело ринулся в партер с опустевшей сцены, туда, к музыкантам, которых растаскивали в разные стороны, — кого к ложам, где шла какая-то неясная возня, кого к узким боковым проходам, которые вели в фойе. Из лож бенуара — вот, оказывается, откуда несло отчаянное завывание. Должно быть, это музыканты задыхаясь от нескончаемых объятий, умоляли отпустить их. Те, кто сидел в партере, толпились теперь у входов в ложи, куда устремился и я, продираясь сквозь лес разных

кресел. Волнение в зале заметно усилилось, свет начал быстро слабеть, и в красноватом накале лампочек лица были едва видны, и фигуры людей напоминали какие-то содрогающиеся бесплотные тени, нагромождение бесформенных объемов, которые то сближались, то отдалялись друг от друга. Мне показалось, что я различил серебряную голову Маэстро во второй ложе, совсем рядом со мной. Но Маэстро сразу исчез, куда-то провалился, словно его заставили стать на колени. Возле меня раздался резкий, короткий крик, и я увидел бегущую сеньору Джонатан, а чуть позади — младшую из дочерей Эпифании. Обе полезли в толпу возле второй ложи. Теперь-то я уже не сомневался, что именно в этой ложе очутились и Маэстро, и женщина в красном со своими спутниками. Докторская дочь подставила сеньоре Джонатан сплетенные пальцы рук, и та, словно лихая наездница, уперлась в них ногой, как в стремя, а потом нырнула в ложу. Узнав меня, дочь Эпифании что-то крикнула, наверно, просила помочь и ей, но я отвел глаза в сторону и остановился, не желая оспаривать права этих совсем обезумевших от восхищения людей, готовых передаться друг с другом. Я видел, как расквасили нос тромбонем Кайо Родригесу — вот кто отличился, когда в партер со сцены сбрасывали оркестрантов! Окровавленное лицо Кайо не вызвало моего сочувствия, мне даже не было жаль слепого, который ползал на четвереньках и натыкался на кресла, заблудившись в этом симметричном лесу, лишенном примет. Меня уже ничто не волновало. Разве что хотелось знать, смолкнут ли когда-нибудь эти крики в ложах бельэтажа, которые подхватывались в партере, откуда по-прежнему лезли к ложам обезумевшие люди, отталкивая в стороны всех и вся. Самые отчаянные, видя, что им не пробиться в ложи сквозь толпы, теснившиеся у дверей, прыгали туда так, как это сделала сеньора Джонатан. Я все это видел, я отдавал себе во всем отчет, и у меня все также не было ни малейшего желания участвовать в этом общем безумии. Пожалуй, собственное равнодушие пробуждало во мне странное чувство вины, будто мое поведение было чем-то самым постыдным, непростительно скандальным в этом всеобщем безобразии. Я уже несколько минут сидел один в пустом ряду партера и где-то за пределами моего безучастия уловил начало спада в по-прежнему безудержном и отчаянном реве толпы. Крики действительно стали стихать, быстро сошли на нет, и все заполнилось неясными шорохами

отступления. Когда, как мне показалось, можно было идти, я быстро направился к боковому проходу и беспрепятственно попал в фойе. Одинокие фигуры двигались, словно пьяные. Кто-то вытирал рот платком, кто-то одергивал пиджак или поправлял воротничок. В фойе я заметил женщин, которые рылись в своих сумочках в поисках зеркала. Одна из женщин комкала в руке окровавленный платок — должно быть, поранилась. Потом я увидел обеих дочерей доктора Эпифании. Они бежали хмурые, разозлились, наверное, оттого, что не сумели попасть в ложу. Каждая из них подарила мне такой взгляд, словно я и был во всем виноват. Я подождал, пока они, по моим расчетам, не оказались на улице, и направился к главной лестнице, которая вела к выходу. И вот тут-то в фойе появилась женщина в красном со своими неизменными спутниками. Мужчины следовали за ней, сбившись в кучку, будто стыдились помятых и изодранных костюмов. А женщина в красном двигалась мне навстречу, гордо смотря вперед. Проходя мимо, я видел, как она раз-другой провела языком по губам. Медленно, словно облизываясь, провела языком по губам, которые улыбались.

АКСОЛОТЛЬ



было время, когда я много думал об аксолотлях. Я ходил в аквариум Ботанического сада и часами не спускал с них глаз, наблюдая за их неподвижностью, за их едва заметными движениями. Теперь я сам аксолотль.

Случай привел меня к ним одним весенним утром, когда Париж распускал свой павлиний хвост после медлительной зимы. Я проехал по бульвару Пор-Рояль, миновал бульвары Сен-Марсель и Л'Опиталь, увидел зелень среди серых массивов и подумал о львах. Мне нравились львы и пантеры, но никогда до тех пор я не входил в сырое и темное помещение аквариума. Я оставил велосипед у ограды и пошел посмотреть на тюльпаны. Львы были уродливы и печальны, а моя пантера спала. Я решил зайти в аквариум, мельком глянул на обычных рыб и неожиданно натолкнулся на аксолотлей. Я простоял возле них целый час и вышел, уже неспособный думать ни о чем другом.

В библиотеке святой Женеьевы я справился по словарю и узнал, что аксолотли — это снабженные жабрами личинки тигровой амблистомы из рода амблистом. То, что они мексиканцы, я увидел по ним самим, по их маленьким розовым ацтекским физиономиям и по табличке над аквариумом. Я прочел, что в Африке находили экземпляры, способные жить на суше в периоды засухи, и что они продолжают свою жизнь в воде при наступлении периода дождей. Я нашел их испанское название, ахолоте, упоминание о том, что они съедобны и что их жир применялся (по-видимому, сейчас уже не применяется) так же, как рыбий жир.

Мне не хотелось изучать специальные труды, но на следующий день я вернулся в Ботанический сад. Я стал ходить туда каждое утро, иногда утром и вечером. Сторож

в аквариуме недоуменно улыбался, надрывая мой билет. Я опирался о железный поручень, огораживающий стеклянные стенки, и принимался смотреть на них. В этом нет ничего странного, ибо с первого же момента я понял, что мы связаны, что нечто бесконечно далекое и забытое продолжает все же соединять нас. Мне достаточно было в то первое утро просто остановиться перед стеклом, за которым в воде бежала вверх струйка пузырьков. Аксолотли сгрудились на мерзком и тесном (только я знаю, насколько он тесен и мерзок) полу аквариума, усыпанном ослизлыми камнями. Их было девять экземпляров, и почти все, уткнувшись носом в стекло, глядели на посетителей своими золотыми глазами. Я стоял смущенный, почти пристыженный; казалось чем-то непристойным торчать перед этими молчаливыми и неподвижными фигурами, сбившимися на дне аквариума. Мысленно выделив одного, находившегося справа и немного в стороне от остальных, я внимательно изучал его. Я увидел розоватое и словно прозрачное тельце (при этом мне пришли на память китайские статуэтки из молочного стекла), похожее на маленькую пятнадцатисантиметровую ящерицу, с удивительно хрупким рыбьим хвостом, самой чувствительной частью нашего тела. Вдоль хребта у него шел прозрачный плавник, сливавшийся с хвостом, но особенно меня поразили лапки, изящные и нежные, которые заканчивались крохотными пальцами, миниатюрными человеческими ногтями. И тогда я обнаружил его глаза, его лицо. Лицо без выражения, где выделялись только глаза, два отверстия с булавочную головку, целиком заполненные прозрачным золотом, лишенные всякой жизни, однако смотрящие; мой взгляд, проникая внутрь, словно проходил насквозь через золотистую точку и терялся в прозрачной таинственной глубине. Тончайший черный ореол окружал глаз и вписывал его в розовую плоть, в розовый камень головы, пожалуй, треугольной, но с закругленными неправильными краями, которые придавали ей полное сходство с изъеденной временем статуэткой. Рот находился на самом подбородке треугольного лица, и только в профиль угадывались его значительные размеры; в фас на безжизненном камне едва виднелась тонкая щель. По обе стороны головы, там, где полагалось быть ушам, у него росли три красные веточки, точно кораллы — растительный придаток, по-видимому, жабры. И это было единственно живое в нем: каждые десять — пятнадцать секунд веточки жестко выпрям-

лялись и вновь опадали. Порой одна из лапок чуть шевелилась, я видел, как крохотные пальцы мягко погружались в ил. Мы вообще не любим много двигаться, да и аквариум такой тесный: едва тронешься с места, как наталкиваешься на чей-нибудь хвост или голову; это вызывает педовольство, ссоры, в результате — утомление. Когда мы неподвижны, время идет незаметнее.

Именно это спокойствие заворожило меня, когда я в первый раз наклонился над аквариумом. Мне почудилось, что я смутно постиг его тайное стремление потопить пространство и время в этой безразличной неподвижности. Потом я понял: сокращение жабр, легкие касания тонких лапок о камень, внезапное продвижение (некоторые из них могут плыть, просто волнообразно качнув тело) доказывали, что они способны пробуждаться от мертвого оцепенения, в котором они проводили часы. Их глаза потрясли меня сильнее всего. Рядом с ними, в других аквариумах, прекрасные глаза прочих рыб, так похожие на наши, отливали простой глупостью. Глаза аксолотля говорили мне о присутствии некой иной жизни, иного способа зрения. Прижав лицо к стеклу (иногда сторож обеспокоенно покашливал), я старался получше рассмотреть крохотные золотистые точки, этот вход в бесконечно медленный и далекий мир розовых существ. Бесполезно было постукивать пальцем по стеклу перед их лицами; никогда нельзя было заметить ни малейшей реакции. Золотые глаза продолжали гореть своим нежным и страшным светом, продолжали смотреть на меня из неизмеримой глубины, от которой у меня начинала кружиться голова.

И тем не менее как они были нам близки! Я узнал об этом еще раньше, еще до того, как стал аксолотлем. Я узнал об этом в тот день, когда впервые подошел к ним. Антропоморфические черты обезьян, вопреки распространенному мнению, подчеркивают расстояние, отделяющее их от нас. Полное отсутствие сходства между аксолотлем и человеческим существом подтверждало, что моя догадка верна, что я не основывался на простых аналогиях. Только лапки-ручки... Но у ящерицы тоже такие лапки, а она ничем не похожа на нас. Я думаю, что тут дело в голове аксолотля, треугольной розовой маске с золотыми глазами. Это смотрело и знало. Это взывало. Они не были *животными*.

Тут было легко, почти очевидно обратиться к мифологии. Я стал рассматривать аксолотлей как результат мета-

морфозы, которой не удалось уничтожить таинственное сознание их человеческой сути. Я представлял себе, что это сознательные существа, рабы своего тела, навечно приговоренные к подводной тишине, к размышлениям и отчаянию. Их слепой взгляд, маленький золотой диск, ничего не выражающий и однако пугающе разумный, проникал в мою душу, как призыв: «Спаси нас, спаси нас». Я замечал вдруг, что шепчу слова утешения, стараюсь впустить им ребяческие надежды. Они, не шевелясь, продолжали смотреть на меня; внезапно розовые веточки жабр поднимались. В этот миг меня пронзала смутная боль: быть может, они видели меня, улавливали мое усилие постичь их непостижимые жизни. Они не были человеческими существами, но ни в одном животном я не находил такой глубокой связи с собой. Аксолотли были как будто свидетелями чего-то, а порой грозными судьями. Перед ними я чувствовал себя виноватым, такая жуткая чистота виднелась в этих прозрачных глазах. Они были личинками, но личинка — личина — означает также и маска, а еще — призрак. Какое обличье ожидало своего часа за этими ацтекскими лицами, невыразительными и в то же время неумолимо жестокими?

Я боялся их. Думаю, что, если бы рядом не было других посетителей и сторожа, я не осмелился бы остаться с ними наедине. «Вы прямо пожираете их глазами», — смеясь говорил мне сторож, наверное считавший меня немного тронутым. Он не понимал, что это они, в своем золотом каннибализме, медленно пожирали меня глазами. Вдали от аквариума я думал только о них, они словно воздействовали на меня на расстоянии. Я стал ходить туда каждый день, а по ночам рисовал себе, как они неподвижно висят в темноте, как неторопливо вытягивают руку и внезапно встречают руку другого. Быть может, их глаза видят и ночью, так что день для них длится бесконечно. Глаза аксолотлей лишены век.

Теперь я знаю, что тут не было ничего странного, что это должно было произойти. Каждое утро, когда я наклонялся над аквариумом, я узнавал их все больше. Они страдали — и каждой клеткой своего тела я ощущал их немое страдание, неподвижную муку в толще воды. Они словно высматривали нечто — давнее утраченное господство, эпоху свободы, когда мир принадлежал аксолотлям. Казалось невероятным, чтобы такое жуткое выражение, побеждавшее вынужденную неподвижность их каменных

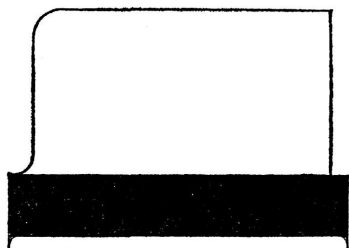
лиц, не означало бы скорбную весть, не служило бы доказательством вечных мучений в этом жидком аду, где они жили. Напрасно я пытался уговорить себя в том, что моя собственная обостренная чувствительность проецирует на аксолотлей отсутствующий у них разум. Они и я знали. Потому не было ничего странного в том, что произошло. Мое лицо прижималось к стеклу аквариума, мои глаза старались проникнуть в секрет этих золотых глаз без радужной оболочки и без зрачков. Я видел очень близко, за стеклом, неподвижное лицо аксолотля. Без перехода, без удивления я увидел за стеклом свое лицо, вместо лица аксолотля увидел за стеклом свое лицо, увидел его вне аквариума, по другую сторону стекла. Потом мое лицо отодвинулось, и я понял.

Только одно было странно: продолжать думать, как раньше, знать. Понять — это означало в первый момент почувствовать ледящий ужас человека, который просыпается и видит, что похоронен заживо. Снаружи мое лицо снова приблизилось к стеклу, я смотрел на свой рот с губами, сжатыми от усилия понять аксолотлей. Я был аксолотлем и теперь мгновенно узнал, что никакое понимание невозможно. Он был вне аквариума, его мысль была мыслью вне аквариума. Зная это, будучи им, я был теперь аксолотлем и находился в своем мире. Ужас пришел, — я понял это сразу же, — оттого что я счел себя пленником в теле аксолотля, переселившимся в него со своей человеческой мыслью, заживо погребенным в аксолотле, осужденным разумно существовать среди неразумных тварей. Но это прошло, когда чья-то лапа коснулась моего лица, когда, чуть отодвинувшись в сторону, я увидел рядом с собой аксолотля, глядящего на меня, и понял, что он тоже знает, знает так же ясно, хоть и не в состоянии выразить это. Или я был тоже и в нем, или все мы думаем, как люди — неспособные к самовыражению, когда все сведено к золотистому сиянию наших глаз, смотрящих на лицо человека, прижатое к стеклу.

Он возвращался много раз, теперь приходит реже. Иногда не показывается по целым неделям. Вчера я видел его, он долго смотрел на меня, потом резко повернулся и ушел. Мне кажется, что он уже не так интересуется нами, что ходит сюда по привычке. И поскольку единственное, что я могу делать — это думать, я много думаю о нем. Мне приходит в голову, что вначале мы еще были соединены, и он чувствовал себя больше чем когда-либо свя-

занным с неотступной тайной. Но мосты между ними разрушены, ибо то, что было его наваждением, стало теперь аксолотлем, чуждым человеческой жизни. Я думаю, что вначале я мог еще в какой-то степени стать им,— ах, только в какой-то степени,— и поддерживать в нем желание узнать нас получше. Теперь я окончательно стал аксолотлем, и если думаю, как человек, то это лишь потому, что все аксолотли в своей личине из розового камня думают, как люди. Мне кажется, что из всего этого мне удалось сообщить ему кое-что в первые дни, когда я еще был им. И в этом окончательном одиночестве,— ибо он уже не вернется,— меня утешает мысль о том, что, может быть, он напишет про нас,— веря, что придумывает, напишет рассказ про аксолотлей.

НОЧЬЮ НА СПИНЕ, ЛИЦОМ КВЕРХУ



И наступало время, когда выходили они выслеживать врагов; это называлось у них священной войной.

ойдя до середины гостиничного холла, он подумал, что, должно быть, уже поздно, торопливо вышел на улицу и вывел мотоцикл из укромного уголка, куда портье из соседнего дома позволил его поставить. Часы на ювелирном магазине на углу показывали без десяти девять; времени, чтобы добраться до места, у него было с избытком. Солнце просачивалось между высокими зданиями городского центра, и он — ведь, думая, он не называл себя по имени — оседлал машину, предвкушая прогулку. Мотоцикл под ним взревел, и края брюк вздулись от свежего ветра.

Проехав по Центральной улице, он миновал здания министерств (розовое и белое) и несколько магазинов со сверкающими витринами. Теперь начиналась самая приятная часть пути, настоящая аллея: длинная улица, обсаженная деревьями, движения почти никакого, просторные виллы по обеим сторонам в окружении садов, подступавших к самым тротуарам и едва отделенных от них низкими изгородями. Он ехал, как и полагалось, по правой стороне, но, возможно, был слегка рассеян и позволил себе залюбоваться сверканием, легким трепетом занимающегося дня. Вероятно, невольная расслабленность помешала ему избежать катастрофы. Он увидел, как на углу остановилась женщина и вдруг кинулась ему наперерез, несмотря на красный свет, но было уже поздно что-либо предпринять. Он нажал ручной тормоз, стал тормозить ногой, вывернул налево; и вслед за тем услышал крик женщины, почувствовал удар и тут же лишился зрения. Будто внезапно уснул.

Очнулся он сразу. Четверо или пятеро молодых мужчин вытаскивали его из-под мотоцикла. На губах был соленый вкус крови, ныло колено; когда его подняли, он

закричал — не мог вынести давящей тяжести в правой руке. До него донеслись голоса — шутки, слова ободрения, — но голоса эти словно не имели ничего общего со склонившимися над ним лицами. Его обрадовало лишь замечание, что, заворачивая за угол, он держался правой стороны. Стараясь подавить приступ тошноты, которая подкатила к горлу, он спросил о женщине. По дороге к ближайшей аптеке, куда его понесли в той же позе, в какой подняли — на спине, лицом кверху, он узнал, что виновница катастрофы отделалась царапинами на ногах. «Вы ее только слегка задели, но от удара машина опрокинулась...» Споры очевидцев, описание подробностей, тихо, тихо, разверните в дверях, вот так, хорошо, и кто-то в халате дает ему питье, от которого он чувствует себя бодрее в полутьме маленькой аптеки.

Полицейская скорая помощь прибыла через пять минут, и его переложили на матерчатые носилки, где можно было устроиться поудобнее. Четко и ясно, однако сознавая, что находится в состоянии сильного шока, он назвал сопровождававшему его полицейскому свой адрес. Рука почти не болела; из рассеченной брови сочилась и растекалась по всему лицу кровь. Раз или два он слизнул ее с губ. Он чувствовал себя сносно, что ж — несчастный случай, не повезло; неделя-другая в постели — и все. Полицейский сказал, что мотоцикл, кажется, не слишком пострадал. «Еще бы, — заметил он, — я его прикрыл собою...» Оба засмеялись, полицейский протянул ему руку на прощание, когда они прибыли в больницу, и пожелал ему удачи. Тошнота понемногу возвращалась; когда его на каталке везли в корпус в глубь двора мимо деревьев с птицами на ветвях, он закрыл глаза, и ему захотелось уснуть или получить наркоз. Но его долго продержали в какой-то комнате, где пахло больницей, — заполняли карточки, сняли одежду и надели жесткое сероватое белье. С рукой обращались бережно, и ему не было больно. Сестры все время шутили, и, если бы не спазмы в желудке, он чувствовал бы себя очень хорошо, был бы почти доволен.

Его отвезли в рентгеновский кабинет, минут через двадцать, словно черную плиту, положили на грудь еще мокрую пленку и перевезли в операционную. К каталке подошел высокий сухощавый человек, весь в белом, и принялся разглядывать снимок. Женские руки поправили ему голову, он почувствовал, что его перекадывают на другую каталку. Снова подошел человек в белом — улыбаясь

и держа в руке что-то блестящее. Он похлопал его по щеке и сделал знак кому-то позади себя.

Это был странный сон, весь наполненный запахами, а ему никогда не снились запахи. Сначала пахло болотом, так как слева от дороги сразу начиналась трящина, топь, из которой никому не удавалось выбраться. Но запах болота исчез, и вместо него потянуло чем-то густым и темным, как ночь, в которую он уходил от преследования ацтеков. И все было так просто, понятно, он должен был бежать от ацтеков, которые вышли на охоту,— то была охота на человека, и укрыться, спастись он мог только в дебрях первобытного леса, если не потеряет узкую тропу, известную только им, мотекам.

Более всего его донимал запах, словно в абсолютном приятии сна что-то еще восставало против того непривычного, что до сих пор не участвовало в игре. «Пахнет войной»,— подумал он, инстинктивно хватаясь за каменный кинжал, засунутый за тканый шерстяной пояс. Внезапный звук заставил его пригнуться и дрожь замереть на месте. В самом этом страхе не было ничего удивительного, сны его всегда были наполнены страхом. Он затаился, укрытый ветвистыми кустами и беззвездной ночью. Вдалеке, может, на противоположном берегу большого озера, горели, должно быть, огни бивака, красноватым светом светилось в той стороне небо. Звук не повторился. Наверное, хрустнула сломанная ветка. Или животное бежало, как и он, от запаха войны. Он медленно выпрямился, оглядываясь по сторонам. Ничего не было слышно, но ни страх, ни тот запах— приторное благовоние священной войны— не оставляли его. Нужно было двигаться дальше, добраться до самого сердца сельвы в обход трясины. Наугад, то и дело приседая, чтобы нащупать утоптанную землю тропы, он сделал несколько шагов. Ему хотелось броситься бегом, но рядом дышала трящина. На тропе впотьмах он пытался определить направление. И вдруг почувствовал, как на него нахлынули волны запаха, которого он боялся больше всего, и в отчаянии прыгнул вперед.

— Упадете с койки,— сказал сосед по палате.— Не скидывайтесь так, приятель.

Он открыл глаза— день кончался, и солнце стояло низко, едва заглядывая в окна большой палаты. Пытаясь улыбнуться соседу, он почти физически стряхнул с себя последние видения сна. Рука, скованная гипсом, была под-

вешена в воздухе с помощью разных грузов и блоков. Он ощутил жажду, словно пробежал не один километр, но ему не хотели давать много воды, разрешили только смочить губы и сделать один глоток. Жар понемногу охватывал его, и он мог бы уснуть снова, но смаковал удовольствия бодрствовать, ворочать глазами, прислушиваться к разговору соседей, иногда отвечать на вопросы. Он увидел, как к его койке подвезли белую тележку, светловолосая сестра протерла ему спиртом бедро и ввела толстую иглу, соединенную трубкой с сосудом, наполненным желтоватой жидкостью. Пришел молоденький врач, принес аппарат из кожи и металла, приладил его к здоровой руке и стал что-то измерять. Надвигалась ночь, и жар постепенно, исподволь приводил его в то состояние, в котором все вещи видятся, словно в театральные бинокль, они подлинны и приятны и в то же время слегка внушают отвращение; так бывает, когда смотришь скучный фильм: подумаешь, что на улице еще хуже, и останешься.

Принесли чашку чудесного золотистого бульона, пахнущего луком, чесноком, петрушкой. Кусочек хлеба, более желанный, чем целый праздничный стол, понемножку растаял. Рука не болела совсем, и только из зашитой брови иногда вытекала горячая и быстрая струйка. Когда окна напротив его койки засветились глубокой синевой, он подумал, что заснуть будет нетрудно. Несколько неловко, на спине, но проведя языком по пересохшим горячим губам, он ощутил вкус бульона и, забываясь, вздохнул счастливо.

Вначале был хаос, в котором все ощущения, на миг притупившиеся или спутанные, вновь вернулись к нему. Он понимал, что бежит в кромешной тьме, хотя небо наверху, исчерченное ветвями деревьев, было чуть светлее общей черноты. «Тропа,— подумал он,— я сбился с тропы». Ноги его погружались в толстый ковер листьев и грязи, теперь он не мог и шагу ступить, чтобы ветви не секли его по ногам и по телу. Тяжело дыша, чувствуя, что загнан, хотя кругом было темно и тихо, он присел и прислушался. Может быть, тропа проходит совсем рядом, и на заре он ее снова увидит. Сейчас же ее не отыскать. Рука, бессознательно сжимавшая рукоятку ножа, как болотный скорпион прокралась к шее, где висел спасительный амулет. Еле шевеля губами, он пробормотал молитву о маисе, которая приносит счастливые луны, и мольбу верховной богине, ведающей у мотеков добром

и злом. Но вместе с тем он чувствовал, что ноги уже по щиколотку погрузились в грязь и погружаются все глубже, и это выжидание во тьме незнакомого леса делалось невыносимым. Священная война началась в поволуние и длилась уже три ночи и три дня. Если бы ему удалось укрыться в чаще, взяв в сторону от дороги и миновав трясину, может быть, войны и не напали бы на его след. Он подумал, как много, наверное, у них уже пленных. Однако не в числе суть, важно уложиться в священные сроки, назначенные богами для войны. Преследование будет продолжаться, пока жрецы не подадут знак к возвращению. Все имеет свой порядок и свой конец, а его священное время войны застигло на вражеской стороне.

Он услышал крики и разом вскочил, сжав в руке кинжал. Словно зарево пожара на горизонте, увидел он совсем поблизости пламя факелов, трепетавшее между ветвей. Потянуло войной, вынести этот запах было невозможно, и когда первый враг прыгнул ему на плечи, он почти с восторгом всадил ему каменное лезвие в самую середину груди. Со всех сторон теперь его окружали огни, звучали торжествующие голоса. Ему удалось два или три раза пронзительно крикнуть, и тут же веревка отдернула его назад.

— Это все жар,— произнес мужчина на соседней койке.— Со мной было точь-в-точь так же, когда мне двенадцатиперстную кишку резали. Выпейте водички, авось уснете получше.

По сравнению с ночью, из которой он возвращался, теплый полумрак палаты показался ему необыкновенно приятным. Фиолетовый огонек лампы горел высоко у задней стены как недреманное око. С разных сторон доносилось шумное дыхание, иногда тихий, приглушенный разговор. Все было исполнено доброты, благожелательности, спокойной уверенности,— без этого отчаянного бега, без... Нет, нет, он не хотел углубляться в мысли о кошмаре. Можно было думать о стольких вещах. Он принялся разглядывать гипс, блоки, при помощи которых рука была так удобно подвешена в воздухе. На ночной столик ему поставили бутылку минеральной воды. Он с наслаждением отпил прямо из горлышка. Теперь он различал очертания палаты, тридцать коек, застекленные шкафы. Должно быть, жар несколько спал, лицо уже не пылало. Бровь болела слабо, это была даже не боль, а воспоминание о боли. Он вновь представил себе, как выходит из гостини-

цы, выводит мотоцикл. Кто бы мог подумать, что все так кончится? Он пытался вспомнить самый момент катастрофы и с бессильной яростью установил, что на этом месте была будто пропасть, пустота, которую ему не удавалось заполнить. Между ударом и тем моментом, когда его подняли с земли, беспмятство или то, что это было, застигло его глаза. И в то же время им владело такое чувство, точно эта пропасть, это ничто длилось целую вечность. Нет, даже не длилось, а будто в этой пропасти он прошел через что-то или преодолел необъятное пространство. Столкновение, сильный удар о мостовую. Так или иначе, вынырнув из черного колодца, он ощутил даже какую-то радость, пока мужчины подымали его с земли. Несмотря на боль в сломанной руке, на кровь, сочившуюся из рассеченной брови, на ушибленную коленку; несмотря на все это — радость возвращения к дневному свету, радость сознания, что тебя поддерживают, тебе помогают. Просто невероятно. Он как-нибудь спросит об этом у врача в лаборатории. Теперь сон вновь одолевал его, вновь тянул назад. Подушка была такая мягкая, а разгоряченное горло остужала свежесть минеральной воды. Может быть, ему удастся отдохнуть по-настоящему, без этих ужасных кошмаров. Фиолетовый свет под потолком медленно тускнел.

Поскольку он спал на спине, лицом вверх, он не удивился, когда, придя в себя, обнаружил, что лежит навзничь; напротив, запах сырости, камня, влажного от испарений, заполнил ему горло и прояснил сознание. Бесполезно открывать глаза и смотреть по сторонам: его окутывает непроницаемая тьма. Он хотел подняться, но веревки врезались в запястья и щиколотки. Он был привязан к земле, к ледяным, влажным каменным плитам. Холод пронизывал его обнаженную спину, ноги. Подбородком он попытался неловко нащупать на груди амулет и понял, что его сорвали. Теперь он пропал, никакие молитвы уже не могли его спасти от конца. Издалека, словно просочившись сквозь стены темницы, до него донесся гул праздничных барабанов. Его притащили в святилище, в каземате храма он дожидался своего часа.

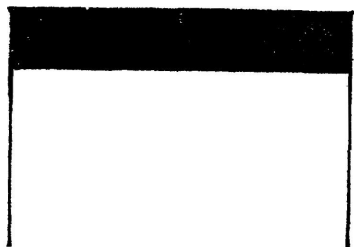
Ушей его достиг крик, хриплый крик, отдававшийся в стенах. И снова крик, перешедший в стон. Это он сам кричал в темноте, кричал потому, что был жив, все его тело криком защищалось от того, что должно было произойти, от неизбежного конца. Он подумал о своих сопле-

менниках, сидящих в соседних темницах, и о тех, кто всходит уже по ступеням жертвенных алтарей. Он снова закричал, глухо, с невероятным трудом, ему почти не удалось раскрыть рта, челюсти свело, и в то же время они были словно резиновые и открывались медленно, бесконечно медленно. Судорожно извиваясь, он невероятным усилием попытался освободиться от врезавшихся в тело веревок. Правая, более сильная, рука так напряглась, что боль сделалась невыносимой, и он вынужден был оставить свои попытки. На его глазах открылась двойная дверь, и запах гари от зажженных факелов дошел до него раньше, чем свет. Не спуская со своей жертвы презирающих глаз, подошли прислужники храма в одних только набедренных повязках. Блики пламени играли на их лоснящихся от пота телах, на смоляных волосах, богато украшенных перьями. Веревки ослабли, но вместо них его стиснули твердые, точно бронза, руки; он почувствовал, как его поднимают, по-прежнему лежащего навзничь, и четверо прислужников несут его по каменному коридору. Факельщики шли впереди, слабо освещая проход между сырыми стенами и потолок, такой низкий, что прислужникам приходилось наклонять голову. Теперь его несли, и это был конец. На спине, лицом кверху, в каком-нибудь метре от потолка из неотесанных каменных глыб, по временам озаряемых пламенем факелов. Когда вместо потолка над головой покажутся звезды и перед ним в шуме криков и танцев возникнет ступенчатая пирамида, это будет конец. Коридор все никак не кончался, но скоро он окончится, и тогда вдруг пахнёт свежим ветром, полным звезд, но пока этого все еще не было, они все несли и несли его в багровом сумраке, грубо толкая и дергая, а он извивался, но что он мог поделать, если они сорвали с него амулет — его настоящее сердце, средоточие жизни.

Внезапный рывок вернул его в больничную ночь под уютный потолок, в уютно обволакивающие сумерки. Он подумал, что, должно быть, кричал, но его соседи мирно спали. Бутылка с водой на ночном столике напоминала каплю, нечто светящееся и прозрачное на синеватом фоне темных окон. Он тяжело задышал, стараясь набрать в легкие побольше воздуха, забыть видения и образы, еще не слетевшие с его век. Стоило ему закрыть глаза, они тут же оживали вновь, и он вскидывался, охваченный ужасом, но иногда при этом наслаждаясь сознанием, что проснулся и бодрствует, что его охраняет сиделка, что

скоро рассвет и он уснет глубоким, крепким сном, каким спят под утро, без видений, без ничего... Ему нелегко было не закрывать глаз, сон оказался сильнее его. Он сделал последнее усилие, протянул здоровую руку к бутылке с водой; взять ее ему не удалось, пальцы сомкнулись в пустоте, снова беспросветно черной, и коридор был все так же бесконечен, каменные глыбы сменяли одна другую, багровые вспышки внезапно освещали проход, а он, лежа на плечах носильщиков лицом кверху, глухо простонал, потому что потолок вот-вот должен был кончиться, он стал выше, разверзлась зияющая мраком пасть, носильщики выпрямились, и с высоты ущербная луна упала ему на лицо, но глаза его не хотели ее видеть, они в отчаянии закрывались и открывались снова, стараясь посмотреть в другую сторону, увидеть спасительный потолок палаты. И каждый раз, когда они открывались, стояла ночь и светила луна, а его несли по лестнице, только голова его теперь свешивалась вниз, и наверху горели костры, поднимались к небу багровые столбы ароматного дыма, и внезапно он увидел камень, сверкающий от струившейся по нему крови, и болтающиеся ноги жертвы, которую тащили наверх, чтобы сбросить со ступеней северной лестницы. В последней надежде он стиснул веки, пытаясь со стоном пробудиться. Секунду ему казалось, что он вот-вот проснется, потому что он снова неподвижно лежал в постели, хотя и чувствовал, как болтается все его тело и свесившаяся вниз голова. Но пахло смертью, и, открыв глаза, он увидел окровавленную фигуру жреца, готового приступить к жертвоприношению: жрец двигался к нему с каменным ножом в руке. Ему вновь удалось закрыть глаза, но теперь он уже знал, что не проснется, что он уже не спит и что чудесный сон был тот, другой, нелепый, как все сны; сон, в котором он мчался по диковинным дорогам удивительного города, навстречу ему попадались зеленые и красные огни, не дававшие ни пламени, ни дыма, и огромное металлическое насекомое жужжало под ним. В бесконечной лжи того сна его тоже подняли с земли, и кто-то с ножом в руке приблизился к нему, лежавшему с закрытыми глазами навзничь, лицом кверху, среди костров.

КОНЕЦ ИГРЫ



осле обеда в самую жару Летисия, Оланда и я убегали к железной дороге. Мы выскальзывали из дома через белую дверь, едва только мама и тетя Руфь уходили к себе отдыхать. Маму и тетю Руфь всегда утомляло мытье посуды, особенно если мы с Оландой помогали им вытереть тарелки. Бесконечные споры, наше шушуканье и эти ложечки на полу делали невыносимой полутемную кухню, где застоялся запах сала и утробно мяукал Хосе, и все, как правило, заканчивалось бурной ссорой и общим разладом.

Оланда, вот кто умел затевать скандалы! Она могла нарочно уронить чистый стакан в миску с жирной водой или вдруг, как бы невзначай, заметить, что у наших соседей — целых две служанки. Я действовала по-другому. Мне, к примеру, доставляло особое удовольствие сказать тете Руфи, что ей бы лучше полоскать стаканы и тарелки, а не портить руки чистой кастрюль. Мама, разумеется, не прикасалась к кастрюлям, и я, стало быть, откровенно настраивала их друг против друга — вот, мол, сами разбирайтесь, кому из вас делать работу полегче. Когда же нам становилось совсем неважно от попреков и надоевших семейных историй, мы решались на очень смелый, даже героический шаг — шпарили кипятком старого Хосе. Говорят, ошпаренный кот и от холодной воды шарахается, а наш — так наоборот — всегда как нарочно вертелся возле плиты, вроде бы просил: ну плесните на меня водичкой градусов в сто, то есть не в сто, а поменьше, гораздо меньше. Словом, коту от этого никакого вреда, он жив и здоров, а уж в доме, как говорится, дым столбом, и несусветную суматоху обычно венчал знаменитый си-бемоль тети Руфи. Пока мама разыскивала знакомую нам палку, мы с Оландой исчезали в крытой галерее и прятались в одной из дальних комнат, где нас поджидала Летисия,

которая, к нашему великому удивлению, зачитывалась в ту пору Попсоном дю Террайлем¹. Мама преследовала нас до самой двери, но по дороге она расставалась с желанием пересчитать наши кости. Ей довольно быстро надоедало слушать, как мы, запершись изнутри, с театральным надрывом вымаливали прощение, и она уходила, повторяя одно и то же:

— Ну, мерзкие девчонки, вы кончите улицей!

Но все наши невзгоды кончались там, у железной дороги, куда мы убегали, как только в доме водворялась тишина и даже Хосе, растянувшись в тени душистого лимона, засыпал под жужжание пчел. Мы тихонько отворяли белую калитку, и едва она закрывалась за нами, сам ветер, вернее, сама свобода легко подхватывала нас и, будто невесомых, бросала вперед. Мы с разгона взлетали на железнодорожную насыпь и оттуда, сверху, молча осматривали наше королевство.

У нас и правда было свое королевство. Оно было там, где железная дорога выгибалась крутой дугой и чуть ли не вплотную подходила к задам нашего дома. И в этом королевстве — щебень, две колеи, жалкая нелепая травка среди битого камня, да еще мелкие осколки гранита, в которых настоящими бриллиантами сверкали кварц, полевой шпат и слюда. С опаской, наспех (не из-за поезда, а из-за домашних: они могли нас увидеть в любую минуту) мы прикасались к рельсам, и прямо в лицо ударяло жаром раскаленных камней. Потом, выпрямившись во весь рост, мы поворачивались в сторону реки, и нас обдавало влажным и горячим ветром, от которого мокрыми делались щеки и даже уши. Мы сбегали вниз и снова карабкались наверх по насыпи, и так по многу раз — из сухого зноя в цекло, пропитанное влагой. Нам нравилось прикладывать ладони к разгоряченному лицу и чувствовать, как по телу ручейками стекает пот. А перед глазами — то железнодорожные шпалы, то река, лучше сказать, кусочек реки цвета кофе с молоком.

Потом, спустившись с насыпи, мы усаживались в жидкой тени ив, притулившихся к каменному забору нашего сада, куда выходила калитка. Тут под ивами была сто-

¹ Понсон дю Террайль Пьер Алексис (1829—1871) — французский писатель. Автор многочисленных романов о Рокамболе.

лица королевства, сказочный город, святая святых наших игр. Все игры придумывала Летисия, самая счастливая из нас. Самая счастливая, потому что ей жилось великолепно, много лучше, чем нам. Она не вытирала посуды, не стелила постели, ей разрешали целый день напролет клеить фигурки или читать и даже сидеть со взрослыми допоздна, если пожелает. Да разве только это? А отдельная комната? А сладости? Да сколько еще всяких благ и преимуществ! Летисия, конечно, научилась извлекать пользу из своего положения. Она стала главной не только в наших играх, но и вообще в нашем королевстве. Мы подчинялись ей беспрекословно, даже с удовольствием. Может, все дело в маминих наставлениях: она с утра до вечера говорила о том, как надо обращаться с Летисией. А может, мы просто любили свою сестренку и не видели ничего дурного в том, что она везде и всюду командует нами. Жаль только, что по своему виду Летисия никак не годилась в командиры. Она была меньше всех ростом и страшно худая. Оланда тоже была худая, да и я никогда не весила больше пятидесяти килограммов. Но Летисия была по-особому, на редкость худая — кожа да кости, даже шея, даже уши и те какие-то безжизненные, худые. Наверно, Летисия казалась такой из-за болезни, из-за большого позвоночника. Она ведь совсем не могла поворачивать голову и очень напоминала гладильную доску, вроде той, обтянутой белым полотном, что стояла на кухне у наших соседей. Ну самая настоящая гладильная доска! А вот вертела нами, как ей вздумается.

Я с огромным удовольствием представляла себе, что произойдет в нашем доме в тот день, когда мама и тетя Руфь узнают наконец о нашей игре. Обмороки и знаменитый си-бемоль тети Руфи — это уж непременно. Потом пойдут стенания о загубленной жизни и напрасных жертвах, попреки в неблагодарности и предлинный список наказаний, которые мы, разумеется, давно заслужили. И, конечно, мы услышим знакомую нам угрозу: «Мерзавки, вы кончите улицей!» А чем так плоха улица, что в ней страшного, — мы не понимали.

Перед началом игры Летисия заставляла нас тянуть жребий. То нужно было угадывать, в какой руке камешек, то считать до двадцати одного, то еще что-нибудь... Когда считали до двадцати одного, для удобства делали так, будто нас не трое, а пять или шесть. Если выходила какая-нибудь из воображаемых девочек, мы начинали все сначала.

ла, пока двадцать первым не становился кто-либо из нас. Тогда мы с Оландой отодвигали тяжелый камень, под которым в яме стояла коробка с украшениями. Выиграет, допустим, Оланда, и мы с Летисией подбираем ей украшения на наш вкус. У нас было две игры — одна называлась «Статуи», другая — «Картины». Для второй игры главное не наряд, не украшения, а выражение лица, верный жест. Вот Зависть, к примеру, — это оскаленные зубы и стиснутые руки, да так, чтобы пальцы пожелтели от напряжения. Милосердие? Пожалуйста, — ангельское личико с возведенными к небу глазами, а в протянутых руках что угодно: лоскуток, веточка ивы, мяч, словом, дар воображаемому сиротке. Проще простого было изобразить Стыд или Страх. Зато вот Злость или, скажем, Ревность давались нам с трудом. Украшения шли в ход, когда играли в статуи, где было больше простора для творческой фантазии. Мы подолгу обдумывали каждую мелочь, чтоб получилось что-нибудь интересное. По нашим правилам, сама статуя не могла выбрать для себя даже ленточки. Только двое обсуждали, что нацепить на нее, и уж в зависимости от наряда она решала, что ей изображать. В этой игре были свои сложности, ведь случалось, что мы нарочно, назло обряжали свою жертву так, чтоб у нее ничего не вышло. В таких случаях статую спасало чутье и особая находчивость, чаще дело кончалось полным провалом. Когда мы играли в картины, все шло гладко, и главное — без ссор и обиды.

То, о чем я рассказываю, началось бог весть как давно, но все сразу изменилось в тот день, когда из окна вагона упала первая записочка. Разумеется, не будь у нас зрителей, нам бы скоро наскучили наши статуи и картины. Вся суть этих игр заключалась в том, что выигравшей полагалось красоваться у самой железнодорожной насыпи и ждать поезда из Тигре, который ровно в два часа восемь минут проходил мимо нашего дома. Обычно поезда шли здесь на большой скорости, и мы ничуть не стеснялись показывать наше искусство пассажирам, которых едва различали в мелькавших окошках. Правда, со временем наши глаза привыкли к мельканию, и мы даже знали, что некоторые пассажиры ждут с нами встречи. Один седовласый сеньор в роговых очках каждый раз высовывался из окна и, размахивая платком, приветствовал очередную статую. Мальчишки, что возвращались из школы на подножках поезда, вели себя по-разному: одни что-то крича-

ли, другие смотрели в нашу сторону молчаливые и серьезные. В сущности, та, кому доставалась роль статуи или картины, не могла этого видеть: ведь все ее усилия уходило на то, чтобы стоять не шелохнувшись, пока проходил поезд. Зато мы под тенью ивы следили за пассажирами, стараясь понять, какое впечатление произвела главная участница игры. Как раз во вторник из второго вагона упала эта роковая записочка. Она упала возле Оланды, изображавшей Злословие, и отлетела прямо к моим ногам. К записочке, сложенной в несколько раз, была привязана гайка. Довольно небрежным мужским почерком кто-то писал: «Очень красивые статуи. Я сижу у третьего окна во втором вагоне. *Ариэль Б.*». Странно, что записочка с этой гайкой — значит, автор хотел, чтоб мы ее обязательно получили, — была такой сдержанной, даже сухой. Но так или иначе, мы пришли в полный восторг и сразу бросили жребий, кому она достанется. Выиграла я. На следующий день никому из нас не хотелось стоять у насыпи: каждая желала получше разглядеть Ариэля Б. Потом, поразмыслив, мы решили, что нельзя прерывать нашу игру, — Ариэль поймет это превратно, — и камешек вытащила Летисия. Мы страшно обрадовались, потому что Летисии, бедняжке, лучше всех удавались статуи. Когда Летисия застывала в неподвижной позе, никто не мог заметить, что она калекка, но самое главное — во всей ее позе, в каждом повороте были особое благородство и красота. Если мы играли в картины, она, как правило, изображала Великодушные, Милосердие, Смирение, Самопожертвование... Если ей случалось быть статуей, то она хоть в чем-то стремилась походить на ту самую Венеру, которая украшала нашу гостиную и которую тетя Руфь упорно звала Венерой Силосской. Да... в тот день мы долго обсуждали наряд Летисии — ведь нужно было поразить воображение Ариэля. Летисия была в коротком платье без рукавов, и когда мы смастерили из куска зеленого бархата что-то вроде туники, а на ее волосы надели красивый венок из ивовых веток, она до удивления стала похожа на древнегреческую богиню. Летисия показала нам, какую позу она придумала, и мы решили, что разумнее всего выйти к поезду всем троим, чтобы достойно и, конечно, любезно поздороваться с Ариэлем.

Летисия была необыкновенно хороша, она не шелохнулась, пока проходил длинный поезд. Голова ее была откинута назад, а руки слились с телом; не будь туники, да

еще зеленой, — настоящая Венера Милосская. Мы сразу увидели в третьем окне светловолосого юношу — его лицо расплылось в улыбке, когда мы ему помахали. Поезд унес этого юношу в одно мгновение, но в половине пятого у нас все еще шел спор о том, какого цвета его темный пиджак и какого оттенка красный галстук и вообще, симпатичный он или противный. В четверг, когда я изображала Уныние, мы получили новую записочку: «Мне очень нравится вся троица. *Ариэль Б.*». После этой записочки он каждый раз высовывался из окна и, весело улыбаясь, махал нам рукой. Мы сошлись на том, что ему уже больше восемнадцати (хотя были уверены, что ему нет и шестнадцати) и что он ежедневно возвращается домой из английского колледжа. Насчет колледжа никто не сомневался — разве можно, чтоб наш Ариэль учился в обыкновенной школе. По всему видно, что это за человек!

Три дня подряд — бывает же такое везенье! — выигрывала Оланда. У нее великолепно получилось Разочарованье, еще лучше Корысть и уж совсем бесподобно — статуя балерины. А ведь попробуй постой на мысочке, пока весь поезд пройдет мимо нашего королевства. Наконец снова настала моя очередь, и вот, когда я изображала Ужас, из окна полетела записочка, смысл которой мы поняли не сразу: «Симпатичнее всех самая безучастная». Летисия позже нас догадалась, о ком речь, и когда догадалась, — покраснела и отошла в сторонку. Признаться, мы с Оландой страшно обозлились. Какой, однако, дурак, этот Ариэль! Но разве такое скажешь до болезненности чуткой Летисии? Она, ангел, и без того несла тяжкий крест! А все-таки записочку взяла себе — значит, поняла, что это о ней. По дороге домой мы почти не разговаривали, а вечером разбрелись кто куда. За ужином Летисия была очень оживленной, глаза ее искрились, и мама раза два торжествующе взглянула на тетю Руфь — вот, мол, погляди, какие прекрасные результаты, не узнать девочку! Дело в том, что в те дни Летисии начали давать новое лекарство.

Перед сном мы с Оландой обсудили, как быть дальше. В конце концов, нас не так уж сильно задела записочка Ариэля. Что ж, из окна вагона он видел то, что видел. Но вот Летисия, она, конечно, злоупотребляла своим положением, потому что знала, что мы ей ничего не скажем, знала, что в любой семье, где есть человек с физическими недостатками, и притом человек гордый, — все, начиная с

него самого, притворяются, будто не видят этих недостатков. Или делают вид, что совсем не знают о том, что он-то сам давным-давно все знает. Вот почему она и присвоила себе записочку и так откровенно веселилась за столом. А это уже слишком! В ту ночь меня снова преследовали кошмары с поездами. На рассвете — так мне снилось — я бродила по пересекающимся путям огромного железнодорожного узла, навстречу мне летели красные огни паровозов, и я в ужасе гадала — слева или справа пройдет состав, а потом обмирала от страха, потому что за спиной неся скорый, но больше всего я боялась, что вовремя не переведут стрелку и один из поездов меня раздавит... Проснувшись, я напрочь забыла обо всем, потому что Летисии было так плохо, что она даже одеться не смогла без нашей помощи. Похоже, что в глубине души Летисия корила себя за вчерашнее, и мы были само участие, само внимание: тебе, мол, надо отдохнуть, посидеть дома, почитать... Она не возражала, но завтракать пришла вместе с нами и даже сказала взрослым, что чувствует себя хорошо и что спина почти не болит. При этом она в упор смотрела то на меня, то на Оланду.

В тот день выиграла я, но почему-то — не знаю, как уж это вышло, — уступила свое место Летисии. Уступила — и все, без всяких объяснений: чего уж тут, раз он отдает ей предпочтение, пусть любит, пока не надоест. Летисия играла только в статуи, и мы выбрали для нее что-нибудь попроще — зачем усложнять жизнь бедняжке! Летисия решила, что она будет китайской принцессой. Это совсем просто: надо сложить руки у груди, стыдливо опустить глаза, как положено всем китайским принцессам, вот и все. Как только показался наш поезд, Оланда нарочно повернулась к нему спиной, а я, я видела все, я видела, что Ариэль смотрел только на Летисию, он не отрывал от нее взора, пока поезд не скрылся за поворотом. Летисия, застывшая в позе китайской принцессы, не могла знать, как он смотрел на нее. Но когда она вернулась к нам под нашу иву, мы поняли, что она все знает и что ей бы хотелось остаться в наряде китайской принцессы весь вечер, всю ночь.

В среду жребий тянули лишь мы с Оландой — так решила Летисия и с ее стороны это было справедливо. Оланда — вот везучая! — снова выиграла, но письмо Ариэля упало прямо к моим ногам. В первую минуту я хотела отдать это письмо Летисии, но потом передумала. С какой

стать мы должны рассыпаться перед ней? С какой стати? Ариэль сообщал в своем послании, что хочет поговорить с нами и что на следующий день придет к нам по шпалам с соседней станции. Почерк — мало сказать отвратительный, но зато в конце такие милые слова: «Всем трем статуям сердечный привет. *Ариэль Б.*». Вместо подписи — сплошные каракули, но в них было что-то свое, необычное.

Я прочла это послание вслух, а мои сестры — прямо удивительно! — словно онемели. У нас такое событие, а они молчат, будто не понимают, что все надо обсудить заранее, потому что, если о приходе Ариэля узнают дома или, на беду, нас выследят эти пигалицы Лоса — нам несдобровать! И так странно, что мы все делали молча: сняли украшения с Летисии, молча сложили их в корзину и молча, почти не глядя друг на друга, дошли до белой калитки.

Тетя Руфь приказала нам с Оландой выкупать Хосе и сразу забрала с собой Летисию, которой пора было принимать лекарство. Оставшись вдвоем, мы наконец смогли выговориться. Какое чудо! К нам придет Ариэль, у нас наконец есть знакомый мальчик, ведь не принимать же всерьез кузена Тито, этого болвана, который до сих пор играет в солдатики и верит в первое причастие! Мы так волновались в предвкушении этой встречи, что Хосе, бедняжке, пришлось совсем плохо. Конечно, не я, а решительная Оланда заговорила первая о Летисии. У меня так просто лопалась голова: с одной стороны, ужасно, если Ариэль узнает правду, а с другой — пусть уж все сразу раскроется, потому что никто не должен губить свою судьбу из-за других людей. Но самое главное — как сделать, чтобы Летисия не переживала? Ведь она и без того несла тяжкий крест, а тут на нее навалилось и новое лекарство, и эта история...

Вечером мама была поражена тому, что мы почти не разговариваем. Вот чудеса, уж не мыши ли нам язык отгрызли? Она взглянула на тетю Руфь, и наверняка обе решили, что мы в чем-то сильно провинились и нас теперь мучает совесть. Летисия, едва прикоснувшись к еде, сказала, что ей нездоровится и что она пойдет к себе и будет читать «Рокамболя». Оланда вызвалась проводить ее, на что та согласилась, но нехотя, а я взялась за вязанье — такое бывает со мной в минуты особого волнения. Раза два я порывалась встать и посмотреть, что делается в комнате у Летисии и почему там застряла

Оланда. Наконец Оланда появилась и с многозначительным видом уселась рядом со мной, явно выжидая, пока мама и тетя Руфь кончат убирать со стола. «Завтра она никуда не пойдет,— сказала Оланда, когда мы остались вдвоем.— Вот это письмо велела отдать ему, если он будет расспрашивать о ней». Для убедительности Оланда оттянула карман блузки и показала мне сиреневый конвертик. Вскоре нас позвали вытирать тарелки, а потом мы легли спать и уснули как убитые — очень устали от всех волнений и еще от Хосе, который не выносит купанья.

На другой день меня послали на рынок, и целое утро я не видела Летисии, которая пряталась в своей комнате. Перед обедом я все же заглянула к ней на минутку: она сидела у окна, обложенная подушками, и рядом — девятый томик «Рокамболя». Она очень плохо выглядела, но встретила меня веселым смехом и рассказала, какой смешной сон ей приснился и как забавно билась о стекло глупая оса. Я пробормотала, что мне обидно идти без нее к нашим ивам, но почему-то эти слова было очень трудно выговорить... «Если хочешь, мы скажем Ариэлю, что ты нездорова?» А она как отрезала: «Нет!» Тогда я стала уговаривать ее, правда, не слишком настойчиво, пойти вместе с нами, а потом осмелела и даже сказала, что ей нечего бояться и что вообще настоящее чувство не знает преград. Я даже вспомнила еще несколько торжественных и красивых фраз, которые мы вычитали в «Сокровищнице младости». Но чем дальше, тем труднее мне было говорить, потому что Летисия уперно молчала, разглядывая что-то в окне, и, казалось, вот-вот заплачет. В конце концов я вдруг спохватилась, что меня, мол, ждет мама, и убежала. Обед тянулся целую вечность, и Оланде досталось от тети Руфи за жирное пятно на скатерти. Не помню, как мы вытирали тарелки и как добрались до белой калитки. Помню, что у заветной ивы мы, переполненные счастьем и без тени ревности друг к другу, обнялись и чуть не заплакали. Оланда тревожилась, сможем ли мы хорошо рассказать о себе, останется ли у Ариэля хорошее впечатление. Ведь мальчики из старших классов презирают девчонок, которые кончили только школу первой ступени и умеют лишь кроить тряпки и сбивать масло. Ровно в два часа восемь минут появился поезд, и Ариэль радостно замахал нам обеими руками, а в ответ вместе с разрисованными платочками взметнулось наше: «Добро пожаловать!» Не прошло и

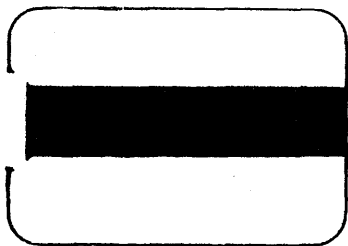
получаса, как мы увидели Ариэля, который спускался к нам с насыпи, — он был в сером и куда выше ростом, чем нам казалось. Я плохо помню, как начался наш разговор. Ариэль с трудом подбирал слова и явно робел — кто бы мог подумать после таких записочек и самого решения прийти к нам! Он слишком поспешил расхвалить наши статуи и картины, спросил, как нас зовут и почему мы только вдвоем. Оланда сказала, что Летисия не смогла, а он: «Мне очень жаль» и «Какое красивое имя Летисия!» Потом он рассказал много вещей о Промышленном училище — вот тебе и английский колледж! — и попросил показать наши украшения. Оланда отодвинула камень, и перед ним предстали все наши богатства. По-моему, он с явным интересом рассматривал эти украшения, а порой, задерживая в руках какую-нибудь вещь, задумчиво говорил: «Это однажды надевала Летисия» или: «Это было на восточной статуе» — так он окрестил китайскую принцессу. Мы сидели под тенью ивы, и хоть у него было довольное лицо, он слушал нас рассеянно — по всему чувствовалось, что только хорошее воспитание мешает ему встать и уйти. Раза два или три, когда разговор готов был оборваться, Оланда вскидывала на меня строгие глаза. Нам обeim было совсем плохо, хотелось, чтоб все это поскорее кончилось, хотелось просто убежать. И зачем его дернуло знакомиться с нами! Ариэль снова спросил о здоровье Летисии, но Оланда, метнув в меня взглядом, ответила: «Она не смогла прийти», — и все, а я-то думала, что она скажет правду... Ариэль прутиком чертил на земле геометрические фигуры, то и дело поглядывая на белую калитку. Все было понятно без слов, и я очень обрадовалась, когда Оланда вытащила наконец сиреневый конвертик и подала его Ариэлю — он так и замер от удивления, а потом, когда ему растолковали, что это от Летисии, сделался пунцовым и спрятал его в карман, не хотел читать у нас на глазах. Тут же Ариэль поднялся и сказал: «Очень рад нашему знакомству», — но рука его была вялая, даже неприятная, и мы просто уже не чаяли, чтоб все поскорее кончилось, хотя потом только и говорили о его серых глазах и о том, сколько грусти в его необыкновенной улыбке. Еще нас поразило, как он сказал на прощанье: «Простите и прощайте!» — мы ни разу в жизни такого не слышали, и прозвучало это красиво, трогательно, как стихи. Когда мы пересказывали все это Летисии — она встретила нас под

лимонным деревом в саду, — меня так и подмывало спросить, что было в ее письме, но попробуй спроси, если она запечатала его, прежде чем отдать Оланде, словом, я не посмела, и мы по очереди нахваливали Ариэля и еще ахали над тем, как много он спрашивал о ней. Признаться, мы делали это через силу, потому что любому понятно, что все сложилось очень странно: и очень хорошо, и очень плохо, потому что Летисия чувствовала себя счастливой и в то же время едва сдерживала слезы. Кончилось тем, что мы позорно удрали, сославшись на тетю Руфь, которая якобы нас ждала, а Летисия осталась под лимонным деревом в обществе жужжащих ос.

Перед сном Оланда шепнула мне: «А завтра — вот увидишь — нашей игре конец!» Она ошиблась, хотя и не очень: на другой день, за обедом, когда принесли сладкое, Летисия осторожно подала нам условный знак. Мы просто оторопели, даже обозлились — все-таки со стороны Летисии это некрасиво, надо же иметь совесть! Но так или иначе, после того как посуда была перемыта, мы встретились с Летисией у калитки и все трое побежали к железной дороге. А там, у ивы, — мы обомлели от страха! — Летисия не торопясь, молча вытащила из кармана мамино жемчужное ожерелье, все ее кольца и знаменитый перстень с рубином — гордость тети Руфи. Вот ужас! Ведь если эти поганки Лоса за нами шпионят — а с них станется, — они тут же доложат маме, что мы утащили из дому семейные драгоценности, и мама нас просто убьет! Но Летисия и бровью не повела, сказала, что в случае чего сама за все ответит, а потом, глядя в землю, глухо проговорила: «Можно, я сегодня буду статуей?» Мы как-то сразу прониклись добрым чувством к Летисии, нам захотелось обласкать ее, угодить ей во всем, но и при этом внутри оставался след злой досады. Мы выбрали для сестренки самые лучшие украшения — павлиньи перья, мех, издали напоминавший серебристого песка, и розовую вуаль, которую она наvertsела на голову в виде тюрбана. Все это очень красиво сочеталось с драгоценными камнями. Летисия молчала, должно быть, обдумывала, какой будет ее статуя. Когда появился поезд, она не спеша подошла к насыпи, и все драгоценности разом вспыхнули на солнце. Потом она резко вскинула руки вверх, словно собиралась изобразить живую картину, а не статую; голову отвела назад (единственное, что ей, бедняжке, было доступно) и так сильно перегнулась,

что нам на минуту-другую стало страшно. Но какая это была прекрасная статуя! Настоящее чудо! Мы даже не сразу вспомнили об Ариэле, который высунулся из окна и смотрел на Летисию, смотрел только на нее, не видя нас, не видя ничего вокруг, смотрел, пока поезд не скрылся за поворотом. Не знаю, почему мы, словно нас кто толкнул, побежали к Летисии,— она стояла с закрытыми глазами, и по ее лицу катились крупные слезы. Тихонько, совсем беззлобно Летисия отвела наши руки и спустилась с насыпи. Мы с Оландой помогли ей спрятать все драгоценности и потом, когда она ушла, в последний раз сложили в корзину ее любимые украшения. Нам незачем было гадать, что нас ждет, и все же назавтра мы как угорелые побежали к нашим ивам, побежали, едва дослушав тетю Руфь, которая строго-настрого велела нам не шуметь, не мешать Летисии — она, бедняжка, расхворалась и не вставала с постели. Когда мимо нас промчался поезд, мы несколько не удивились пустому окошку во втором вагоне. Мы улыбались, испытывая сразу и злость и облегчение. А наш Ариэль — мы это знали — тихо сидел с противоположной стороны и смотрел на реку серыми глазами.

МАМИНЫ ПИСЬМА



то скорее всего можно было бы назвать условной свободой. Всякий раз, когда консьержка вручала Луису конверт, ему стоило лишь взглянуть на марку со знакомым портретом Хосе де Сан-Мартина, чтобы почувствовать, как освобождаются все пути к прошлому. Сан-Мартин, Ривадавия — это были не просто слова: они воскрешали в памяти улицы, родные места. Ривадавия, номер шесть тысяч пятьсот, особняк в квартале Флорес, мама, кафе на углу Сан-Мартина и Корриентос, где его часто поджидали друзья и где сладкое кофе слегка отдавало касторкой. Поблагодарив: «*Merci bien, madame Durand!*»¹ — с конвертом в руках он выходил на улицу уже не тем человеком, которого видели вчера и все предыдущие дни. Каждое мамино письмо (даже до всего, что недавно произошло, до этой нелепой и странной ошибки) сразу меняло течение жизни Луиса, возвращало его в прошлое (словно мяч, отскакивающий рикошетом от стены). Главное, что письма сами по себе еще до того, как он их вскрывал, — а сейчас Луис, разъяренный и одновременно растерянный, сидя в автобусе, перечитывал новое письмо, не желая верить своим глазам, — всегда прерывали ход времени, вносили разлад в тот порядок, который Луису удалось завести и который он так тщательно поддерживал, когда у него появились Лаура и Париж.

Каждое новое письмо мамы на мгновение (именно на мгновение, так как он вычеркивал их из своей памяти, как только был написан нежный ответ на них) напоминало о том, что его с трудом отвоеванная свобода, его новая жизнь, отрезанная наскоро безжалостными ножни-

¹ Благодарю вас, мадам Дюран! (франц.)

цами от запутанного клубка, который другие называли его жизнью, теряла всякий смысл, устойчивость, уходила из-под ног, подобно асфальту из-под колес автобуса, двигавшегося по улице Ришелье. Оставалась лишь видимость свободы, иллюзия жизни, подобно слову, заключенному в скобки, оторванному от основной фразы, которое почти всегда является опорой и объяснением ее. И еще досада и желание тотчас же ответить, как бы захлопнуть дверь.

Это утро ничем не отличалось от всех других, когда приходили мамины письма. С Лаурой он говорил очень редко о прошлом и почти никогда об особняке в квартале Флорес. И не потому, что не любил вспоминать о Буэнос-Айресе. Скорее всего, он пытался избежать имен — не тех людей, которых они избегали уже давно, а именно имен, в которых скрыто упорство призраков. Однажды он набрался смелости и сказал Лауре: «Если бы можно было разорвать и выбросить прошлое, подобно черновику письма или рукописи книги. Но оно остается навсегда, оно пачкает переписанное начисто, и, по-моему, это и есть подлинное будущее».

И действительно, почему бы им не поговорить о Буэнос-Айресе, где жили их родные и откуда время от времени друзья посылали им открытки с ласковыми словами. А газета «Ла Насьон» с сонетами восторженных дам, с давно устаревшей сенсацией! И время от времени правительственный кризис, взбунтовавшийся полковник или непревзойденный боксер! Почему бы им с Лаурой и не поболтать о Буэнос-Айресе? Но она тоже не касалась прошлого и лишь случайно в каком-нибудь разговоре, чаще, когда приходили письма мамы, что-то вспоминала, называла какое-нибудь имя, и оно падало, как вышедшая из употребления монета, как какая-то старая вещь, отжившая свой век на далеком берегу реки.

— Eh oui, fait lourd! ¹— сказал рабочий, сидевший в автобусе напротив него.

«Знал бы он, что такое настоящая жара,— подумал Луис.— Ему бы пройтись в феврале по Авенида-де-Майо или по одной из улочек Линье!»

Он снова, ничуть не обольщаясь, вытащил письмо из конверта — конечно, вот она, эта строка, написана совершенно отчетливо. Полная нелепость, а от строки никуда

¹ Ох, какая жарница! (франц.)

не денешься. Первой естественной реакцией Луиса — после того как он пришел в себя от удивления — было стремление защищаться. Лаура ни в коем случае не должна видеть мамины письма. Пусть это глупая ошибка, простая путаница имен (мама, конечно, хотела написать «Виктор», а вместо этого написала «Нико»), но Лаура расстроится, а уж это ни к чему. Вообще-то письма иногда теряются: вот бы и этому утонуть в море! Бросить его в унитаз у себя на службе? Но через несколько дней Лаура непременно скажет: «Как странно, от твоей матери нет писем». Она никогда не говорила «твоя мама», вероятно, потому, что лишилась матери еще в детстве. И он бы ответил ей: «Действительно странно. Я сегодня же черкну ей пару строк». И написал бы, и спросил бы маму, отчего она не пишет. Жизнь бы потекла своим чередом: служба, по вечерам — кино, Лаура всегда спокойная, милая, чуткая к его желаниям.

Выйдя из автобуса на улице Ренн, Луис вдруг со всей откровенностью спросил себя (это не был вопрос, но как лучше выразиться), почему, собственно, он не хочет показать письмо Лауре. Конечно, дело не в ней, не в Лауре, и не в том, что она почувствует. Его мало беспокоило, что она может чувствовать, раз она скрывает свои чувства. (Но беспокоило ли его то, что она может чувствовать, раз она скрывает свои чувства?) Да, его это мало беспокоило. (Его это не беспокоило? Так ли?) Первое, что ему было важно (за первым стояло и второе), — это первое, непосредственное, если можно так выразиться, заключалось в том, что ему не было безразлично выражение лица Лауры при этом и ее поведение. Словом, его беспокоил он сам, его собственное отношение к тому, как Лаура воспримет письмо мамы. Лаура наткнется глазами на имя Нико, и он хорошо знал, что в этот момент ее подбородок слегка задрожит, а затем она скажет: «Однако, как странно... Что случилось с твоей матерью?» И все это время он будет чувствовать, что Лаура изо всех сил старается не закричать, не закрыть руками лицо, уже искаженное рыданием, и виной всему будет имя Нико, готовое сорваться с ее губ.

В рекламном бюро — Луис работал там художником — он еще раз перечитал это письмо, похожее на многие мамины письма, в котором не содержалось ничего особен-

ного, кроме строки, где было перепутано имя. Ему даже подумалось, что можно стереть слово, заменить Нико на Виктор, просто исправить ошибку, а потом дома показать письмо Лауре. Письма мамы всегда интересовали Лауру, хотя по существу они не предназначались ей. Это трудно объяснить, но мама писала только ему одному: в конце письма, а иногда и в середине, она посылала горячие приветы Лауре. Однако это ничего не означало. Лаура читала их с интересом, иногда подолгу разбирая какое-нибудь слово, написанное нечетко из-за маминого ревматизма или близорукости. «Я принимаю саридон, а доктор выписал мне немного салициловой кислоты...» Письма оставались лежать на рабочем столе еще в течение двух или трех дней. Будь на то воля Луиса, он бы выбрасывал письма сразу. Но Лаура перечитывала их — женщинам доставляет удовольствие перечитывать, изучать письма; кажется, что они находят в них какой-то другой смысл каждый раз, когда возвращаются к ним заново.

Письма мамы были короткими: домашние новости и изредка какое-нибудь событие в стране (последнее уже давно было известно из телеграмм, напечатанных в «Монд», и теряло свой интерес). Словом, можно было бы подумать, что это одно и то же простое и нехитрое письмо, в котором нет ничего интересного. Слава богу, мама никогда не предавалась тоске, которую должна была бы испытывать из-за отъезда сына с невесткой, ни даже горю — а какие слезы и крики были вначале — из-за смерти Нико. За два года, которые они прожили в Париже, мама ни разу не упомянула в письме имени Нико. Лаура также никогда не говорила о нем. Они оба не называли этого имени, а прошло уже более двух лет со дня его смерти. Неожиданное упоминание его имени в середине письма было чем-то невероятным. Просто не укладывалось в голове это неожиданное появление имени Нико, с этим «Н» прописным и дрожащим «о» с закрючкой; но хуже всего было то, что имя стояло в каком-то непонятном и бессмысленном предложении, которое лишь свидетельствовало о старческом маразме. Мама вдруг потеряла представление о времени, представила себе, что... Строка следовала за фразой, в которой сообщалось о получении письма от Лауры. После едва различимой точки, поставленной бледно-голубыми чернилами, купленными в местной лавке, шло как выстрел в упор: «Сегодня утром Нико спросил о вас». Дальше ни-

чего необычного: здоровье, кузина Матильда упала и вывихнула ключицу, собаки чувствуют себя хорошо. Но Нико спросил о них.

Конечно, было легко заменить имя Нико именем Виктор. Кузен Виктор, всегда такой внимательный, он, несомненно, он и спрашивал о них. В имени Виктора было на две буквы больше, чем в имени Нико, но с помощью резинки и ловкости рук можно было бы изменить имя. «Сегодня утром Виктор спросил о вас». Это так естественно, что Виктор зашел навестить маму и спросил ее о родственниках, уехавших в Париж.

Когда он вернулся домой завтракать, письмо по-прежнему лежало у него в кармане. Он окончательно решил ничего не говорить Лауре, которая встретила его приветливой улыбкой, игравшей на ее лице, казавшемся немного расплывчатым после отъезда из Буэнос-Айреса, как будто бы серый воздух Парижа лишил его красок и четкости. Больше двух лет они прожили в Париже, покинув Буэнос-Айрес спустя два месяца после смерти Нико, но, по правде говоря, Луис простился с Аргентиной в день своей женитьбы на Лауре. Однажды вечером, после разговора с Нико, который уже был болен, Луис поклялся, что убежит из Аргентины, из особняка, от мамы, от собак, от брата. В те месяцы все кружилось вокруг него, подобно фигурам в танце: Нико, Лаура, мама, собаки, сад. А его клятва была сродни дикому поступку человека, который вдруг разбивает вдребезги бутылку на танцплощадке и прерывает танцы, расшвыривая осколки. Все было диким в эти дни: его женитьба, его внезапный отъезд без объяснений и разговоров с мамой, отказ от всех принятых правил общественной жизни, отказ от друзей, удивленных и разочарованных. Ему было все безразлично, даже слабые попытки Лауры удержать его. Мама оставалась совсем одна в особняке, с собаками и лекарствами, с вещами Нико, все еще висевшими в шкафу. Пусть себе остается, пусть все убираются к чертям. Казалось, мама все поняла, она уже не оплакивала Нико, а по-прежнему бродила по дому, с холодным и отрешенным видом старого человека, ожидающего своей смерти. Но Луис не любил вспоминать о том, что происходило в день его отъезда, чемоданы, такси у дверей, дом, где прошло его детство, сад, где они с Нико играли

в войну, двух собак, ленивых и глупых. Теперь он был готов забыть обо всем этом. Он ходил в рекламное бюро, рисовал плакаты, возвращался обедать, выпивал чашку кофе, которую ему подавала с улыбкой Лаура. Они часто ходили в кино, в лес, все лучше узнавали Париж. Им везло: жизнь текла удивительно легко, работа не тяготила, квартира была хорошей, фильмы — превосходными. И вот тогда приходили письма мамы.

Он не питал к ним ненависти. Если бы их не было, свобода свалилась бы на него невыносимой тяжестью. Мамнины письма приносили ему молчаливое прощение (но за что его, собственно, было прощать?), они как бы перебрасывали мост, по которому можно было пройти. Каждое письмо приносило ему успокоение или беспокойство о здоровье мамы, напоминало о семейных заботах, о существовании знакомого порядка. Но вместе с тем этот порядок бесил его. Да, он бесил его, и бесил из-за Лауры, потому что она была с ним в Париже, а каждое письмо мамы делало ее чужой, делало ее соучастницей того порядка, от которого он отказался однажды ночью в саду, когда вновь услышал приглушенный и почти смиренный кашель Нико.

Нет, он не покажет Лауре письмо. Было неблагородно заменять одно имя другим. Но нельзя же, чтобы Лаура прочла эту фразу. Ужасная ошибка мамы, глупая, случайная небрежность — он как будто видел маму, которой трудно сладить со старым пером, с выскальзывающей бумагой, со старческим зрением, — пустила бы ростки в Лауре, подобно отзывчивому семени. Лучше выбросить письмо (и он выбросил его в тот же день) и вечером пойти с Лаурой в кино, забыть как можно скорее о том, что Виктор спрашивал о них. Даже если это был Виктор, их благовоспитанный кузен. Забыть о том, что Виктор спрашивал о них.

Коварный, хитрый и вылощенный Том ждал, когда Джерри попадет к нему в сети. Джерри ускользнула от него, и на Тома обрушились неисчислимыя беды. В перерыве Луис купил мороженое, и они ели его, пока на экране шел цветной анонс. Когда начался фильм, Лаура еще глубже погрузилась в свое кресло и высвободила руку из руки Луиса. Он снова почувствовал, что она отдалась от него, и кто знает, одно и то же видели ли

они на экране, хотя позже у них будет разговор о фильме — или по пути домой, или в постели. Он задал себе вопрос (это не был вопрос, но как тут лучше сказать), что чувствовали Нико и Лаура в ту пору, когда Нико ухаживал за ней и они вместе ходили в кино, возникала ли эта отчужденность? Вероятно, они знали все до единого кинотеатры Флореса, изучили всю эту скучную набережную на улице Лавалье, статую льва, атлета, ударяющего в гонг, титры на испанском языке в «Карменде-Пинильос»: действующие лица этой картины надуманы, как и сам сюжет...

Итак, Джерри убежала от Тома, и пришел час Барбары Стэнвик или Тайрон Пауэр. Рука Нико тихо легла бы в эту минуту на бедро Лауры (бедный Нико, такой робкий, такой целомудренный), и оба почувствовали бы себя виноватыми бог знает в чем. Луис хорошо понимал, что они не были виноваты в самом существенном, хотя он и не получил наиболее приятного доказательства, но столь быстрое исчезновение чувства привязанности у Лауры к Нико говорило о том, что эта помолвка была лишь видимостью, союзом, который предопределялся соседством, средой, постоянным общением, одинаковыми вкусами, привычками и времяпрепровождением молодежи квартала Флорес. Луису стоило однажды вечером попасть в тот танцевальный зал, где часто бывал Нико, и брат представил его Лауре. Вероятно, благодаря легкости начала все последующее было таким безнадежно тяжелым и горьким. Но он не хотел вспоминать об этом: игра закончилась быстрым поражением Нико, его меланхолическим бегством в смерть от чахотки. Станным лишь было то, что Лаура никогда не упоминала его имени, вот почему и он не говорил о нем; словом, Нико не был для них ни покойником, ни умершим деверем, ни сыном мамы.

Вначале, после тяжелых упреков, рыданий и воплей мамы, глупого вмешательства дяди Эмилио и кузена Виктора (Виктор сегодня спросил о вас!), ему принесла облегчение поспешная женитьба на Лауре, женитьба без лишних церемоний — вызванное по телефону такси, три минуты в муниципалитете у чиновника в обсыпанном перхотью пиджаке. Укрывшись в гостинице в Адрогé, вдали от мамы и всей разъяренной родни, Луис был благодарен Лауре за то, что она никогда не говорила о Нико, который, как жалкая марионетка, превратился из жениха в деверя. Но и теперь, два года спустя после смерти

Нико — а это срок немалый, и их разделяет океан, — Лаура по-прежнему не упоминала его имени, а он, Луис, из трусости, стал ее невольным сообщником, хорошо зная, что в глубине души это молчание оскорбляло его, что за ним скрывались упреки, угрызения совести, нечто такое, что сродни предательству. Несколько раз, в разговоре, он сознательно упомянул имя Нико, но прекрасно понимал, что это не в счет, так как Лаура постаралась уклониться от беседы. В их общении мало-помалу создалась некая зыбкая запретная зона, отдалявшая их от Нико, обволакивая его имя и память о нем грязной и липкой ватой. И мама, как будто в сговоре с ними, тоже хранила молчание. В каждом письме она писала о собаках, о Матильде, Викторе, салициловой кислоте, о получении пенсии. Луис надеялся, что когда-нибудь мама хотя бы намекнет сыну, что пора им заключить союз против Лауры, чтобы исподволь заставить ее принять хотя бы посмертное существование Нико. Не потому, что это было кому-то необходимо: кого интересовал Нико, живой или мертвый? Но терпимость Лауры, ее смирение перед пребыванием памяти о нем в пантеоне прошлого, были бы мрачным, неопровержимым доказательством того, что она его забыла окончательно и навсегда. Кошмар, вызванный упоминанием его имени, рассеялся бы также легко и бесследно, как и при его жизни. Однако Лаура по-прежнему не произносила его имени, и каждый раз, когда было бы совсем естественно произнести это имя, она хранила молчание, и тогда Луис вновь ощущал присутствие Нико в саду Флореса, слышал сдержанный кашель Нико, который готовил самый прекрасный подарок к их свадьбе — свою смерть к медовому месяцу той, кто была его невестой, и того, кто был его братом.

И, конечно, как и следовало ожидать, спустя неделю Лаура удивилась тому, что от мамы не было писем. Она перебрала все возможные причины, и Луис в тот же день отправил маме письмо. Ответ его не очень беспокоил, но ему бы хотелось (он думал об этом, спускаясь по утрам по лестнице), чтобы консьержка не отдавала письма Лауре. Недели через две он увидел знакомый конверт с двумя марками: портрет адмирала Брауна и водопад Игуасу́. Он спрятал письмо, вышел на улицу и помахал рукой высунувшейся из окна Лауре. Ему показалось

странной сама необходимость завернуть за угол, чтобы распечатать письмо.

Мама писала, что Боби удрал на улицу, что через несколько дней он начал чесаться — заразился от какой-то чесоточной собаки. Мама ходила к ветеринару, приятелю дяди Эмилио, не хватало еще, чтобы Боби заразил чумкой Негро. Дядя Эмилио считает, что нужно было их сразу искупать в акароине, но ей это уже не под силу, было бы куда лучше, если бы ветеринар выписал какой-нибудь порошок от насекомых или что-нибудь, что можно примешать в пищу. У сеньоры в соседнем доме жила чесоточная кошка, и кто знает, может быть, кошки способны заражать собак, хотя между их домами проволочная сетка. Может, их утомила болтовня старухи, но Луис всегда так любил собак, даже одна из них спала в его ногах, когда он был ребенком, а вот Нико не жаловал их. Сеньора, живущая по соседству, советовала посыпать собак ДДТ, потому что, даже если нет никакой чесотки, к собакам на улицах всегда цепляется всякая гадость; на углу Бакакай обычно останавливался цирк с редкими животными, возможно, поэтому в воздухе носились микробы и все такое. Маму одолевали страхи, и она писала то о чесоточном Боби, то о сыне портнихи, обжегшем себе руку кипящим молоком.

Затем стояло что-то похожее на голубую звездочку (кончик пера, должно быть, зацепился за бумагу, мама досадливо заворчала), а потом шли печальные размышления о полном одиночестве, ожидавшем ее, если Нико уедет в Европу, а ей кажется, что так и будет. Но таков удел стариков: дети подобны ласточкам, улетающим в один прекрасный день из родного гнезда. Надо терпеть, пока есть силы. Сеньора, живущая по соседству...

Кто-то толкнул Луиса, затем ему напомнили о правилах поведения на улице — выговор был явно марсельский. До него дошло, что он мешал движению людей в узком проходе метро. Остаток дня также прошел как в тумане. Он позвонил Лауре, сказав, что не будет обедать дома, два часа он не вставал со скамейки в сквере, все читал и перечитывал мамино письмо, спрашивая себя, что же ему делать с этим бредом. Прежде всего надо поговорить с Лаурой. С какой стати (это не был вопрос, но как тут лучше сказать) скрывать от Лауры все, что произошло. Он уже не мог притвориться, что и это письмо тоже за-

терялось. Он уже не мог, совсем не мог верить в то, что мама по ошибке написала «Нико» вместо «Виктор». И даже нельзя было думать, что она не в себе. Вне сомнения, причина этих писем — Лаура, то, что должно было случиться с Лаурой. И даже не так: это то, что уже случилось в день их свадьбы, это их медовый месяц в Адрогге, и ночи, когда они, позабыв обо всем на свете, предавались любви на том пароходе, что увозил их во Францию. Все это — Лаура, все это будет Лаура теперь, когда в бредовом воображении мамы Нико надумал приехать в Европу. Они стали сообщницами, как никогда раньше: мама писала Лауре о Нико, сообщала, что Нико собирается приехать в Европу, и писала просто — Европа, хорошо зная, что Лаура прекрасно поймет, что Нико приедет во Францию, в Париж, в дом, где так искусно притворялись, что его, бедняжку, начисто забыли.

Луис сделал две вещи: написал дяде Эмилио о том, что он встревожен и просит навестить маму как можно скорее, чтобы лично во всем убедиться и принять необходимые меры. Выпив одну за другой две рюмки коньяку, Луис пошел домой пешком, чтобы по дороге обдумать, что же сказать Лауре, так как в конце концов он должен был поговорить с ней и поставить ее обо всем в известность. Сворачивая с одной улицы на другую, он чувствовал, каких усилий ему стоило думать о настоящем, о том, что должно произойти через полчаса. Письмо мамы насильно погружало его в реальную действительность этих двух лет жизни в Париже, в ложь купленного покоя, счастья на людях, поддерживаемого развлечениями и спектаклями, невольного пакта о молчании, благодаря которому они оба постепенно отдалялись друг от друга, как это обыкновенно и бывает во всех подобных пактах.

«Да, мама, да, бедный чесоточный Боби. Бедный Боби, бедный Луис, кругом чесоточные! Вечер танцев в клубе Флореса, и я пошел туда, мама, потому что Нико настаивал на этом. Думаю, что он хотел похвастать своей победой. Бедный Нико, мама, с этим сухим каплем, которому тогда еще никто не придавал значения, в своем двубортном костюме в полоску, с напыженными брполонным волосами, с шелковыми галстуками, такими новенькими, аккуратными. А тут поболтали минутку и чувствуете возникшую к вам симпатию... Ну как же не пригласить на этот танец невесту брата. О! Невеста — слиш-

ком громко сказано, Луис! Я думаю, вы позволите мне называть вас так, не правда ли? Однако странно, что Нико все еще не пригласил вас к нам в дом. Вы, без сомнения, понравитесь маме. Наш Нико такой неловкий! Он даже еще не говорил с вашим отцом! Робкий? Да, он всегда был таким. Как и я. Над чем вы смеетесь? Вы мне не верите? Но я совсем не такой, каким кажусь... Правда, здесь жарко? Конечно, вы должны прийти к нам, мама будет очарована. Мы живем только втроем и собаки. Ну, Нико, тебе не стыдно столько времени скрывать от нас все это, негодяй. Мы вот такие, Лаура, мы говорим друг другу все. С твоего разрешения я станцую это танго с сеньоритой».

Все получилось легко, играючи, — а он (Нико) такой наглаженный, и галстук в полоску. Она порвала с ним по ошибке, по слепоте: изворотливый брат был способен одержать победу с ходу, вскружить голову без труда. «Нико не играет в теннис! Ну когда ему играть, его не оторвешь от шахмат и марок. Не трогайте его! Молчаливый и такой ни то ни се, бедняга!»

Нико постепенно отставал, затерявшись где-то в углу двора, утешаясь сиропом от кашля или горьким мате. Нико слег в постель, и ему прописан покой, и это как раз совпало с вечером танцев в гимнастическом и фехтовальном зале «Вилья-дель-Парке». Стоит ли упускать случай, тем более что играет Эдгардо Донато, и будет неплохо...

Маме очень нравилось, что он уделял внимание Лауре: она полюбила Лауру как собственную дочь, сразу же, еще в тот день, когда они с братом привели ее в дом. Учти, мама, мальчишка очень слаб и может разволноваться, если ему кто-нибудь расскажет об этом. Такие больные, как он, могут вообразить невесть что. Он еще подумает, что я ухаживаю за Лаурой. Лучше ему не знать, что мы идем в спортзал.

Но я не сказал об этом маме: дома никто никогда и не узнал, что мы ходили туда вдвоем с Лаурой. Конечно, это до тех пор, пока не выздоровеет Нико, бедняжка. И так пошло: один бал за другим, рентгеновский снимок Нико, затем машина коротышки Рамоса, вечеринка в доме Бебы, вино, прогулка в машине до моста через реку, луна. Эта луна, напоминающая окно отеля там, наверху, и сопротивляющаяся, немощно хмельная Лаура в машине! Ловкие руки, поцелуи, сдавленные крики,

плед из вигоневой шерсти, возвращение в молчании, затем улыбка прощения.

Улыбка была почти такой же и на этот раз, когда Лаура открыла ему дверь. На обед было духовое мясо, салат и взбитые сливки. В десять часов пришли соседи, их партнеры по игре в канасту. Очень поздно, когда они уже готовились ко сну, Луис вытащил письмо и положил его на ночной столик.

— Я не сказал о нем раньше, так как не хотел огорчать тебя. Мне кажется, что мама...

Лежа в постели, повернувшись к ней спиной, он ждал. Лаура положила письмо в конверт и потушила ночник. Он почувствовал, как она лежит возле него, не совсем вплотную, но ощущал ее дыхание у своего уха.

— Ты понимаешь? — спросил Луис, сдерживая голос.

— Да, тебе не кажется, что она перепутала имя?

По всей вероятности. Пешка четыре, король. Пешка четыре, король. Превосходно.

— Скорее всего она хотела написать Виктор, — сказал он, медленно вонзая ногти себе в ладонь.

— Да, конечно. Вполне возможно, — сказала Лаура. Кони, король три, слон.

Они притворились спящими.

Лаура также считала, что обо всем должен знать только один человек — дядя Эмилио. И потянулись дни, но они больше не заводили разговор об этом. Каждый раз, возвратившись домой, Луис ждал от Лауры какой-нибудь выходки или реплики, которые пробили бы брешь в этом превосходно хранимом спокойствии и молчании. Они все также ходили в кино и все также предавались любви. Луис уже не видел в Лауре никакой тайны, кроме ее покорного согласия с этой жизнью, в которой не осуществилось ничего, о чем они могли мечтать два года тому назад. Теперь он хорошо знал ее, делая сопоставления, он понимал, что Лаура похожа на Нико, на всех тех, кто всегда остается позади и действует лишь по инерции, хотя иногда она проявляла почти железную волю, чтобы ничего не делать, чтобы превратить жизнь в бесцельное времяпрепровождение. Нико и Лаура лучше бы понимали друг друга, и Луис и Лаура поняли это уже в день женитьбы, с первых шагов совместной жизни,

следующих за нежным согласием медового месяца и желанием.

Теперь же Лауру снова стали одолевать кошмары. Ей часто снились сны, но кошмары можно было узнать сразу. Луис угадывал их по особым движениям ее тела во сне, по смутным словам или прерывистым крикам задыхающегося животного. Все это началось уже на борту парохода, тогда они могли еще говорить о Нико, так как отплыли в Европу через несколько дней после его смерти. Однажды ночью после долгих воспоминаний о Нико — уже тогда зарождалось это безмолвное молчание, которое потом они приняли как нечто неизблемое,— Лаура разбудила его хриплым стоном, резкой судорогой в ногах и внезапным криком, она от чего-то отбивалась, отказывалась принять; ее руки, ее тело и голос отталкивали прочь что-то ужасное, липкое, обволакивавшее ее целиком. Он тряс Лауру, успокаивал, давал ей воды, которую она пила, всхлипывая, наполовину во власти своего кошмара. Потом она говорила, что ничего не помнит, что это было что-то ужасное, чего нельзя объяснить, и наконец засыпала, унося с собой свою тайну, но Луис знал то, что знала она сама, знал, что Лаура встретилась с тем, кто вошел в ее сон, бог весть под какой страшной личиной, и она обнимала его колени в припадке ужаса, а может, и тщетной любви. Всегда повторялось одно и то же: Луис подавал ей стакан воды и молча ждал той минуты, когда она опустит голову на подушку.

Возможно, когда-нибудь страх станет сильнее гордости, если это называется гордостью. Возможно, тогда и он сумеет бороться с ним... Возможно, еще не все потеряно, и жизнь будет совсем иной, непохожей на это искусственное существование, состоящее из улыбок и французского кино.

Сидя за рабочим столом, в окружении чужих людей, Луис старался восстановить в себе чувство равновесия и тот порядок, которому ему нравилось следовать в жизни. И коль скоро Лаура не касалась этой темы и ждала ответа от дяди Эмилио с показным равнодушием, он сам должен был объясниться в этой истории с мамой. Отвечая на ее письмо, он ограничился краткими новостями последних недель и в конце приписал слова, которые должны были все исправить: «Итак, Виктор говорит о поездке в Европу. Теперь все путешествуют. Должно

быть, это результат стараний туристических агентств. Скажи ему, чтобы он нам написал, мы можем сообщить все необходимые сведения. Передай также, что он вполне может рассчитывать на наше гостеприимство».

Ответ от дяди Эмилио пришел сразу же с обратной почтой. Писал он сухо, как и полагалось столь близкому родственнику, оскорбленному тем, как недопустимо они вели себя после смерти Нико. Дядя Эмилио ни разу не высказал Луису своего откровенного возмущения, но уже не однажды подчеркнул со свойственным ему умением, как он относится к племяннику. К примеру: он просто не пошел провожать Луиса на пароход и в течение двух последующих лет ни разу не поздравил его с днем рождения.

Вот и теперь он лишь выполнил свой долг родственника по отношению к маме и весьма скупко сообщал о визите к ней. Мама чувствовала себя очень хорошо, но почти не разговаривала: вполне понятная вещь, если принять во внимание все переживания последних лет. Чувствуется, что она очень одинока в доме, и это естественно, поскольку любая мать, прожившая всю жизнь с двумя сыновьями, не может чувствовать себя хорошо в огромном пустом доме, полном воспоминаний. Что же касается интересующих его строк, то дядя Эмилио в данном случае старался быть осторожным, как того и требовали деликатные обстоятельства дела, и, к сожалению, он должен сказать, что ничего определенного не выяснил, ибо мама не была расположена к беседе и даже приняла его в холле, чего раньше никогда не позволяла себе в отношении к своему деверю! На вопрос о ее здоровье она ответила, что чувствует себя превосходно, разве что иногда дает себя знать ревматизм, но в эти дни ее утомляет глажка мужских рубашек. Дядя Эмилио поинтересовался, о каких рубашках шла речь, но она вместо ответа неопределенно покачала головой и предложила подать херес с галетами Багли.

Мама не позволила им слишком долго обсуждать письмо дяди Эмилио и его бесплодный визит к ней в дом. Спустя четыре дня пришло заказное письмо, хотя мама прекрасно знала, что нет никакой необходимости посылать заказные письма в Париж авиапочтой. Лаура позвонила Луису на работу и попросила его как можно скорее приехать домой.

Через полчаса, придя домой, он застал ее погруженной в созерцание желтых цветов на столе. Лаура тяжело дышала. Письмо лежало на консоли камина, и Луис положил его туда же после того, как прочел. Он сел возле Лауры, немного подождал. Она пожала плечами.

— Мать сошла с ума, — сказала Лаура.

Луис зажег сигарету. Дым вызвал слезы на его глазах. Он понял, что игра продолжается и что он должен делать очередной ход. Но эту партию разыгрывало три игрока, даже четыре. Теперь он был уверен, что мама также стояла возле доски. Он все глубже и глубже погружался в кресло незаметно для себя и зачем-то прикрыл лицо руками, словно маской. Он слышал рыдания Лауры. Внизу с криком носились дети консьержки.

Ночь, как известно, приносит решения и все прочее. Им же она принесла тяжелый и тупой сон после того, как их тела выдержали скучную битву, которую каждый из них в глубине души не желал.

Снова вступал в силу молчаливый договор, заключенный ими: утром они болтали о погоде, о преступлении в Сен-Клу, о Джеймсе Дине. Письмо продолжало лежать на консоли камина, и во время завтрака они не могли не видеть его. Но Луис знал, что по возвращении со службы уже не найдет его там. Лаура с холодным, упорным старанием стирала все следы.

Прошел день, потом другой и еще день. Однажды вечером они долго смеялись над рассказами соседей, над программой Фернанделя. У них возникла идея, что надо сходить в театр и провести конец недели в Фонтенбло.

На рабочем столе Луиса накапливались теперь уже ненужные сведения, потому что все совпадало с тем, о чем говорилось в письме мамы. Пароход действительно прибывал в Гавр в пятницу, семнадцатого утром, а специальный поезд приходил на вокзал Сен-Лазар в одиннадцать сорок пять. В четверг они были в театре и очень весело провели время. За два дня до этого Лауре опять приснился кошмар, но Луис не пошевелинулся, чтобы принести воды, он лежал к ней спиной и ждал, пока она сама успокоится. Затем Лаура заснула. Весь день она возилась с летним платьем, кроила его, что-то переделывала. Они поговорили о том, что надо купить электриче-

скую швейную машину после выплаты взноса за холодильник.

Луис нашел письмо мамы в ящике ночного столика и унес его с собой на службу. Он позвонил в пароходство, хотя уже не сомневался в том, что мама сообщала точную дату прибытия. Это было единственное, чему он верил: обо всем остальном не хотелось даже и думать. Еще этот дурак дядя Эмилио! Лучше было бы написать Матильде. Несмотря на то что они были далеки друг от друга, Матильда поняла бы, что нужно вмешаться и спасти маму. Но, по правде говоря (это не был вопрос, но как тут лучше выразиться), нужно ли спасать маму, именно маму? На миг он подумал заказать телефонный разговор с Матильдой. Вспомнив же о хересе и галетах Багли, он пожал плечами. Не было уже времени писать Матильде, хотя в действительности, пожалуй, было. Но, вероятно, лучше подождать пятницы семнадцатого, до...

Коньяк уже не помогал ему просто не думать или, по крайней мере, думать без страха. Он все яснее видел лицо мамы в последние недели в Буэнос-Айресе, сразу после похорон Нико. То, что ему тогда казалось выражением горя, он воспринимал теперь как злобное недоверие, как хищный оскал животного, которое чувствует, что от него хотят отделаться и бросить где-нибудь далеко от дома. Теперь он понял истинное лицо мамы. Только теперь он видел ее такой, какой она была в те дни, когда все родственники наносили ей визиты, выражая соболезнование в связи со смертью Нико, сидели с ней вечерами. Он с Лаурой тоже приезжал из Адрогге, чтобы побыть возле нее. Они оставались в доме совсем недолго, потому что тут же появлялся дядя Эмилио, или Виктор, или Матильда, и все, как один, демонстрировали холодное презрение: родственники, возмущенные случившимся, возмущенные Адрогге и тем, что они были счастливы, в то время как Нико, бедняжка, в то время как... Луис никогда не подозревал о том, как потрудилась вся родня, как чуть ли не в складчину они покупали им билеты и ласково проводили на пароход, осыпав подарками, и прощально махали вслед платками.

Конечно, сыновний долг обязывал его немедленно написать Матильде. Он еще был в состоянии думать об этом перед четвертой рюмкой коньяка! На пятой он думал обо всем сначала и уже смеялся (бродил пешком по Парижу, чтобы подольше побыть одному и проветрить

мозги), смеялся над своим сыновним долгом, как будто бы дети имели какой-то долг, как будто бы долг мог быть как в четвертом классе, священный долг к священной сеньорите, из отвратительного четвертого класса!

Конечно, его прямой сыновний долг — написать письмо Матильде! Зачем притворяться (это не был вопрос, но как тут лучше выразиться), что мама сошла с ума? Единственное, что стоило делать, это ничего не делать: пусть дни идут своей чередой, все, кроме пятницы.

Когда Луис, как обычно, простился с Лаурой, предупредив ее, что не придет завтракать, так как у него срочная работа, он уже знал наперед все дальнейшие события и мог бы добавить: «Если хочешь, пойдём туда вместе».

Он укрылся в кафе на вокзале, скорее всего не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы иметь маленькое преимущество — видеть, оставаясь сам невидимым. В одиннадцать тридцать пять он узнал Лауру по ее голубой юбке, двинулся за ней на расстоянии, увидел, как она изучала расписание, спрашивала о чем-то у служащего, купила перронный билет, вышла на платформу, где уже собралась публика, зевавшая по сторонам в ожидании поезда. Стоя за вагонеткой, груженной ящиками с фруктами, он наблюдал за Лаурой, которая, казалось, не могла придумать: остаться у выхода на платформу или пройти вперед. Он смотрел на нее несколько не удивляясь, смотрел, как на насекомое, чье поведение могло представлять какой-то интерес.

Поезд пришел сразу, и Лаура смешалась с толпой, хлынувшей к окнам вагона, где каждый искал взглядом своих, среди криков и рук, судорожно высовывающихся из вагона, как будто бы там внутри можно было задохнуться. Он обогнул вагонетку, прошел на перрон между ящиками с фруктами, стараясь не ступать на масляные пятна.

Из своего укрытия он, конечно, увидит выходящих пассажиров, вновь увидит Лауру и чувство облегчения, написанное у нее на лице. Разве у нее на лице не было написано чувство облегчения? (Это не был вопрос, но как тут лучше выразиться.) И затем, позволив себе удовольствие остаться на перроне после того, как исчезнут последние пассажиры и последние носильщики, он уйдет, спустится на площадь, залитую солнцем, и направится к кафе выпить коньяку. В этот же вечер он напишет маме,

и словом не обмолвись о забавном случае (но что тут было забавного!), а после наберется смелости и поговорит с Лаурой (но он, конечно, не наберется смелости и не поговорит с Лаурой). Вот коньяк обязательно будет, это вне всякого сомнения, и пусть все летит к черту! Видеть этих обнимающихся с криками и слезами людей! Эту как бы сорвавшуюся с цепи родню, ярмарочную карусель дешевой эротики, наводнившей перрон между наваленными чемоданами и пакетами! «Наконец-то, сколько времени мы не виделись, как ты загорела, Иветта, конечно, было такое чудное солнце, детка!» Луис готов был хоть в ком-нибудь найти сходство с Нико, он был полон желания приобщиться к этой нелепице. Скорее всего, два человека, прошедшие мимо него, прибыли из Аргентины, судя по их прическе, пиджакам, выражению самодовольства, под которым пряталось волнение оттого, что они в Париже. Один из них и правда напоминал Нико, если, конечно, искать сходства. Другой не имел ничего общего с Нико, как, собственно говоря, и первый. Вот хотя бы шея, она ведь намного толще, чем у Нико, и в поясе он куда шире. Но если все же искать сходства, ну просто для интереса, то в этом втором, который прошел мимо с единственным чемоданом в левой руке и теперь направился к выходу, было что-то общее с Нико. Он, как и Нико, левша, и у него такая же слегка сутулая спина и эта линия плеч. Должно быть, и Лаура думала также, потому что она шла за ним, не отрывая от него глаз, и на ее лице застыло знакомое ему выражение, то выражение, с которым она пробуждалась от кошмара и садилась на кровати, пристально смотря в пространство, смотря, как он это теперь хорошо понял, на того, кто удалялся, повернувшись к ней спиной, свершив месть, не имеющую названия, заставившую ее кричать и биться во сне.

Но как бы они ни искали сходства с Нико, этот человек был им незнаком: они увидели его спереди, когда он поставил чемодан на землю, чтобы найти билет и передать его служащему у выхода с перрона.

Лаура первой покинула вокзал. Он дал ей возможность удалиться и затеряться на стоянке автобуса. Сам же Луис вошел в кафе на углу площади и опустился на стул. Позже он никак не мог вспомнить, просил ли он принести ему что-нибудь выпить, не отдавала ли горечь, что теперь обжигала ему рот дешевым коньяком.

После обеда он без отдыха работал над новыми афишами. Иногда думал о том, что должен написать маме, но так ничего и не придумал до самого ухода со службы.

Он пошел домой пешком. У подъезда дома встретил консьержку и немножко поболтал с ней. Он хотел бы остаться еще, чтобы поговорить с ней или с соседями, но все спешили домой: приближался час ужина.

Луис медленно поднялся по лестнице (правда, он всегда поднимался медленно, чтобы не уставали легкие и не было кашля) и на площадке третьего этажа, прежде чем позвонить, остановился передохнуть, прислонясь к дверям и словно прислушиваясь к тому, что происходит внутри квартиры. Затем он позвонил двумя обычными короткими звонками.

— А, это ты! — сказала Лаура, как обычно подставляя ему для поцелуя холодную щеку. — Я уже подумала, что вас задержали. Мясо, должно быть, уже переварилось.

Нет, оно не переварилось, но было совершенно безвкусным. Спросил он в этот момент Лауру, зачем она ходила на вокзал, кофе или сигарета, вероятно, восстановили бы свой вкус. Но Лаура целый день не выходила из дома: она сказала это, как будто кто-то заставлял ее лгать, или ждала, что он сделает наигранно шутливое замечание по поводу сегодняшнего числа или злополучной мании мамы.

Помешивая кофе, опершись локтями на стол, он опять упустил удобный момент. Ложь Лауры уже ничего не означала. Одной больше там, где столько чужих поцелуев, где такое долгое молчание, где все полнится Нико, где в нем или в ней ничего иного, кроме Нико, не было. Почему бы (это не был вопрос, но как тут лучше выразиться) не поставить на стол третий прибор? Почему бы не вскипеть, сжать кулак и трахнуть им по этому печальному и страдальческому лицу, которое, искажаясь в дыме сигареты, то возникало, то исчезало, как между струями воды, и, казалось, постепенно наливалось ненавистью, как будто было лицом самой мамы? Как будто сам Нико находился в другой комнате или, возможно, ожидал на лестнице, прислонясь к двери, — так же как раньше сделал это он сам, — или расположился там, где всегда он был хозяином, на белом пространстве простынь. Это он (Нико) приходил сюда (на белую постель) в снах Лауры. Может быть, там он и поджидал теперь,

лежа на спине, с зажженной сигаретой, слегка покашливая, с улыбкой на лице клоуна: такое лицо было у него последние дни, когда в его венах уже не оставалось ни капли здоровой крови.

Луис перешел в другую комнату, приблизился к рабочему столу, зажег лампу. Ему не нужно было перечитывать письмо мамы для того, чтобы ответить на него так, как это следовало.

Он начал писать: «Дорогая мама». Написал: «Дорогая мама», скомкал бумагу. Написал: «Мама». Он чувствовал, что дом сжимается, как кулак. Все сузилось, все душило. Квартира была предназначена для двоих, так он думал, точно для двоих. Когда он поднял глаза (успев написать «мама»), Лаура стояла в дверях, смотря в упор на него. Луис отложил перо.

— Тебе не кажется, что он очень похудел? — сказал Луис.

Лаура сделала какое-то движение. Две блестящие струйки слез бежали по ее щекам.

— Немного, — сказала она. — Человек ведь меняется...

СЛЮНИ ДЬЯВОЛА



оди знай, как это лучше рассказать: то ли от первого лица, то ли от второго, а может, взять третье лицо множественного числа или вообще выдумывать и выдумывать без конца самые невероятные сочетания, где не разберешься, что к чему. Ну, допустим, так: «Я смотрю луна подниматься», или так: «Нам, у них глаза болит на самом дне», и особенно вот это: «Они, белокурая женщина, были облака, что по-прежнему плывут перед моими, твоими, вашими, нашими лицами...» Черт его знает!

Пожалуй, самое милое дело — пойти в бар и выпить пива, а машинка пусть себе стучит рассказ по собственному разумению (я ведь сразу пишу на машинке). Самое милое дело, ей-богу, и это не пустая болтовня, я ведь так говорю потому, что рассказ пойдет о «контаксе» (у меня «контакс» 1 : 1, 2), и вполне вероятно, что одна машина знает о другой куда больше, чем я, ты и она, блондинка у парапета и эти облака. И все же это — чепуха, и я прекрасно понимаю, что стоит мне подняться, как мой «ремингтон» застынет, окаменеет с тем удвоенным упорством, какое есть во всех неподвижных вещах, которые мы привыкли видеть в движении. Словом, я должен писать сам. Кто-то из нас должен писать, и пусть лучше я, раз уж я умер и могу быть совершенно беспристрастным. Пусть лучше я, раз мои глаза не видят ничего, кроме неба, и никто не мешает мне думать, не мешает писать (вот ползет облако с серой кромкой), не мешает рыться в собственной памяти. Пусть — я, раз уж я умер, но и жив, да-да, тут нет никакого обмана, и все со временем прояснится. Ведь надо же с чего-то начать, и я начал с того, что свершилось, с исходной точки, и в конечном счете так и следует начинать любой рассказ.

И почему, собственно, меня мучает вопрос, нужно ли вообще рассказывать об этом? Если бы мы спрашивали, зачем мы делаем то, что мы делаем, если бы человек мог внятно ответить самому себе, зачем он, к примеру, согласился пойти на званый ужин (а теперь пролетел голубь и, если не ошибаюсь, воробей), если бы он знал, почему у него щекочет в животе, как только ему расскажут хороший анекдот. Почему не терпится рассказать этот анекдот приятелям в соседнем отделе? Почему человек не может спокойно заняться работой, пока анекдот не будет рассказан? По-моему, до сих пор никто толком этого не объяснил, и лучше, пожалуй, не отягощая свой ум и совесть, поведать все, как было: ведь, по сути, никому не стыдно дышать или там надевать ботинки — это в порядке вещей. А вот когда происходит что-то особенное, ну, скажем, в ботинок залез паук или в легких слышен странный треск, точно стекло лопнуло, — тут уж каждый спешит рассказать, рассказать приятелям по работе или врачу... «Ах, доктор, когда я делаю вдох...» Рассказать, да и все тут, рассказать, лишь бы избавиться от противной щекотки в животе.

И коль скоро мы приступаем к рассказу, пусть будет хоть какое-то подобие порядка. Прежде всего надо спуститься по лестнице этого дома и попасть в седьмое ноября, которое было ровно месяц тому назад, в воскресенье. Ну что ж, спускаемся с пятого этажа, и нас встречает воскресенье и небывалое для парижской осени солнце. И, как никогда, хочется бродить по городу, смотреть по сторонам и фотографировать! (Мы ведь фотографы, то есть я — фотограф.) Я знаю, труднее всего раз и навсегда решить, как будет строиться рассказ. Об этом уже говорено, но мне ничуть не стыдно повторяться. Труднее всего потому, что тут не разберешься, кто, собственно, в роли рассказчика — я, или то, что случилось, или же то, что я теперь вижу: облака, облака, а порой — голубь... А может, я просто расскажу правду, которая останется только моей правдой, и тогда она нужна лишь мне одному, и всего лишь затем, чтоб покончить с этой противной щекоткой в животе, покончить как можно скорее — будь что будет!

Нет, надо рассказывать не спеша — все само собой уляжется. А вот если мое место займет кто-то другой, если мне нечего будет сказать, если исчезнут облака и возникнет наконец что-то совсем новое? (Ведь нельзя же, чтоб человек только и видел что облака да время от време-

ни — голубей.) А что мне поставить после все этих «если»? Как правильно закончить фразу? Но если я начну задавать вопросы — ничего не выйдет, лучше успокоиться и продолжать рассказ. Вдруг да он станет ответом хотя бы для кого-то одного, кто его прочтет!

Роберто Мишель, наполовину француз, наполовину чилиец, профессиональный переводчик, а в свободные часы — фотограф-любитель, вышел из дома номер одиннадцать, что на улице Мосье-ле-Пренс. Это было седьмого ноября нынешнего года (сейчас ползут два поменьше с серебристыми краями). Три недели подряд он переводил трактат об апелляциях, принадлежащий перу Хосе Норберто Альенде — профессора университета в Сантьяго. В Париже редко бывают ветры, но на углах ветер порой кружит, вихрится столбом и с досадой бьет в старые деревянные жалюзи, за которыми прячутся женщины и на разные лады толкуют о том, как неустойчива стала погода. А в тот день было и солнце: оседлав ветер, оно носилось по городу на радость парижским кошкам и мне — я мог гулять в свое удовольствие по набережной Сены и подумать о снимках Консьержери и Сент-Шапель. Стрелки часов приближались к десяти, и я прикинул, что в одиннадцать будет хорошее освещение, самое лучшее в осенние дни. Чтобы убить время, я побрел к острову Сен-Луи, потом двинулся по набережной Кэ д'Анжу, и взгляд мой задержался на особняке Отель-де-Лозен. Тут я, конечно, прочел любимые строчки из Аполлинера — он вспоминается мне каждый раз, когда передо мной вырастает этот дом (а лучше бы вспомнить другого поэта, но Мишель... попробуй обломай такого упрянца!). Когда вдруг как-то разом стих ветер и солнце стало в два раза больше (мне хотелось сказать — в два раза теплее, ну да особой разницы нет), я сел на парапет и наконец почувствовал, каким счастливым сделало меня это воскресное утро.

Есть много способов одолевать мучительное Ничто, и один из лучших — фотография. Но учиться фотографировать надо с детских лет, потому что без дисциплины, без хорошего глаза, эстетического воспитания и твердых пальцев — ничего не выйдет. Речь здесь вовсе не о том, чтобы под стать репортерской братии терпеливо стряпать очередные фальшивки или вовремя схватить нелепый силуэт какой-нибудь важной персоны. Это уж вопрос особый. Речь о том, что с хорошей камерой в руках просто грех, самый настоящий грех упустить короткую вспышку солнечного

лучика, рикошетом отлетевшего от старого камня, или девчонку — косы по ветру, — бегущую с булками и бутылкой молока. Мишель давно понял, что фотограф не властен смотреть на мир собственными глазами — коварная камера везде и всюду навязывает ему свою волю (а сейчас ползет большая туча, почти черная). Но Мишель знал — это уж точно, — что стоит ему выйти на улицу без «контакса», сразу придет и беззаботность, и мир вне кадра, и свет без диафрагмы и выдержки 1/250. Да вот и сейчас (что за дурацкое слово «сейчас», что за вранье!) я спокойно сидел на перилах, провожая глазами красные и черные пароходики, и мне даже в голову не приходило думать, как бы это скадрировать для хорошей фотографии, просто меня, неподвижного во времени, уносило куда-то вместе со всем, что существовало вокруг. И главное — ни ветерка!

Потом по набережной Бурбонов я дошел до самого конца острова, где у меня есть любимый уголок — милый, вернее, какой-то очень интимный сквер (интимный потому, что невелик, а не потому, что спрятан: напротив, он весь открыт реке и небу). В скверике не было никого — одна-единственная парочка и, разумеется, голуби. Может, одного из этих голубей я и вижу сейчас. Прыжком я уселся на парапет, и меня опутали, оплели лучи ноябрьского солнца, — я подставлял ему то лицо, то уши, то руки (мои перчатки лежали в кармане). У меня не было ни малейшего желания фотографировать, и я закурил, просто так, от безделья. Должно быть, тут-то мой взгляд и задержался на мальчишке.

Те, кого я сначала принял за парочку, больше походили на мать с сыном, хотя мне сразу стало ясно, что это не мать с сыном, а — парочка, парочка в том самом смысле слова, который мы имеем в виду, когда двое — он и она — стоят, прижавшись друг к другу у парапета или обнимаются на садовой скамейке. Любопытства ради я вдруг вознамерился узнать, почему паренек так взволнован, ну прямо напуганный жеребенок или заяц затравленный... То обе руки в карманах, то вскинет их к лицу одну за другой, то водит пальцами по волосам, то встанет так, то эдак. И весь он был как бы на грани бегства, и в каждом его движении проступал страх, какой-то особый, придавленный стыдом страх.

Это было настолько очевидно — в пяти метрах от меня и на острове никого, кроме нас троих, — что перепуганный мальчишка целиком завладел моим вниманием, а белоку-

рую женщину я даже не замечал на первых порах. Теперь, раздумывая обо всем, я вижу эту женщину куда лучше, чем в те минуты, когда мне открылось ее лицо, и когда я начал догадываться, что происходило с мальчиком, я надумал остаться и посмотреть, что будет дальше (она вдруг резко, точно медный флюгер, повернула голову, и возникли ее глаза, прежде всего глаза). Ветер относил в сторону слова, вернее, их шепот.

Вообще-то если я что и умею в жизни, так это смотреть, хотя смотри не смотри — во всем будет налет фальши, ибо созерцание как таковое швыряет нас без всякой подстраховки за пределы собственного «я», другое дело — обоняние или... (Ну, хватит, наш Мишель вечно перескакивает с одного на другое, только дай ему волю.) Так или иначе, если помнить об этой фальши, то смотреть можно, можно даже довериться собственным глазам; главное тут решить: ты ли смотришь, или смотрят на тебя, а потом — сорвать лишние, ненужные покровы с вещей. Штука сложная, нечего и говорить.

Мне куда больше запомнился мальчик на снимке (потом все будет понятно), чем там, у реки, а вот женщину я помню прекрасно, она так и стоит передо мной — тоненькая, стройная (два неверных, ненужных здесь слова), в меховом манто, почти черном, почти длинном, почти роскошном. Весь ветер воскресного утра растрепал ее золотистые волосы, обрамлявшие белизну и сумрачность (еще два неверных слова) ее лица. И в этой путанице волос — черные глаза, ну такие глаза, что ты перед ними один-одинешенек в целом мире. Не глаза, а два коршуна, что камнем бросаются к добыче, два прыжка в пустоту, две вспышки зеленой тины. Это я не пишу о глазах, просто мне хочется понять, вот я и сказал: «Две вспышки зеленой тины».

Справедливости ради отметим, что мальчишка был вполне прилично одет; правда, я готов поклясться, что желтые перчатки принадлежали его брату, надо думать, студенту юридического факультета или общественных наук; очень забавно торчали пальцы этих перчаток из кармана пиджака. Долгое время я не видел его лица, разве что неясные контуры профиля, отнюдь неглупого — встревоженная птица, ангел с картины Фра Филиппо¹, рисовый пудинг. Передо мной маячила спина подростка, который

¹ Фра Филиппо — итальянский художник XV—XVI вв.

вот-вот покажет один из приемов дзю-до — скорее всего, он уже дрался раза два, защищая младшую сестренку, а может, и какие-то идеи. В свои четырнадцать или даже пятнадцать лет он, наверно, жил на всем готовом у родителей, но без гроша в кармане, и всякий раз, когда заходила речь о рюмке коньяка, пачке сигарет или чашечке кофе, бедняга прятал глаза от приятелей. Вероятно, он бродил по улицам в мечтах о своих одноклассниках, о том, как бы сбегать в кино на новый фильм или купить романчик, а лучше модный галстук, а еще лучше ликер в бутылочках с желтыми и зелеными этикетками. В его доме (а это мог быть только respectable дом: обед ровно в час, на стенах пейзажи в романтической манере, полутемная прихожая и возле двери — подставка для зонтов) нудно моросило время, заставляя быть надеждой мамы, брать пример с папы, зубрить уроки, писать тетушке в Авиньон. Вот почему чуть что — улица, вот почему такое раздолье у реки (какая, однако, досада, что нет денег!). Вот почему так влечет к себе город, где особые метки на дверях, оцетинившийся кот в подворотне, кулек жареного картофеля за тридцать франков, порнографический журнальчик, сложенный вчетверо. И одиночество, словно пустота в карманах, и счастливые встречи, и тяга ко всему, что в пятнадцать лет еще не разгаданная тайна, что светится великой любовью и раскованностью, похожей на ветер и пустые улицы.

Вот такой, в общем-то совершенно заурядной, мыслилась мне жизнь этого мальчишки, который в те минуты был отторгнут от всех и вся и лишь вслушивался в слова женщины, что держала его мертвой хваткой. (Я устал твердить одно и то же, но сейчас прошли две рваные тучи. По-моему, в то утро я ни разу не взглянул на небо, и едва лишь у меня зародилось подозрение о том, что происходит между мальчиком и женщиной, я просто не мог отвести от них глаз — все смотрел и ждал, смотрел и...) Словом, мальчику было явно не по себе, и мне не стоило труда представить себе все, что здесь случилось каких-нибудь полчаса назад. Мальчишка, наверно, забрел от нечего делать на самый край острова, увидел женщину и раскрыл рот от восторга. А женщина... женщина только того и ждала, она лишь за тем и пришла к парапету. Но, может быть, вовсе не так, может, мальчик появился раньше, и она, увидев его с балкона или из окна машины, поспешила к нему навстречу, чтоб с поводом или без

повода завязать разговор, потому что знала наперед, что он, несмотря на страх и желание удрать, никуда не уйдет и, мало того, будет хорохориться и строить из себя любителя приключений, который успел повидать всякое. Конец тоже был ясен: ведь все разворачивалось на моих глазах и любой на моем месте мог запросто рассчитать дальнейший ход этой игры, вернее, потешного в своем неравенстве поединка. И вся прелесть была именно в том, что настоящее само по себе отчетливо показывало, каким окажется исход этого поединка, его развязка. Парнишка, пожалуй, сам найдет предлог для новой встречи, что-нибудь придумает, а потом побредет домой заплетающейся походкой — а ему бы уверенно, в раскачку — и спиной будет чувствовать насмешливый взгляд женщины. Но вполне возможно, что он, замороженный или от робости, не осмелится даже на такое и будет стоять как вкопанный, а женщина начнет ерошить его волосы, гладить по лицу и говорить с ним без слов, а уж там возьмет за руку и поведет к себе; хотя, как знать, быть может, в последнюю минуту, когда какая-то тень неохоты — увы! — накроет желание, он дерзнет: поцелует женщину в губы и рука его ляжет на тонкую талию... Все это могло произойти, но пока не происходило, и сидевший на парапете Мишель в предвкушении любого из финалов как-то бессознательно, машинально налаживал камеру, чтобы вовремя щелкнуть столь занятую парочку, увлеченную разговором в укромном уголке острова.

Любопытно, что эта сценка (в сущности, ничего особенного: он и она, по-разному молодые) высвечивалась каким-то тревожным светом. Мне даже подумалось, что этот свет был во мне самом и что снимки — если они получатся — раскроют совсем немудреную правду. Да, кстати: мне вдруг очень захотелось узнать, какие мысли занимали мужчину, который сидел в машине, застывшей у моста. Не следует удивляться, что я его только-только обнаружил: ведь любой человек внутри неподвижной машины исчезает до незримости, просто теряется в жалком ящике, лишенном красоты движения и риска. Но машина тем не менее стояла здесь с самого начала, нарушая, а может, напротив, завершая милый пейзаж. Машина — это ведь почти как фонарный столб или садовая скамья; то ли дело — ветер и солнечный свет: в них таится вечно новое для глаз и для кожи. И еще мальчик со своей дамой, вот они-то здесь только затем, чтоб я совсем по-другому увидел

знакомый мне остров. Может, этот с виду углубившийся в газету человек тоже следил за ними, и, может, ему, как и мне, не по нутру бессмысленное ожидание... Женщина незаметно отодвигалась в сторону и вдруг встала так, что мальчишка очутился между ней и парапетом. Я видел их в профиль. Мальчик был выше ростом, ненамного — но выше, а между тем она словно бы поднималась, нависала над ним (ее внезапный смех прутиком хлестал воздух), подавляла его одним своим присутствием, улыбкой, взмахом руки! Чего же ждать? Диафрагма — шестнадцать, и выбран кадр, где, слава богу, нет этой отвратительной машины, а есть дерево, совершенно необходимое, чтоб перебить монотонную блеклость фона.

Я поднес к глазам камеру, сделав вид, что меня вовсе не интересует эта парочка, а сам уже знал, что мне удастся поймать то нужное выражение лица, тот жест, где будет всему разгадка, знал, что схвачу жизнь на самом изломе движения, не загубив его, как это бывает на многих фотографиях, если упущена живая дробинка рассеченного времени... Мне не пришлось долго ждать. Женщина уверенно наступала, и мальчик терял последние крупинцы свободы в тисках затянувшейся и все же сладкой пытки. Мне по-прежнему рисовались возможные финалы этой истории (теперь по небу плывет одно-единственное пухлое облачко). Я мысленно видел, как эта дама приводит мальчишка к себе домой (скорее всего, квартирка на первом этаже, полным-полно кошек и пестрых подушечек), я видел его жалкое лицо, видел, как он силится скрыть свое смущение под напускной развязностью — нам, мол, это не в новинку. С закрытыми глазами (с закрытыми ли?) я отчетливо представил себе все по порядку: полушутливые поцелуи, сиреневую, да, пожалуй, сиреневую перину на кровати, ну, и женщину — она ласково отводит руки, что спешат сорвать с нее платье (все как в романах), и сама раздевает его, послушного, притихшего, — ну, поистине мать и дитя под желтоватым светом опаловой лампы. А дальше — дальше так, как это и бывает, а может, нет... кто знает, чем обернулся бы затянувшийся пролог — горопливое смятение рук, жестокие ласки, неловкость? Может, мальчику заранее приготовлен отпор и надменная улыбка, может, он оцепенеет в горьком недоумении? Может, будет одинокая и ущербная радость? Все вероятно, все вполне вероятно... Разве ищут любовника в таком юнце? Нет, эта женщина преследовала бог весть

какие цели, если уж не думать о злой игре, где все предназначено другому.

Мишель падок на литературные выкрутасы. Ему по душе нереальные ситуации, странные, логически необъяснимые герои и даже монстры, они ведь не всегда вызывают отвращение. Но тут другое: эта женщина будила фантазию и одновременно каждым своим жестом вела к тому, что было правдой. Я решил не ждать ни одной секунды — к чему пустой риск? Как сейчас помню (а при моей склонности пережевывать прошлое, я буду думать над этим очень долго) то мгновение, когда мой видеокастель схватил все — дерево, парашют, солнце. Снимок наконец был сделан! Оба сразу обернулись ко мне, но до меня не сразу дошло, что они догадались, в чем дело. Мальчик — удивленный, с неммым вопросом в глазах, а она — раздраженная донельзя; ее лицо, да что лицо, все ее тело прониклось злобой, неистовствовало от сознания того, что они — пленники крохотного фотокадра.

Я мог бы рассказать об этом гораздо подробнее. Но зачем? Женщина заявила, что никто не имеет права фотографировать посторонних без разрешения, и потребовала отдать ей пленку. Судя по выговору, она была настоящей парижанкой; ее сухой, твердый голос с каждой фразой набирал высоту и наполнялся цветом. В сущности, мне было абсолютно все равно — отдать или не отдать пленку, но ведь каждый знает, что со мной можно только добром, вот почему я сразу уперся и стал говорить, что никто и никогда не запрещал фотографировать в общественных местах, и более того: фотография всячески поощряется как частными, так и государственными организациями. Выкладывая все это, я с тайным наслаждением следил за тем, как мальчишка подается и подается назад, явно готовясь рвануть в сторону... и вот каким-то непостижимым образом он извернулся и бросился бежать. Ему, бедняге, должно быть, думалось, что он ушел вполне достойно, а на самом деле он понесся со всех ног, проскочил мимо машины и исчез, как исчезают в утреннем воздухе длинные, слетевшие с деревьев нити, которые в Аргентине называют «волоском ангела».

Но у этих паутинок есть и другое название — «слизни дьявола», и в нашего фотографа плевками полетели грубые ругательства. Надо сказать, что Мишель держался молодцом (особого труда это ему не стоило): он принимал щедрую брань с вежливой улыбкой и кланялся очень

учтиво. Когда мне совсем наскучил затянувшийся монолог о подлеце, подонке и негодяе, который лезет в чужие дела, я вдруг услышал, как хлопнула дверца машины, и увидел возле нее мужчину — он смотрел прямо на нас. Тут только меня осенило, что в этом действе у него своя роль.

Мужчина двинулся к нам, не выпуская из рук ту самую газету, которую он так старательно читал в машине. Мне особенно запомнилась его странная гримаса — такое просто нельзя забыть, — она перекашивала рот, прорезала морщинистое лицо, коверкая его нижнюю часть, а главное, металась, точно что-то живое, неподвластное, у самых губ, дергая их то справа, то слева. И все же это было окаменевшее лицо — набеленный мелом клоун, человек без единой кровинки, с иссохшей, дряблой кожей. Глаза сидели слишком глубоко, а ноздри — чрезмерно открытые, черные, чернее бровей, чернее волос, чернее черного галстука. Мужчина ступал по булыжникам с такой осторожностью, словно боялся изранить ноги; его лаковые ботинки были на очень тонкой подошве — это я тоже отлично помню, — и казалось, не уберегут от самого безобидного камешка. Не знаю почему, но я тут же слез с перил. Хоть убей, не знаю почему, но я бесповоротно решил не отдавать им пленку, не уступать требовательному голосу, в котором явно проступала тревога, вернее, страх. Женщина и паяц молча смотрели друг на друга — мы составляли убийственно невыносимый треугольник, нечто такое, что неминуемо должно сломаться, рухнуть с грохотом. Я зачем-то расхохотался им в лицо и пошел прочь, надеюсь, у меня это вышло чуть поприличнее, чем у того школьника. На мосту, там, где вровень с ним поднимаются первые дома, я оглянулся. Они стояли на том же месте, только газета валялась на земле, а женщина, прислонившись спиной к парапету, судорожно водила рукой по камням — классический и бессмысленный жест затравленного человека, который хочет спастись.

Все остальное случилось здесь и совсем недавно — в комнате на пятом этаже. Прошло несколько дней, прежде чем Мишель проявил воскресную пленку. Сент-Шапель и Консьержери получились просто прилично. Два-три пробных кадра как-то успели выветриться из моей памяти. Явная неудача — кадр с котом, который каким-то

чудом забрался на самый верх общественного писсуара. А вот и снимок, сделанный на острове,— белокурая женщина и подросток. Негатив был так хорош, что Мишель дал изображение крупным планом. Крупный план был ничуть не хуже, и он увеличил его до размеров большой афиши. В тот момент ему и в голову не пришло (зато теперь он удивляется и удивляется), что этой возни стоили лишь снимки Сент-Шапель и Консьержери. Из целой пленки его почему-то привлек лишь кадр с женщиной и подростком. Он навел увеличенное изображение прямо на стену и в первый день, поглядывая на него, вспоминал, вернее, не вспоминал, а сопоставлял погибшую реальность с воспоминанием (занятие, прямо скажем, печальное), с окаменевшим воспоминанием — им ведь становится любая фотография, в которой как будто бы все на месте, ничто не пропало, а между тем это самое Ничто и властвует над изображением. Вот женщина, вот мальчик, вот застывшее дерево над их головами и небо, такое же четкое, как каменный парапет, литые облака и камни, единые, тождественные в своей субстанции (а сейчас поползла туча: она похожа на голову грозы). Первые два дня меня вполне устраивал и сам снимок, и крупный план на стене, и я просто не отдавал себе отчета в том, что поминутно отрываюсь от перевода, чтобы еще и еще раз всмотреться в лицо женщины или в темное пятно на каменном парапете. Вот тут-то я и хлопнул себя по лбу... Ну почему мне до сих пор не приходила в голову такая простая вещь! Ведь когда мы держим фотографию прямо перед собой, наши глаза в точности повторяют положение объектива! Это такая очевидная истина, над которой люди совсем не задумываются. Сидя за пишущей машинкой, я смотрел на изображение — нас отделяло метра три, не больше,— и вот тут я и сообразил, что нахожусь в том же самом положении, какое было тогда у объектива моей камеры. Чего же лучше? Так ведь легче оценить все достоинства фотографии, хотя если смотришь по диагонали, то и тут есть свои прелести и неожиданности. Время от времени, вернее, когда мне не очень удавалось выразить на хорошем французском языке то, что на хорошем испанском языке написал Хосе Норберто Альенде, я смотрел на фотографию — порой меня притягивало лицо женщины, порой мальчик, порой мостовая, где сухой лист превосходно оттенил боковой план. Отдыхая от работы, я мысленно переносился в то утро, кото-

рым полнился снимок. Мне забавно было вспомнить, с какой запальчивостью требовала женщина отснятую пленку, каким смешным и в то же время патетичным было бегство мальчишки и как неожиданно появился этот странный человек.

В общем, я мог быть доволен собой, хотя, по совести говоря, мой уход со сцены не отличался особым пзществом. Да и если говорят, что у французов быстрая реакция, мне и самому невдомек, как это я вдруг ретировался, не сумев показать с подобающим блеском, что такое гражданские права, привилегии и прерогативы. Но с другой стороны — и это самое главное, — я помог мальчишке вовремя удрать (если мои расчеты верны, что пока еще неизвестно, хотя побег есть побег). Не желая того, я влез не в свое дело, но тем самым дал возможность перепуганному юнцу извлечь хоть какую-то пользу из своего страха. Пусть он теперь раскаивается, пусть стыдится, пусть считает себя слюнтяем, но лучше это, чем дальнейшее знакомство с женщиной, способной смотреть так, как она смотрела на него у парапета.

В Мишеле порой пробуждается пуританин, и тогда он готов думать, что непозволительно силой склонять к дурному. Значит, случайный снимок сделал свое доброе дело. Надо сказать, что я совершенно бессознательно прерывал свою работу на каждом параграфе: в те минуты я вообще не задумывался, почему меня притягивает это изображение и почему я навел его крупным планом на стену... Наверно, только так, только при подобных условиях и совершаются все роковые поступки.

Пожалуй, легкий, едва приметный трепет листьев на дереве ничуть не встревожил меня, я продолжил начатую фразу и вполне удачно закончил ее. Ничего удивительного! Наши привычки — это большой гербарий. Ведь, по сути, крупный план восемьдесят на семьдесят очень напоминает экран, на экране женщина вкрадчиво беседует с мальчиком и над их головами покачиваются ветви с сухими листьями.

Но вот руки — это уже слишком! И забавно, что я только начал переводить: *Donc, la seconde clé réside dans la nature intrinsèque des difficultés que les sociétés...*¹ — как вдруг увидел, что ладонь женщины осторож-

¹ Однако другой ключ — во внутренней природе трудностей, которые общество... (франц.)

но — палец за пальцем — сжалась в кулак. В один миг от меня ничего не осталось, разве что навсегда оборванная французская фраза, пишущая машинка на полу, заскрипевший от толчка стул и туман. Мальчик пригнул голову, как это делают вконец обессиленные боксеры в ожидании последнего удара. Он поднял воротник и еще больше стал похож на пленника, на идеальную жертву, что сама потворствует катастрофе... Рука женщины снова раскрылась, и длинные пальцы легли на щеку мальчика. Женщина что-то зашептала ему на ухо, а он, испуганный, вернее настороженный, вытягивал голову над ее плечом и поминутно оборачивался в ту сторону, где — Мишель отлично знал об этом — была машина и тот человек в серой шляпе. Они не попали в кадр, не попали, но что с того! Мужчина жил в глазах мальчишки (тут нечего и сомневаться), в словах и руках женщины, в самом присутствии этой женщины, которая, как оказалось, исполняла всего лишь роль посредника. А потом я увидел, как он подошел к ним, как взглянул на них — руки в карманах, а на лице то ли досада, то ли нетерпение, — суровый хозяин, что вот-вот свистнет разыгравшейся собаке. И я понял, если здесь уместно слово «понял», что могло произойти, что должно было произойти, что непременно произошло бы с этими людьми, если бы не мой случайный приход, который стал невольной помехой тому, что тогда затевалось и что теперь обязательно случится. И реальность была куда страшнее, чем все, что рисовало мое воображение. Эта женщина не по своей воле стояла у парапета с розовоцекимым херувимом, она не собиралась забавляться его трепетом и робостью. Настоящий хозяин ждал своего часа и верил, что все идет как надо.

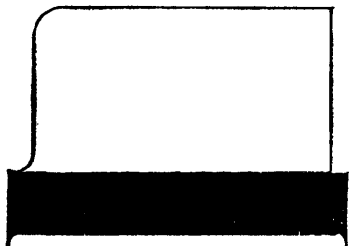
Не раз и не два бывало так, что за новыми жертвами посылали женщину... А дальше — проще простого: машина, дом — не тот, так этот, вино, запретные открытки и запоздалые слезы. И на сей раз я решительно ничего не мог сделать, решительно ничего. Оказалось, что фотография мне вовсе не помощник, а враг, она мстила в открытую — любуйся, мол, что теперь произойдет. Я сделал фотографию давно, прошли не часы, а дни, недели, мы уже далеко друг от друга, слезы раскаяния наверняка уже пролиты, остались тоска и недоумение, мы как-то вдруг поменялись местами: они жили, двигались, они решали, и решение повелевало ими, а я по эту сто-

рону, в плену у полного неведения о том, кто эти люди — белокурая женщина, мальчик и мужчина, в плену того, что я — лишь жалкая линза моей камеры, нечто застывшее, неспособное к действию. И какой жестокостью, какой жестокой насмешкой над моим бессилием было все то, что происходило на моих глазах: я видел, как смотрел мальчик на этого набеленного паяца, я знал, что он попадет в ловушку, что его соблазнят деньгами или попросту обманут. Я знал, что мне теперь не крикнуть — беги! — не выручить такой, казалось, малостью, как случайный снимок, который сразу сломал каркас, скрепленный ароматом дорогих духов и слюной восторга. Все было на волосок от свершения там, в те минуты, погруженные в особую тишину, ничуть не похожую на тишину физическую. По-моему, я крикнул, крикнул отчаянно, и понял в тот же миг, что иду прямо к ним, — шаг, полшага, еще шаг. На переднем плане плавно качало ветвями дерево, пятно на перилах вышло за кадр. Женщина обернулась, и ее лицо, тревожное, испуганное, нависло надо мной. Тогда я сдвинулся чуть в сторону, вернее, не я, а моя камера. Не теряя из виду женщину, я, то есть камера, приблизился к мужчине, а он, растерянный и обзленный, смотрел на меня черными провалами вместо глаз, смотрел так, словно хотел пригвоздить к чему-то в воздухе. Вот тут-то прямо передо мной пронеслась вне фокуса большая птица, заслонив собой весь снимок. Я мгновенно почувствовал себя счастливым и прислонился к стене — все-таки мой мальчишка удрал, исчез. Потом мне удалось увидеть его в самом фокусе: он бежал, нет, не бежал, а летел над островом — его кудри развевались по ветру — прямо к тому самому мосту. Он научился летать и сумел вернуться в город.

Второй раз случилось так, что мальчишка удрал, второй раз я пришел к нему на выручку и вернул его в непрочный рай. Дыханье у меня перехватило, и я остановился прямо перед ними. Какой смысл идти дальше — игра уже сыграна! И до чего жесток был новый кадр, где едва виднелось плечо женщины и прядь ее волос, где в упор на меня смотрел мужчина, и я видел, как дрожит его черный язык в приоткрытой яме рта... Он медленно поднял руки, протянул их к переднему плану, попав на миг в самый фокус, а потом сплошной глыбой заслонил все — и дерево и остров, а я, спрятав лицо в ладонях, расплакался как последний идиот.

Сейчас, да и все это время — ему нет начала и конца — плывет большое белое облако. Сейчас я могу говорить лишь о том, что есть облако, или два облака, или часами совершенно ясное небо. Еще есть чистый квадрат бумаги, пришпиленный булавками к стене. Первое, что я увидел, когда открыл глаза и вытер пальцами слезы, было ясное небо, а потом уж облако — оно заходило слева и медленно, словно красуясь, проплывало вправо. Бывает, что все сплошь закрашено серым, все затянуто огромной тучей, и тогда разлетаются брызги дождя. Этот дождь падает косыми черточками, а мне он словно перевернутый плач. Потом квадрат становится чистым — должно быть, от солнца — и снова вползают облака: одно, парой, а то и три сразу. И порой голуби, а бывает, один-другой, воробьи.

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ



In memoriam Ch. P.¹

«Будь верен до смерти».
Апокалипсис, 2, 10.

«O, make me a mask».
*Dylan Thomas*².

Дэдэ позвонила мне днем по телефону и сказала, что Джонни чувствует себя прескверно; я тотчас отправился в отель.

Джонни и Дэдэ недавно поселились в отеле на улице Лагранж, в номере на четвертом этаже. Взглянул я на дверь комнатухи и сразу понял: дела Джонни опять из рук вон плохи. Окошко выходит в темный каменный колодец, и средь бела дня тут не обойтись без лампы, если вздумается почитать газету или разглядеть лицо собеседника.

На улице не холодно, но Джонни, закутанный в плед, ежится в глубоком драном кресле, из которого отовсюду торчат лохмы рыжеватой пакли. Дэдэ постарела, и красное платье ей вовсе не к лицу. Такие платья годятся для ее работы, для огней рампы. В этой гостиничной комнатухе оно кажется чем-то вроде отвратительного сгустка крови.

— Друг Бруно мне верен, как горечь во рту, — сказал Джонни вместо приветствия. Подняв колени, он уткнулся в них подбородком. Дэдэ придвинула стул, и я вынул пачку сигарет «Голуаз».

У меня была припасена и фляжка рома в кармане, но я не хотел показывать ее — прежде следовало узнать, что происходит. А этому, кажется, больше всего мешала лампочка, яркий глаз, висевший на нити, засиженной мухами. Взглянув вверх раз-другой и приставив ладонь козырьком ко лбу, я спросил Дэдэ, не лучше ли погасить

¹ Памяти Ч. П. (*лат.*). Имеется в виду американский саксофонист Чарли Паркер.

² «Слепи мою маску» (*англ.*) — строка из стихотворения английского поэта Дилана Томаса (1914—1953).

лампочку и обойтись оконным светом. Джонни слушал, устремив на меня пристальный и в то же время отсутствующий взор, как кот, который не мигая смотрит в одну точку, но кажется, видит иное, что-то совсем-совсем иное. Дэдэ наконец встает и гасит свет. Теперь, в этой черно-серой мути нам легче узнать друг друга. Джонни вытащил свою длинную худую руку из-под пледа, и я ощутил ее едва уловимое тепло. Дэдэ говорит, что пойдет согреть кофе. Я обрадовался, что у них, по крайней мере, есть банка растворимого кофе. Если у человека есть банка растворимого кофе, значит, он еще не совсем погиб, еще протянет немного.

— Давненько не виделись,— сказал я Джонни.— Месяц, не меньше.

— Тебе бы только время считать,— проворчал он в ответ.— Один, второй, третий, двадцать первый. На все цепляешь номера. И она не лучше. Знаешь, почему она злая? Потому что я потерял саксофон. В общем-то, она права.

— Как же тебя угораздило?— спросил я его, прекрасно сознавая, что именно об этом-то и не следовало спрашивать Джонни.

— В метро,— сказал Джонни. — Для большей верности я его под сиденье положил. Так приятно было ехать и знать, что он у тебя под ногами и никуда не денется.

— Он опомнился уже тут, в отеле, на лестнице,— сказала Дэдэ немного хриплым голосом.— И я полетела как сумасшедшая в метро, в полицию.

По наступившему молчанию я понял, что ее старания были напрасны. Однако вдруг Джонни начинает смеяться — своим особым смехом, клопочущим где-то за зубами, за языком.

— Какой-нибудь бедняга вот будет тужиться, звук выжимать,— забормотал он.— А сакс паршивый был, самый плохой из всех; недаром Док Родригес играл на нем,— весь звук сорвал, все нутро ему покорежил. Сам-то инструмент ничего, но Родригес может и Страдивариуса искалечить при одной только настройке.

— А другого достать нельзя?

— Пытаемся,— сказала Дэдэ.— Кажется, у Рори Фрэнда есть. Самое плохое, что контракт Джонни...

— Контракт, контракт,— передразнивает Джонни.— Подумаешь, контракт. Надо играть, а игре конец,— ни сакса нет, ни денег на покупку, и ребята не богаче меня.

С ребятами-то дело обстоит не так, и мы трое это

знаем. Просто никто больше не отважится одолжить Джонни инструмент, потому что он либо теряет его, либо тут же расправляется с ним иным образом. Он забыл саксофон Луи Роллинга в Бордо, разнес в куски и растоптал ногами саксофон, купленный Дэдэ, когда был заключен контракт на гастроли в Англии. Не сосчитать, сколько инструментов он потерял, заложил или разбил вдребезги. И на всех он играл, я думаю, так, как один только бог может играть на альт-саксофоне, если предположить, что на небе лиры и флейты уже не в ходу.

— Когда надо начинать, Джонни?

— Не знаю. Может, сегодня. А, Дэ?

— Нет, послезавтра.

— Все знают и дни и часы, все, кроме меня, — бурчит Джонни, закутываясь в плед по самые уши. — Головой бы поклялся, что играть мне сегодня вечером и скоро идти на репетицию.

— О чем толковать, — сказала Дэдэ. — Все равно у тебя нет саксофона.

— Как о чем толковать? Есть о чем. Послезавтра — это после завтра, а завтра — это после сегодня. И даже «сегодня» еще нескоро кончится, после «сейчас», когда я вот болтаю с моим другом Бруно и думаю: ах, забыть бы о времени да вышить чего-нибудь горяченького.

— Вода уже закипает, подожди немного.

— Я не про кипяток, — говорит Джонни.

Тут-то я и вытаскиваю бутылку рома, и в комнате будто вспыхивает свет, потому что Джонни в изумлении разинул рот и его зубы белой молнией сверкнули в полутьме; даже Дэдэ невольно улыбнулась, увидев его удивление и восторг. Во всяком случае, кофе с ромом — вещь хорошая, и мы почувствовали себя гораздо лучше после второго глотка и выкуренной сигареты. Я уже давно заметил, что Джонни — не вдруг, а постепенно — уходит иногда в себя и произносит странные слова о времени. Сколько я его знаю, он вечно терзается этой проблемой. Я видел очень немного людей, донимающих себя вопросом, что такое время. У него же это просто мания, причем самая страшная среди множества его других маний. Но он так преподносит свою идею, излагает ее так занятно, что немногие способны с ним спорить. Я вспомнил о репетиции перед грамзаписью еще там, в Цинциннати, задолго до переезда в Париж, году в сорок девятом или пятидесятом. В те дни Джонни был в великолеп-

ной форме, и я специально пошел на репетицию послушать его и заодно Майлза Дэвиса. Всем хотелось играть, все были в настроении, хорошо одеты (об этом я, возможно, вспоминаю по контрастной ассоциации, видя, каким грязным и обшарпанным ходит теперь Джонни), все играли с наслаждением, без всяких срывов и спешки, и звукооператор за стеклом махал руками от удовольствия, как ликующий бабуин. И в тот самый момент, когда Джонни был словно одержим неистовой радостью, он вдруг перестал играть и, со злостью ткнув кулаком в воздух, сказал: «Это я уже играю *завтра*», — и ребятам пришлось оборвать музыку на полупhrase, только двое или трое продолжали тихо побрякивать, как поезд, который вот-вот остановится, а Джонни бил себя кулаком по лбу и повторял: «Ведь это я уже сыграл завтра, Майлз, жутко, Майлз, но это я сыграл уже *завтра*». И никто не мог разубедить его, и с этой минуты все испортилось: Джонни играл вяло, желая поскорей уйти (чтобы еще больше накуриться марихуаны, сказал звукооператор, полумертвый от ярости), и когда я увидел, как он уходит, пошатываясь, с пепельно-серым лицом, я спросил себя, сколько это еще может продлиться.

— Думаю, надо позвать доктора Бернара, — говорит Дэдэ, искоса поглядывая на Джонни, пьющего маленькими глотками ром. — Тебя знобит, и ты ничего не ешь.

— Доктор Бернар — зануда и болван, — говорит Джонни, облизывая стакан. — Он пропишет мне аспирин, а потом скажет, что ему очень нравится джаз, например, Рэй Нобле. Знаешь, Бруно, будь у меня сакс, я встретил бы его такой музыкой, что он мигом слетел бы с четвертого этажа, отщелкав задницей ступеньки.

— Во всяком случае, аспирин тебе не помешает, — заметил я, покосившись на Дэдэ. — Если хочешь, я позволю ему по дороге, и Дэдэ не придется спускаться к автомату. Да, а вот контракт... Если ты начинаешь послезавтра, я думаю, что-нибудь можно еще сделать. Я попробую выпросить саксофон у Рори Фрэнда. На худой конец... Видишь ли, ты должен вести себя разумнее, Джонни.

— Сегодня — нет, — говорит Джонни, глядя на бутылку рома. — Завтра. Когда у меня будет сакс. Поэтому сейчас ни к чему болтать об этом. Бруно, я все больше понимаю, что время... Мне кажется, музыка помогает немного разобраться в этом фокусе. Нет, даже не разо-

браться, не понять, — честно говоря, я тут ничего не понимаю. Только чувствую, — творится что-то странное. Как во сне, — знаешь? — когда кажется, что катишься в тартарары и сердце уже замирает от страха, хотя, в общем-то, и боязни настоящей нет, и вдруг опять все переворачивается вверх дном, и ты уже лежишь рядом с симпатичной девчонкой, и все удивительно хорошо.

Дэдэ моет чашки и стаканы в углу комнаты. Я вижу, что у них в каморке даже нет водопровода; смотрю на таз с розовыми цветами и кувшин, напоминающий мумию какой-то птицы. А Джонни продолжает говорить, прикрыв рот пледом; и он тоже похож на мумию: колени под самым подбородком, лицо черное, гладкое, в мелких капельках пота от рома и жара.

— Я о таком кое-что читал, Бруно. Диковинная штука, в общем-то, трудно разобраться... все-таки музыка помогает, знаешь? Нет, не понять помогает, — честно говоря, я тут ничего не понимаю. — Он стучит по своей голове костлявым кулаком. Звук гулко отдается, как в пустом кокосовом орехе.

— Ничего нет внутри, Бруно, ровным счетом ничего. Не думает и не понимает ничего. Да это мне и незачем, скажу тебе по правде. Я начинаю что-то понимать, только глядя назад, и чем дальше все уходит, тем понятнее становится. Но это еще не значит понимать, как надо, ясное дело.

— У тебя повышается температура, — говорит Дэдэ из глубины комнаты.

— Да замолчи ты. Верно, верно, Бруно. Я никогда ни о чем не думаю, и вдруг меня осеняет, что я все-таки «думал», но ведь это как прошлогодний снег, а? Какого черта вспоминать о прошлогоднем снеге, о том, что кто-то о чем-то «думал»? Какая теперь важность — сам я «думал» или кто другой. Да, вроде бы и не я, да. Я просто делаю то, о чем когда-то думал, но всегда потом, позже, — вот это меня и мучит. Ох, трудно мне, так трудно понять... Нет ли там еще глоточка?

Я выжал в стакан последние капли рома, — как раз в ту минуту, когда Дэдэ снова зажгла свет; в комнате уже почти ничего не видно. Джонни обливается потом, но продолжает кутаться в плед и иногда вздрагивает так, что трещит кресло.

— Я кое в чем разобрался еще мальчишкой, сразу как научился играть на саксе. Дома у меня всегда творилось

черт знает что, только и говорилось о долгах да ипотеках. Ты не знаешь, что такое ипотека? Наверно, страшная штука,— моя старуха рвала на себе волосы, как только старик заговаривал про ипотеку, и дело кончалось дракой. Было мне лет тринадцать... да ты уже слышал не раз.

Еще бы: и слышать слышал, и постарался описать детально и правдиво в своей книге о Джонни.

— Поэтому дома время никогда не текло, понимаешь? Одна ссора за другой, даже не пожрешь. А в утешение — молитвы. Ты и не представишь себе всего этого. Когда учитель раздобыл мне сакс — увидел бы какой, со смеху бы помер,— мне показалось, что тут же все прояснилось. Музыка вырывала меня из времени... Нет, не так говорю. Если хочешь знать,— на самом деле я чувствую, что именно музыка окунула меня в поток времени. Но только надо понять, что это время совсем не то, которое... Ну, в котором все мы плывем, скажем так.

С тех самых пор, как я познакомился с галлюцинациями Джонни и всех, кто вел такую же жизнь, как он, я слушаю терпеливо, но не слишком вникаю в его рассуждения. Меня больше интересует, например, у кого он достает наркотики в Париже. Надо будет порасспросить Дэдэ и, видимо, пресечь ее потворство прихотям Джонни. Иначе он долго не продержится. Наркотики и нищета не попутчики. Жаль, что вот так пропадает музыка, десятки грампластинок, где Джонни мог бы ее запечатлеть — свой удивительный дар, которым не обладает ни один его коллега по джазу. «Это я играю уже *завтра*» вдруг раскрыло мне свой глубочайший смысл, потому что Джонни всегда играет «завтра», а все сыгранное им тотчас остается позади, в этом самом «сегодня», из которого он легко вырывается с первыми же звуками своей музыки.

Я считаю себя достаточно трезвым джазовым критиком, чтобы определить границы собственных возможностей, и отдаю себе отчет в том, что уровень моих критериев ниже тех высоких сфер, в которых бедняга Джонни пытается одолеть одному ему видимые преграды, извергая невнятные слова, стоны, рыдания, вопли ярости. Он плюет на то, что я считаю его гением, и отнюдь не кичится тем, что его игра намного превосходит игру его товарищей. Факт при- скорбный, но приходится согласиться, что ему предназначено быть истоком своего сакса, а мой незавидный жизненный удел — быть концом его «трубы». Он — это рот, а я — ухо, чтобы не сказать, что он — рот, а я... Вся-

ная критика, увы, — это скучный финал того, что начиналось как ликование, как неумемное желание кусать и скрежетать зубами от наслаждения. И рот снова раскрывается, большой язык Джонни смачно слизывает с губы готовую сорваться каплю слюны. Руки рисуют в воздухе замысловатую фигуру.

— Бруно, если бы ты смог когда-нибудь про это написать... Не для меня, — понимаешь? — мне-то наплевать. Но это было бы прекрасно. Я говорил тебе, что когда еще мальчишкой начал играть, я понял, что время не стоит на месте. Я как-то сказал об этом Джиму, а он мне ответил, что все люди чувствуют то же самое, и если кто отрывается от времени... Он так и сказал: если кто отрывается от времени. Нет, я не отрываюсь, когда играю. Я только перемещаюсь в нем. Вот как в лифте, — ты разговариваешь в лифте с людьми и ничего особенного не замечаешь, а из-под ног уходит первый этаж, десятый, двадцать первый, и весь город остается где-то внизу, и ты кончаешь фразу, которую начал при входе, а между первым словом и последним — пятьдесят два этажа. Я почувствовал, когда научился играть, что вхожу в лифт, но только, так сказать, в лифт времени. Не думай, что я забывал об ипотеках или о молитвах. Только в такие минуты ипотеки и молитвы все равно как одежда, которую скинул; я знаю, одежда-то в шкафу, но в эту минуту — говори не говори — она для меня не существует. Одежда существует, когда я ее надеваю; ипотеки и молитвы начинали существовать, когда я кончал играть и входила старуха, вся взлохмаченная, и скулила — у нее, мол, голова трещит от этой «черт-ее-дери-музыки».

Дэд приносит еще чашечку кофе, но Джонни грустно глядит в свой пустой стакан.

— Время — сложная штука, оно меня всегда сбивает с толку. Все-таки до меня постепенно доходит, что время — это не чемодан, который чем попало набивается. Точней сказать, дело не в разной начинке, дело в количестве, только в количестве, да. Вон, видишь мой чемодан, Бруно. В нем два костюма и две пары ботинок. Теперь представь себе, что ты все это вытряхнул, а потом снова туда засовываешь оба костюма и две пары ботинок и вдруг видишь, что там помещается всего один костюм и одна пара ботинок. Нет, лучше не так. Лучше, когда чувствуешь, что можешь втиснуть в чемодан целый магазин, сотни, тысячи костюмов, как я иногда втискиваю всю свою

музыку в то маленькое время, когда играю. Музыку и все, о чем думаю, когда еду в метро.

— Когда едешь в метро?

— Да-да, вот именно, — говорит, хитро улыбаясь, Джонни. — Метро — великое изобретение, Бруно. Когда едешь в метро, хорошо знаешь, чем можно набить чемодан. Нет, поэтому-то я не мог потерять сакс в метро, не-е-ет...

Он давится смехом, кашляет, и Дэдэ с беспокойством поднимает на него глаза. Но он отмахивается, хохочет, захлебываясь кашлем и дергаясь под пледом, как шимпанзе. По его щекам текут слезы, он слизывает их с губ и смеется, смеется.

— Ладно, хватит об этом, — говорит он, немного успокоившись. — Потерял, и конец. Но метро сослужило мне службу, я раскусил фокус с чемоданом. Видишь ли, это странно, очень, но все вокруг — резиновое, я чувствую, я не могу отделаться от этого чувства. Все вокруг резина, малыш. Вроде бы твердое, а смотришь — резиновое... — Джонни задумывается, собираясь с мыслями. — Только растягивается не сразу, — добавляет он неожиданно.

Я удивленно и одобрительно киваю. Браво, Джонни, а еще говорит, что не способен мыслить. Вот так Джонни! Теперь я действительно заинтересовался тем, что последует дальше, но он, узрев мое любопытство, смотрит на меня и плутовски посмеивается:

— Значит, думаешь, я смогу достать сакс и играть послезавтра, Бруно?

— Да, но надо вести себя разумнее.

— Ясное дело — разумнее.

— Контракт на целый месяц, — поясняет бедняжка Дэдэ. — Две недели в ресторане Реми, два концерта и две грамзаписи. Мы могли бы здорово поправить дела.

— Контракт на целый месяц, — передразнивает Джонни, торжественно воздевая руки. — В ресторане Реми, два концерта и две грамзаписи. Бе-бата-боп-боп-боп-дррр... А мне хочется пить, только пить, пить, пить. И охота курить, курить и курить. Больше всего охота курить.

Я протягиваю ему пачку «Голуаз», хотя прекрасно знаю, что он думает о наркотике. Наступил вечер, в переулке мельтешат пешеходы, слышится арабская речь, пение. Дэдэ ушла, наверное, что-нибудь купить на ужин. Я чувствую руку Джонни на своем колене.

— Она хорошая девчонка, веришь? Но с меня хватит. Я ее больше не люблю, просто терпеть не могу. Она меня

еще волнует иногда, она умеет любить у-ух как...— Он сложил пальцы щепоточкой, по-итальянски.— Но мне надо оторваться от нее, вернуться в Нью-Йорк. Мне обязательно надо вернуться в Нью-Йорк, Бруно.

— А зачем? Там тебе было куда хуже, чем здесь. Я говорю не о работе, а вообще о твоей жизни. Здесь, мне кажется, у тебя больше друзей.

— Да, ты, и маркиза, и ребята из клуба... Ты никогда не пробовал любить маркизу, Бруно?

— Нет.

— О, это, знаешь... Но я ведь рассказывал тебе о метро, а мы почему-то заговорили о другом. Метро — великое изобретение, Бруно. Однажды я почувствовал себя как-то странно в метро, потом все забылось... Но дня через два или три снова повторилось. И наконец, я понял. Это легко объяснить, знаешь, легко потому, что в действительности это не настоящее объяснение. Настоящего объяснения попросту не найти. Надо ехать в метро и ждать, пока случится, хотя мне кажется, что такое случается только со мной. Да, вроде бы так. Значит, ты правда никогда не пробовал любить маркизу? Тебе надо попросить ее встать на золоченый табурет в углу спальни, рядом с очень красивой лампой, и тогда... Ба, эта уже вернулась.

Даже входит со свертком и смотрит на Джонни.

— У тебя повысилась температура. Я звонила доктору, он придет в десять. Говорит, чтобы ты лежал спокойно.

— Ладно, согласен, но сперва я расскажу Бруно о метро... И вот однажды мне стало ясно, что происходит. Я подумал о своей старухе, потом о Лэн, о ребятах, и, конечно, тут же мне представилось, будто я очутился в своем квартале и вижу лица ребят, какими они тогда были. Нет, не то чтобы я думал; я ведь тебе сто раз говорил, что никогда не думаю. Будто просто стою на углу и вижу, как мимо движется то, о чем я вроде бы думаю, но я вовсе не думаю о том, что вижу. Понимаешь? Джим говорит: все-то мы на один лад, и вообще (так он говорит) своей головой никто не думает. Ладно, пусть так,— сейчас речь не о том. Я сел в метро на станции Сен-Мишель и тут же стал думать о Лэн, о ребятах и увидел свой квартал. Как сел, так сразу стал думать о них. Но в то же время я соображал, что я в метро и что почти через минуту оказался уже на станции Одеон, замечал, как люди входят и выходят. И я снова стал думать о Лэн и увидел свою старуху,— вот она идет за покупками, а потом уви-

дел их всех вместе, был с ними,— просто чудеса, я давным-давно такого не испытывал. От воспоминаний меня всегда тошнит, но в тот раз мне приятно было думать о ребятах, видеть их. Если я стану рассказывать тебе обо всем, что видел, ты не поверишь — прошла-то, наверное, всего минута, а ведь все до мелочей представилось. Вот тебе только одна вещь, для примера. Видел я Лэн в зеленом платье, которое она надевала, когда шла в клуб «Тридцать три», где я играл вместе с Хэмпом. Я видел ее платье, с лентами, с бантом, с какой-то красивой отделкой на боку и воротник... Не сразу все, а словно я ходил вокруг платья Лэн и шаг за шагом оглядывал. Потом смотрел в лицо Лэн и на ребят, потом вспомнил о Майке, который жил рядом в комнате,— как Майк мне рассказывал истории о диких конях Колорадо: сам он работал на ранчо и выпендривался, как все ковбои...

— Джонни,— одергивает его Дэдэ откуда-то из угла.

— Нет, ты представь, ведь я рассказал тебе только самую малость того, о чем думал и что видел. Сколько времени я болтал?

— Не знаю, вероятно, минуты две.

— Вероятно, минуты две,— задумчиво повторяет Джонни.— За две минуты успел рассказать тебе самую малость. А если бы я рассказал тебе все, что творили перед моими глазами ребята, и как Хэмп играл «Берегись, дорогая мама», и я слышал каждую ноту, понимаешь, каждую ноту, а Хэмп не из тех, кто скоро сдает, и если бы я тебе рассказал, что слышал тоже, как моя старуха читала длинную молитву, в которой почему-то поминала кочаны капусты и, чудится, просила сжалиться над моим стариком, и надо мною, и все поминала какие-то кочаны... Так вот, если бы я подробно рассказал обо всем этом, прошло бы куда больше двух минут, а, Бруно?

— Если ты действительно слышал и видел их всех, должно было пройти не менее четверти часа,— говорю я, смеясь.

— Не менее четверти часа, а, Бруно! Тогда ты мне объясни, как могло быть, что вагон метро вдруг остановился и я оторвался от своей старухи, от Лэн и всего прочего и увидел, что мы уже на Сен-Жермен-де-Прэ, до которой от Одеона точно полторы минуты езды.

Я никогда не придаю особого значения болтовне Джонни, но тут под его пристальным взглядом у меня по спине пробежал холодок.

— Только полторы минуты твоего времени или вон ее времени,— укоризненно говорит Джонни.— Или времени метро и моих часов, будь они прокляты. Тогда как же может быть, чтобы я думал четверть часа, а прошло всего полторы минуты? Клянусь тебе, в тот день я не выкурил ни крохи, ни листочка,— добавляет он тоном извиняющегося ребенка.— Потом со мной еще раз такое приключилось, а теперь везде и всюду бывает. Но,— повторяет он упрямо,— только в метро я могу это осознать, потому что ехать в метро — все равно как сидеть в самих часах. Станции — это минуты, понимаешь, это наше время, обыкновенное время. Но я знаю, что есть и другое время, и я стараюсь понять, понять...

Он закрывает лицо руками, его трясет. Я бы с удовольствием удалился, но не знаю, как лучше распрощаться, чтобы Джонни не обиделся, потому что он страшно чувствителен к словам и поступкам друзей. Если его перебить, ему станет совсем плохо,— ведь с той же Дэдэ он не будет говорить о подобных вещах.

— Бруно, если бы я только мог жить, как в эти моменты или как в музыке, когда время тоже идет по-другому... Ты понимаешь, сколько всего могло бы произойти за полторы минуты... Тогда люди, не только я, а и ты, и она, и все парни могли бы жить сотни лет, если бы мы нашли такое «другое» время,— мы могли бы прожить в тысячу раз дольше, чем живем, глядя на эти чертовы часы, идиотски считая минуты и завтрашние дни...

Я изображаю на лице понимающую улыбку, чувствую, что он в чем-то прав, но что все его домыслы и те истины, которые я улавливаю в его домыслах, улетучатся без следа, едва я окажусь на улице и окунусь в повседневное житье-бытье. В данный момент, однако, я уверен, что Джонни говорит нечто рожденное не только его полубредовым состоянием, не утратой чувства реальности, которая оборачивается для него какой-то пародией на реальность и воспринимается им как надежда на лучшее. Все, о чем Джонни говорит мне в такие минуты (а он уже пять лет говорит мне и другим подобные вещи), невозможно слушать, не думая о том, что надо как можно скорее забыть услышанное. И едва оказываешься на улице, едва твое собственное сознание, а не голос Джонни повторяет эти слова, как они сливаются в наркотически-бредовый бубнеж, в приевшиеся рассуждения (ибо и немало других говорит нечто похожее, то и дело слышишь подобные

мудрствования) и чудо-откровение представляется ересью. По крайней мере, мне кажется, будто Джонни вдоволь поиздевался надо мной. Но это обычно происходит позже, не тогда, когда Джонни об этом говорит: в тот момент я улавливаю какой-то новый смысл, что-то оригинальное в его словах; вижу искру, готовую вспыхнуть пламенем, или, лучше сказать, чувствую, что нужно что-то разбить вдребезги, расколоть в щепы, как полено, в которое вгоняют клин, обрушивая на него кувалду. Однако у Джонни уже нет сил что-нибудь разбить, а я даже не знаю, какая нужна кувалда, чтобы вогнать клин, о котором тоже не имею ни малейшего представления.

Поэтому я наконец встаю и направляюсь к двери, но тут происходит один из эксцессов, которые не могут не происходить в жизни — этот и затем другой, похожий. Итак, я прощаюсь с Дэдэ, поворачиваясь спиной к Джонни, и вдруг чувствую — что-то случилось: я вижу это в глазах Дэдэ, быстро обертываюсь (так как, наверно, немного побаиваюсь Джонни, этого «ангела божьего», который мне что брат; этого брата, который для меня «ангел божий») и вижу Джонни, рывком скинувшего с себя плед, я вижу его совершенно голого. Он сидит, упершись ногами в сиденье и уткнув в колени подбородок, трясется всем телом, но хохочет, абсолютно голый в ободранном кресле.

— Становится жарковато, — фыркает Джонни. — Бруно, гляди, какой у меня шрам под ребром, красота.

— Прикройся, — говорит Дэдэ, растерявшись, не зная, что делать.

Мы знакомы друг с другом давно, и нагой мужчина — не более чем нагой мужчина, но все-таки Дэдэ смущена, и я тоже не знаю, куда глядеть, чтобы не показать, что поведение Джонни меня шокирует. А он это видит и смеется во всю свою огромную пасть, не прикрывая атрибутов мужской наготы, не меняя непристойной позы — точь-в-точь обезьяна в зоопарке. Кожа у него на бедрах пестрит какими-то странными пятнами, и мне становится совсем тошно. Дэдэ хватает плед и поспешно кутает в него Джонни, а он смеется и кажется очень довольным. Я неопределенно киваю, обещаю вскоре зайти, и Дэдэ выводит меня на лестничную площадку, прикрыв за собой дверь, чтобы Джонни не слышал ее слов.

— Он все время психует, как мы вернулись из турне по Бельгии. Он так хорошо играл везде, и я была так счастлива.

— Интересно, откуда он мог достать наркотик,— говорю я, глядя ей прямо в глаза.

— Не знаю. Вино и коньяк все время пьет, запоем. Но и курит тоже, хотя, наверное, меньше, чем там...

Там — это Балтимор и Нью-Йорк, а затем — три месяца в психиатрической лечебнице Бельвю и долгое пребывание в Камарильо.

— Джонни действительно хорошо играл в Бельгии, Дэдэ?

— Да, Бруно, мне кажется, как никогда. Публика редела от восторга, ребята из ансамбля мне сами говорили. Иногда вдруг находило на Джонни, как это бывает с ним, но, к счастью, не на эстраде. Я уже думала... но, сами видите, как сейчас. Хуже быть не может.

— В Нью-Йорке было хуже. Вы не знали его в те годы.

Дэдэ не глупа, но ни одной женщине не нравится, если с ней говорят о той поре жизни ее мужчины, когда он еще не принадлежал ей, хотя теперь и приходится терпеть его выходки, а прошлое не более чем слова. Не знаю, как сказать ей, к тому же у меня нет к ней особого доверия, но наконец решаюсь.

— Вы, наверное, сейчас совсем без денег?

— У нас есть контракт, послезавтра начнем,— говорит Дэдэ.

— Вы думаете, он сможет записываться и выступать перед публикой?

— О, конечно,— говорит Дэдэ, немного удивленно,— Джонни будет играть бесподобно, если доктор Бернар сойдет ему гриппозную лихорадку. Все дело в саксофоне.

— Я постараюсь помочь. А это вам, Дэдэ. Только... Лучше, чтобы Джонни не знал...

— Бруно...

Я махнул рукой и зашагал вниз по лестнице, чтобы избежать ненужных слов и благодарственных излияний Дэдэ. На расстоянии четырех или пяти ступенек гораздо легче было сказать ей то, что надо:

— Ни под каким видом нельзя ему курить перед первым концертом. Дайте ему немного выпить, но не давайте денег на другое.

Дэдэ ничего не ответила, но я видел, как ее руки комкали, комкали десятифранковые бумажки, наконец совсем исчезнувшие в кулаке. По крайней мере, я теперь уверен, что сама Дэдэ не курит. Она может быть только соучастницей — из-за страха или любви. Если Джонни грохнется

на колени, как тогда при мне в Чикаго, и будет ее молить, рыдая... Ну, что делать; риск, конечно, есть, как всегда с Джонни, но все-таки они теперь имеют деньги на еду и лекарства.

На улице я поднял воротник пальто — стал накрапывать дождь — и так глубоко вдохнул свежий воздух, что кольнуло под ребрами; мне показалось, что весь Париж пахнет чистотой и печеным хлебом. Только тогда до меня дошло, как пахнет каморка Джонни, тело Джонни, вспотевшее под пледом. Я зашел в кафе сполоснуть коньяком рот, а заодно и голову, где вертятся, вертятся слова Джонни, его рассказы, его видения, которых я не вижу и, признаться, не хочу видеть. Заставил себя думать о послезавтрашнем дне, и пришло успокоение, словно прочный мостик перекинулся от буфетной стойки к будущему.

Если в чем-нибудь сомневаешься, самое лучшее уподобиться поплавку: нырнул и узнал, кто дергает леску. Двумя-тремя днями позже я подумал, что надо «нырнуть» и узнать, не маркиза ли достает марихуану Джонни Картеру. И я отправляюсь в студию на Монпарнас. Маркиза — в самом деле настоящая маркиза и имеет кучу денег, которые отваливает ей маркиз, хотя они давно разошлись из-за ее пристрастия к марихуане. Дружба маркизы с Джонни началась еще в Нью-Йорке, возможно, в том самом году, когда Джонни одним прекрасным утром проснулся знаменитостью — всего лишь потому, что кто-то дал ему возможность объединить четырех или пятерых ребят, влюбленных в его манеру игры, и Джонни впервые смог развернуться во всю свою силу и потряс публику. Я не собираюсь сейчас заниматься анализом джазовой музыки; кто ею интересуется, может прочитать мою книгу о Джонни и новом послевоенном стиле, но с уверенностью могу сказать, что в сорок восьмом году — в общем, до пятидесятого — произошел словно музыкальный взрыв, но взрыв холодный, тихий, взрыв, при котором все вещи остались на своих местах и не было ни криков, ни осколков, однако зазорность привычки разбилась на тысячи кусков и даже для защитников старого (среди оркестрантов и публики) признание каких-то своих новых ощущений было только вопросом самолюбия. Потому что после пассажей Джонни уже невозможно слушать прежних джазистов и верить в их несравненное совершенство; надо только решиться на

своего рода публичное отречение от старого, называемое чувством современности, но не преминуть отметить, что кое-кто из этих музыкантов был великолепен и останется таковым «для своего времени». Джонни же перевернул джаз, как рука переворачивает страницу, — и ничего не поделаешь.

Маркиза, у которой чутье к настоящей музыке, как у борзой на охоте, всегда невероятно восхищалась Джонни и его товарищами по ансамблю. Представляю себе, сколько долларов она им подкинула в дни существования клуба «Тридцать три», когда большинство критиков протестовали против грамзаписи Джонни и применяли для оценки его джаза давно прогнившие критерии. Возможно, именно в ту пору маркиза стала иногда проводить ночи с Джонни и покуривать с ним. Часто видел я их вместе перед сеансами записи или во время антрактов в концертах, и Джонни выглядел безмерно счастливым рядом с маркизой, хотя в партере или дома его ждали Лэн и ребята. Но Джонни просто не понимал, зачем ждать попусту, и вообще не представлял себе, что кто-то может ждать его. Выбранный им способ отделаться от Лэн достаточно для него характерен. Я видел открытку, которую он послал ей из Рима после четырех месяцев отсутствия (он удрал самолетом с двумя другими музыкантами, не сказав Лэн ни слова). На открытке изображены Ромул и Рэм, которые всегда очень забавляли Джонни (одна из его пластинок так и называется), и написано: «Брожу один среди множества любви», — строка из поэмы Дилана Томаса, которым Джонни зачитывался. Поверенные Джонни в Нью-Йорке устроили так, чтобы часть его доходов переводилась Лэн, которая сама скоро поняла, что сделала неплохое дело, развязавшись с Джонни. Кто-то мне сказал, что маркиза тоже пересылала деньги Лэн, и не подозревавшей, откуда они берутся. Это меня не удивляет, потому что маркиза добра до безрассудства и относится к жизни, почти как к пирожкам, которые печет в своей студии, когда у нее собираются толпы друзей, или, точнее, как к своего рода одному вечному пирогу, который она начинает всякой всячиной и от которого отламывает кусочки, наделяя ими страждущих...

Я застал у маркизы Марселя Гавоти и Арта Букайя; они как раз говорили о записях, которые сделал Джонни накануне вечером. Все бросились ко мне, словно сам архангел явился пред ними; маркиза целовала меня до изнеможения, а парни жали мне руки так, как это могут де-

лать только контрабасист и баритонист. Я нашел убежище за креслом, с трудом вырвавшись из их объятий,— оказывается, они узнали, что я достал великолепный саксофон и Джонни смог уже записать четыре или пять своих лучших композиций. Маркиза тут же заявляет, что Джонни — мерзкий тип, и так как он нахамил ей (о причине она умолчала), этот мерзкий тип прекрасно знает, что, только попросив у нее, у маркизы, прощение в надлежащей форме, он мог бы получить чек на покупку саксофона. Понятно, Джонни не пожелал просить прощения после своего приезда в Париж — ссора, кажется, произошла в Лондоне месяца два назад,— и потому никто не знал, что он потерял свой проклятый сакс в метро, и т. д. и т. д. Когда маркиза раздражается обвинениями, невольно думается, не выделяет ли ее язык штуки в стиле Дицци, ибо импровизации следуют одна за другой в самых неожиданных регистрах. Наконец маркиза в качестве финального аккорда хлопнула себя по ляжкам и залилась таким истерическим смехом, словно кто-то вознамерился зацекотать ее до смерти. Арт Букайя пользуется моментом и подробно рассказывает мне о вчерашнем сеансе грамзаписи, который я пропустил по вине жены, схватившей воспаление легких.

— Тика вон подтвердит,— говорит Арт, кивая на маркизу, которая продолжает корчиться от смеха.— Бруно, ты представить себе не можешь, что было, пока не прослушаешь пластинку. Если бог сам бродил вчера по грешной земле, то — верь не верь — он забрел в эту проклятую студию, где мы, кстати сказать, просто сдыхали от дьявольской жары. Ты помнишь «Плакучую иву», Марсель?

— Еще бы не помнить,— говорит Марсель.— Дурацкий вопрос, помню ли я. С головы до пят исхлестала меня эта «Ива».

Тика подала нам highballs¹, и мы приготовились приятно поболтать. В общем-то, мы мало говорили о вчерашней грамзаписи, потому что любому музыканту известно, как трудно говорить о таких вещах, но немного, услышанное мной, вернуло мне некоторую надежду, и я подумал, что, может быть, мой саксофон принесет удачу Джонни. Однако я наслушался и таких любопытных историй, которые способны изрядно охладить эту надежду,— Джонни, например, в паузах стащил с себя, один за другим, оба ботинка и разгуливал босиком по студии. Но зато помирил-

¹ Виски со льдом (англ.).

ся с маркизой и обещал зайти в студию опрокинуть стопку перед своим сегодняшним вечерним выступлением.

— Ты знаешь девочку, которая сейчас у Джонни? — интересуется Тика.

Я описываю ее весьма кратко, но Марсель добавляет — на французский манер — всякого рода детали и двусмысленности, которые песказанно веселят маркизу. О наркотике никто не заикается, но я так насторожен, что кажется, улавливаю его запах в самом воздухе студии Тики, не говоря о том, что у Тики та же манера смеяться, какую я нередко замечал у Джонни и у Арта, та, что выдает наркоманов. Я спрашиваю себя, как мог Джонни добывать марихуану, если был в ссоре с маркизой; мое доверие к Дэдэ снова лопается, как мыльный пузырь, если я вообще питал к ней доверие. В конце концов все они друг другу под стать.

Я, правда, немного завидую схожести, которая их роднит, с такой легкостью превращает в сообщников. С моей, пуританской точки зрения (которая вовсе не секрет; каждому, кто меня знает, известно мое отвращение к аморальным занятиям), они представляются мне большими ангелами, раздражающими своей беспечностью, но платящими за заботу о себе такими вещами, как грампластинки Джонни или великодушная щедрость маркизы. Я помалкиваю, но мне хотелось бы заставить себя сказать вслух: да, я вам завидую, завидую Джонни, тому потустороннему Джонни, без которого никто не узнал бы, что такое та, другая сторона. Я завидую всему, кроме его терзаний, которых никто никогда не поймет, но даже в его терзаниях у него бывают озарения, которых мне не дано. Я завидую Джонни, и в то же время меня разбирает зло, что он губит себя, глупо расходует свой талант, идиотски впитывая в себя скверну жизни, не щадящей его. Я думаю, правда, что, если бы Джонни сам мог управлять своей жизнью, не жертвуя ради нее ничем, даже наркотиком, и если бы он лучше управлял своим самолетом, который уже лет пять несется вслепую, он, возможно, кончил бы совсем плохо, полнейшим сумасшествием, смертью, но зато излил бы в музыку все, что пытается изобразить в своих нудных монологах после игры, в своих рассказах о дивных переживаниях, которые, однако, обрываются на полдороге. И, по сути, я сторонник именно такого исхода, движимый страхом за собственное будущее, и, может быть, честно говоря, мне бы даже хотелось, чтобы Джонни взорвался ра-

зом, как яркая звезда, которая вдруг рассыпается прахом и оставляет астрономов на целую неделю в дураках. Потом зато можно идти спокойно спать, а завтра — новый день, иные заботы...

Джонни, кажется, словно догадался, о чем я раздумываю, хитро мне подмигнул и почти тотчас сел со мной рядом, успев поцеловать и крутнуть по воздуху маркизу и выполнить с нею и Артом сложный ритуал нечленораздельных приветствий, что всех нас привело в восторг.

— Бруно,— говорит Джонни, растянувшись на самой шикарнейшей софе,— эта дудка просто чудо. Пусть они тебе скажут, что я из нее вчера выжал. У Тики слезы катились — с грушу каждая, и, уж наверное, не потому, что надо платить модистке, а, Тика?

Мне захотелось побольше узнать о репетиции, но Джонни удовольствовался этим всплеском самодовольства и тут же заговорил с Марселем о программе предстоящего вечера и о том, как им обоим идут новехонькие серые костюмы, в которых они появятся на эстраде. Джонни в самом деле хорошо выглядит, и заметно, что в последнее время он курит не слишком много; видимо, принимает как раз такую дозу, какая ему нужна, чтобы играть с подъемом. Едва я успеваю об этом подумать, Джонни хлопает меня рукой по плечу и, пригнувшись ко мне, говорит:

— Дэдэ мне сказала, что я тогда, вечером, по-хамски вел себя.

— Брось вспоминать.

— Нет, не брошу. По правде говоря, я вел себя прекрасно. Тебе надо гордиться, что я с тобой не стесняюсь, я ни с кем так не делаю, веришь?.. Это показывает, как я тебя ценю. Нам бы закатиться куда-нибудь вместе да поговорить обо всякой всячине. Здесь-то...— Он презрительно выпячивает нижнюю губу, заливаясь смехом и подергивает плечами, будто пританцовывая на софе.— Бруно, старик, а Дэдэ говорит, что я по-хамски вел себя, ей-богу... Ха... Ха!

— Как твой грипп? Сейчас ничего?

— Никакой был не грипп. Пришел врач и стал болтать, что обожает джаз и что как-нибудь вечером я должен зайти к нему послушать пластинки... Дэдэ мне сказала, что ты дал ей денег.

— Перебьетесь, получишь и отдашь. Ты как сегодня вечером? В настроении?

— Да, играть охота, сейчас бы заиграл, если бы сакс

был здесь, но Дэдэ уперлась: «Сама принесу в театр». Классный сакс. Вчера мне казалось, я исходил любовью, когда играл... Видал бы ты лицо Тики. Иль ты ревновала, Тика?

И они снова визгливо захохотали, а Джонни считал самым подходящим схватить Арта и запрыгать в увоении по студии, высоко вскидывая ноги в танце без музыки, — только брови у него и у Арта задержались, отмечая ритм. Невозможно сердиться на Джонни или на Арта, это все равно что злиться на ветер, который треплет вам волосы. Полушепотом Тика, Марсель и я стали обсуждать предстоящее вечернее выступление. Марсель уверен, что Джонни повторит свой потрясающий успех 1951 года, когда он впервые приехал в Париж. После вчерашней репетиции, по его мнению, все сойдет отличным образом. Хотелось бы и мне в это верить... Во всяком случае, мне не оставалось ничего иного, как только усестся в первом ряду и слушать концерт. По крайней мере, я убедился, что Джонни не насосался марихуаны, как в Балтиморе. Когда я сказал об этом Тике, она схватила меня за руку, словно боясь свалиться в воду. Арт и Джонни подошли к пианино, и Арт стал показывать Джонни новую тему, тот покачивал в такт головой и подпевал. Они были невероятно элегантны в своих серых костюмах, хотя Джонни портил жирок, который он нагулял за последнее время.

Мы с Тикой пустились в воспоминания о вечере в Балтиморе, когда Джонни перенес первый жестокий кризис. Во время разговора я смотрел Тике прямо в глаза, чтобы убедиться, что она меня понимает и не испортит дело на сей раз. Если Джонни перепьет коньяка или сделает хоть одну затяжку марихуаной, концерт провалится и все полетит к черту. Париж не провинциальное казино, здесь весь свет смотрит на Джонни. Думая об этом, я не могу избавиться от противного привкуса во рту, от злости — не на Джонни, не на его злоключения, а скорее на себя самого и на людей, окружающих его, маркизу и Марселя, например. По существу, все мы банда эгоистов. Под предлогом заботы о Джонни мы лишь стараемся укрепить собственное представление о нем, готовимся смаковать удовольствие, которое всякий раз доставляет нам Джонни, хотим придать блеск статуе, сообщая воздвигнутой нами, и оберегать ее, чего бы это ни стоило. Провал Джонни свел бы на нет успех моей книги о нем (вот-вот должны выйти английский и итальянский переводы), и, возможно, вол-

нения такого рода составляют часть моих забот о Джонни. Арту и Марселию он нужен, чтобы зарабатывать на хлеб, а маркизе... ей лучше знать, маркизе, что она находит в нем, кроме таланта. Все это закрывает другого Джонни, и мне вдруг приходит в голову, что, вероятно, Джонни именно об этом хотел сказать мне, когда сорвал с себя плед и предстал голым, как червь. Джонни без саксофона, Джонни без средств и одежды, Джонни, одержимый идеей, которую не может одолеть его скудный интеллект, но которая так или иначе вливается в его музыку, заставляет его тело трепетать от неги, готовит его, кто знает, к какому нежданному броску, для нас непостижимому.

И когда одолевают вот такие мысли, поневоле начинаешь ощущать гадкий привкус во рту, и вся честность мира не в состоянии окупить внезапного открытия, что ты просто жалкий подлец рядом с таким типом, как Джонни Картер, пьющим свой коньяк на софе и лукаво на тебя поглядывающим. Пора было идти в зал Плейель. Пусть музыка спасет хотя бы остаток вечера и выполнит, в общем-то, одну из своих худших миссий: поставит добротные ширмы перед зеркалом, сотрет нас на пару часов с лица земли.

Завтра, как обычно, я напишу для журнала «Джаз-хот»¹ рецензию на этот вечерний концерт. Но во время концерта, хотя я и царапаю стенографические каракули на колене в кратких перерывах, у меня нет ни малейшего желания выступать в роли критика, то есть давать сопоставительные оценки. Я прекрасно знаю, что для меня Джонни давно уже не только джазист; его музыкальный гений — это нечто вроде великолепного фасада, нечто такое, что в конце концов может пронять и привести в восторг всех людей, но за фасадом скрывается «другое», и это «другое» — единственное, что должно интересовать меня, хотя бы потому, что именно это «единственное» только и побуждает Джонни достигать таких высот.

Легко говорить так, пока я весь в музыке Джонни. Когда же приходишь в себя... Почему я не могу поступать, как он, почему никогда не смогу биться головой об стену? Я обдуманнейшим образом подгоняю к действительности слова, которые претендуют на ее отражение; я ограждаю себя размышлениями и догадками, которые суть не более

¹ «Джаз-хот» — букв. горячий джаз (от *англ.* Jazz hot); одно из направлений джазовой музыки.

чем какая-то несуразная диалектика. Но, кажется, я наконец понимаю, почему иной колокольный звон заставляет инстинктивно бухаться на колени. Изменение собственной позиции символизирует перемену в слышимом, в том, что ты слышишь и как осмысливаешь услышанное. Когда, случается, я улавливаю такую перемену, то явления, которые секунду назад мне казались дикими, наполняются глубоким смыслом, удивительно упрощаются и в то же время усложняются. Ни Марселю, ни Арту и в голову не пришло, что Джонни отнюдь не рехнулся, когда скинул ботинки в зале звукозаписи. Джонни нужно было в тот момент чувствовать реальную почву под ногами, соединиться с землей, ибо его музыка — утверждение всего земного, а не бегство от него. И это тоже я чувствую в Джонни — он ни от чего не бежит, он курит марихуану не для забвения жизни, как другие пропащие людишки; он играет на саксофоне не для того, чтобы прятаться за оградой звуков, он проводит недели в одиночках психиатрических клиник не для того, чтобы спастись там от всяких давлений, которым он не в силах противостоять. Даже его музыкальный стиль — это его подлинное «я», — стиль, который направляется на самые абсурдные определения и не нуждается ни в одном из них, подтверждает, что искусство Джонни не замена и не дополнение чего-либо. Джонни бросил язык «хот», в общем пользующийся популярностью уже лет десять, ибо этот джазовый язык, до предела эротический, кажется ему слишком вялым. В музыке Джонни желание всегда заслоняет наслаждение и отбрасывает его, потому что желание заставляет идти вперед, искать, заранее отменяя «легкие победы» традиционного джаза. Поэтому, думаю, Джонни не любит популярнейшие блюзы с их мазохизмом и ностальгией... Впрочем, обо всем этом я уже написал в своей книге, объясняя, как отказ от непосредственного удовлетворения побудил Джонни создать музыкальный язык, наивысшие возможности которого он и другие музыканты пытаются раскрыть. Такой джаз разбивает вдребезги весь банальный эротизм и так называемое вагнерианство, чтобы освоить область, кажущуюся безгранично просторной, где музыка обретает полную свободу, чтобы стать подлинной живописью. Следовательно, желая быть властителем музыки, которая не зовет ни к оргии, ни к ностальгии и которую я условно назвал бы метафизической, Джонни будто хочет выявить в ней себя, вцепиться зубами в действительность, которая все

время ускользает от него. В этом я вижу удивительнейший парадокс его почерка, его будоражащее воздействие. Не будучи в состоянии дать полного удовлетворения, музыка становится непрерывно возбуждающим средством, не имеющей конца композицией,— и прелесть всего этого не в завершении, а в творческом поиске, в проявлении душевных сил, которые затмевают слабые человеческие эмоции, но сами не теряют человечности. И если Джонни, как сегодняшним вечером, забывается в своих нескончаемых импровизациях, я очень хорошо знаю, что он не бежит из жизни. Стремление чему-то навстречу никогда не может означать бегства, хотя место встречи всякий раз и отдалляется. А то, что остается позади, Джонни игнорирует или гордо презирает. Маркиза, например, думает, что Джонни боится бедности. Она не понимает, что Джонни может испугаться лишь того, что нельзя всадить нож в бифштекс, когда ему захочется есть, или рядом не окажется кровати, когда его будет клонить ко сну, или в бумажнике не найдется ста долларов, когда ему покажется вполне естественным истратить эти сто долларов. Джонни не парит в мире абстракций, как мы. Поэтому его музыка, удивительная музыка, которую я услышал этим вечером, никоим образом не абстрактна. Однако только один Джонни может отдать себе отчет в том, что он постиг в своей музыке, но он уже увлечен другой темой, теряясь в новых устремлениях или в новых догадках. Его завоевания, как сновидения,— он забывает о них, очнувшись от аплодисментов, возвращающих его назад, издалека, оттуда, куда он уносится, переживая свои четверть часа за какие-то полторы минуты.

Наивно, конечно, полагать, что, если держишься обеими руками за громоотвод во время жуткой грозы, останешься сух и невредим. Дней пять спустя я столкнулся с Артом Букайя у «Дюпона» в Латинском квартале, и он тут же, захлебываясь, сообщил мне прескверную новость. В первый момент я чувствовал нечто вроде удовлетворения, которое, каюсь, граничило со злорадством, ибо я прекрасно знал: спокойная жизнь долго не продлится. Но потом пришли мысли о последствиях,— я же люблю Джонни,— и стало не по себе. Поэтому я опрокинул двойную коньяка, и Арт подробно рассказал мне о случившемся. В общем, оказалось, что накануне днем Делоне все подго-

товил для записи нового квинтета в составе Джонни — ведущий саксофон, Арта, Марселя Гавоти и двух отличных ребят из Парижа — фортепьяно и ударные инструменты. Запись должна была начаться в три пополудни, рассчитывали играть весь день и захватить часть вечера, чтобы выложиться до конца и записать побольше вещей. А случилось иначе. Прежде всего Джонни явился в пять, когда Делоне уже зубами скрежетал от нетерпения. Растянувшись в кресле, Джонни заявил: чувствую себя, мол, неважно и пришел только затем, чтобы не испортить ребятам день, но играть не желаю.

— Марсель и я наперебой старались уговорить его отдышаться, отдохнуть малость, но он заладил черт знает о каких-то полях с урнами, на которые он набрел, и битых полчаса бубнил об этих самых урнах. А под конец стал пригоршнями вытаскивать из карманов и сыпать на пол листья, которые набрал где-то в парке. Не студия — какой-то сад ботанический. Операторы мечутся из угла в угол, злющие, как собаки, а записи — никакой. Представь себе, главный звукооператор три часа курил в своем кабинете, а в Париже это не мало для главного-то звукооператора.

Наконец Марсель уговорил Джонни попробовать, — может, получится. Они начали играть, а мы тихонько им подыгрывали, — продолжает Арт, — чтобы хоть не сдохнуть от скуки. Но скоро я заметил, что у Джонни сводит правую руку, и, когда он заиграл, честно тебе скажу, тяжело было смотреть на него. Лицо, знаешь, серое, а самого трясет, как в лихорадке. Я даже не заметил, когда он на пол шмякнулся. Потом вскрикнул, медленно обвел взглядом нас всех, одного за другим, и спрашивает, чего, мол, мы ждем, почему не начинаем «Страстиз». Знаешь эту тему Аламо? Ну, ладно, Делоне дал знак оператору, мы вступили, как сумели, а Джонни поднялся, расставил ноги, закачался, как в лодке, и стал выдавать такие штуки, что, клянусь тебе, в жизни подобного не слышал. Минуты три так играл, а потом как рванет жутким визгом... Ну, думаю, сейчас вся гладь небесная на куски разлетится, — и пошел себе в угол, бросив нас на полном ходу. Пришлось закруглиться кое-как.

А дальше-то самое плохое. Когда мы кончили, Джонни сразу огрел нас: мол, все чертовски плохо вышло и запись никуда. Понятно, ни Делоне, ни мы не обратили на его слова внимания, потому что, несмотря на срыв, одно только соло Джонни стоит в тысячу раз больше всего, что

каждый день слушаешь. Удивительное дело, трудно тебе объяснить... Когда услышишь, сам поймешь, почему ни Делоне, ни операторы и не подумали стереть запись. Но Джонни просто осатанел, грозил вышибить стекла в кабине, если ему не докажут, что пластинки не будет. Наконец оператор показал ему какую-то штуковину и успокоил его, и тогда Джонни предложил записать «Стрептомицин», который получился и намного лучше, и намного хуже. Понимаешь, эта пластинка гладенькая, не придерешься, но нет в ней того невероятного чуда, какое Джонни в «Страстизе» выдал.

Вздохнув, Арт допил свое пиво и скорбно уставился на меня. Я спросил, что было с Джонни потом. Арт сказал, что после того, как Джонни напичкал всех своими историями о листьях и полях, покрытых урнами, он отказался дальше играть и, шатаясь, ушел из студии. Марсель отобрал у него саксофон, чтобы он его опять не потерял или не разбил, и вместе с одним из ребят-французов отвел в отель.

Что мне остается делать? Надо тут же идти навещать его. Но все-таки я отложил это на завтра. А завтра нахожу имя Джонни в полицейской хронике «Фигаро», потому что ночью Джонни якобы поджег номер и бегал нагишом по коридорам отеля. Ни он, ни Дэдэ не пострадали, но Джонни находится в клинике под врачебным надзором. Я показал газетное сообщение своей выздоравливающей жене, чтобы успокоить ее, и немедленно отправился в клинику, где мое журналистское удостоверение не произвело ни малейшего впечатления. Мне удалось лишь узнать, что Джонни бредит и абсолютно отравлен марихуаной, — такой лошадиной дозы хватило бы, чтобы рехнулась дюжина парней. Бедняга Дэдэ не смогла устоять, убедить его бросить курение; все женщины Джонни в конце концов превращаются в его сообщниц, и я дал бы руку на отсечение, что наркотик ему раздобыла маркиза.

В конечном итоге я решил тотчас пойти к Делоне и попросить его дать мне как можно скорее послушать «Страстиз». Кто знает, может быть «Страстиз» это завещание бедного Джонни. А в таком случае моим профессиональным долгом было бы...

Однако нет. Пока еще нет. Через пять дней мне позвонила Дэдэ и сказала, что Джонни чувствует себя немного лучше и хочет видеть меня. Я предпочел не упрекать ее; во-первых, потому, что это, безусловно, пустая трата вре-

мени, и, во-вторых, потому, что голос бедняжки Дэдэ, казалось, выдавливался из расплющенного чайника. Я обещал сейчас же прийти и сказал ей, что, когда Джонни совсем поправится, надо бы устроить ему турне по городам Франции. Дэдэ начала всхлипывать, и я повесил трубку.

Джонни сидит в кровати. Двое других больных в палате, к счастью, спят. Прежде чем я успел что-нибудь сказать, он схватил мою голову своими ручищами и стал чмокать меня в лоб и в щеки. Он страшно худой, хотя сказал мне, что кормят хорошо и аппетит нормальный. Больше всего его волнует, не ругают ли его ребята, не навредил ли кому его кризис, и т. д., и т. п. Отвечать-то ему, в общем, незачем, он прекрасно знает, что концерты отменены, и это сильно ударило по Арту, Марселю и остальным. Но он спрашивает меня, словно надеясь услышать что-то хорошее, ободряющее. И в то же время ему меня не обмануть: за этой тревогой где-то глубоко в нем кроется великое безразличие к окружающему. В душе Джонни не дрогнуло бы ничего, если бы все полетело к чертовой матери. Я знаю его слишком хорошо, чтобы ошибаться.

— О чем теперь толковать, Джонни. Все могло бы сойти лучше, но у тебя талант губить всякое дело.

— Да, отречься не буду, — устало говорит Джонни. — И во всем виноваты урны.

Мне вспоминаются слова Арта; я, не отрываясь, гляжу на него.

— Поля, забитые урнами, Бруно. Сплошь одни невидимые урны, зарытые на огромном поле. Я там шел и все время обо что-то спотыкался. Ты скажешь, мне приснилось, да? А было так, слушай: я все спотыкался об урны и наконец понял, что поле сплошь забито урнами, которых там сотни, тысячи, а в каждой пепел умершего. Тогда, помню, я нагнулся и стал отгребать землю ногтями, пока одна урна не показалась из земли. Да, хорошо помню, я помню, мне подумалось: «Эта наверняка пустая, потому что она для меня». Глядишь — нет, полным-полна серого пепла, какой, я уверен, был и в других, хотя я их не открывал. Тогда... тогда, мне кажется, мы и начали записывать «Страсти».

Украдкой гляжу на табличку с кривой температуры. Вполне нормальная, не придерешься. Молодой врач просунул голову в дверь, приветственно кивнул мне и ободряюще салютовал Джонни, почти по-спортивному. Хоро-

ший парень. Но Джонни ему не ответил, и, когда врач скрылся за дверью, я заметил, как Джонни сжал кулаки.

— Этого им никогда не понять, — сказал он мне. — Они все равно как обезьяны, которым дали метлы в лапы, или как девчонки из консерватории Канзас-Сити, которые думают, что играют Шопена, ей-богу. Бруно, в Камарильо меня положили в палату с тремя другими, а утром является практикант, такой чистенький, розовенький — загляденье. Ни дать ни взять — сын Клинекса и Тэмпекса, честное слово. И этот ублюдок садится рядом и принимается утешать меня, меня, когда я только и желал, что помереть, и уже не думал ни о Лэн, ни о ком. А этот тип еще обиделся, когда я от него отмахнулся. Он, видать, ждал, что я встану, замороженный его белым личиком, прилизанными волосенками и полированными ноготками, и исцелюсь, как эти дурни, которые приползают в Лурд, швыряют тут же костыли и начинают козами скакать...

Бруно, этот тип и те другие типы из Камарильо какие-то убежденные. Спросишь, в чем? Сам не знаю, клянусь, но в чем-то очень убежденные. Наверное, в том, что они очень правильные, что они, ох, как много стоят с их дипломами. Нет, не так выразился. Некоторые из них скромники и не считают себя безгрешными. Но даже самый скромный чувствует себя уверенно. Вот это меня бесит, Бруно, *что они чувствуют себя уверенно*. В чем их уверенность, скажи мне, пожалуйста, когда даже у меня, отребья несчастного с тысячей болячек и заскоков, хватает ума, чтобы разглядеть, что все кругом на соплях, на фу-фу держится. Надо только оглядеться немного, почувствовать немного, помолчать немного, и везде увидишь дыры. В двери, в кровати — дыры. Руки, газеты, время, воздух — все сплошь в пробоинах; все, как губки, как решето, само себя дырявящее... Но они — это американская наука собственной персоной, понимаешь, Бруно? В их халатах не было дыр. Они ничего не видят, верят тому, что скажут другие, а воображают, что видели сами. И, конечно, они не могут видеть вокруг себя дыры и очень уверены в себе самих, абсолютно убеждены в необходимости своих рецептов, своих клизм, своего проклятого психоанализа, своих «не пей», «не кури»... Ох, дождаться бы дня, когда я смогу сорваться с места, сесть в поезд, смотреть в окошко и видеть, как все остается позади, разбивается на куски... Не знаю, заметил ли ты, как бьется на куски все, что мелькает мимо...

Мы закуриваем «Голуаз». Джонни разрешили немного коньяка и не более восьми — десяти сигарет в день. Но видно, что курит, если можно так сказать, его телесная оболочка, что сам он вовсе не здесь, будто не желает вылезать из глубокого колодца. Я спрашиваю себя, что он увидел, почувствовал за последние дни. Мне не хочется волновать его, но если бы вдруг ему самому вздумалось рассказать... Мы курим, молчим, иногда Джонни протягивает руку и водит пальцами по моему лицу, словно удостовериваясь, что это я. Потом постукивает по своим наручным часам, глядит на них с нежностью.

— Дело в том, что они считают себя мудрецами, — говорит он вдруг. — Они считают себя мудрецами, потому что замуслили кучу книг и проглотили их. Меня просто смех разбирает: ведь в общем они неплохие ребята, а живут, уверенные в том, что все, чему они учатся и что делают, — вещи, ох, какие трудные и умные. В цирке тоже так, Bruno, и среди нас тоже. Люди думают, мол, в таком-то деле есть верх трудности, и потому аплодируют трюкачам-акробатам или мне. Я не знаю, что им при этом кажется? Что человек на части разрывается, когда хорошо играет? Или что акробат руки-ноги ломает, когда прыгает? В жизни по-настоящему трудные вещи совсем иные, они вокруг нас — это все то, что людям представляется самым простым да обычным. Смотреть и видеть, например, или понимать собаку или кошку. Вот это трудно, чертовски трудно. Вчера вечером я почему-то стал глядеть на себя в зеркало, и, верь не верь, это было страшно трудно, я чуть не скатился с кровати. Представь себе, что ты со стороны увидел себя, — одного этого хватит, чтобы обалдеть на полчаса. Ведь в действительности же этот тип в зеркале не я; мне сразу стало ясно — не я. Вдруг, не знаю как, это понял, — нет, не я. Душой почувствовал, а уж если почувствуешь... Но получается, как в Палм-Бич, где на одну волну накатывает другая, за ней еще... Только успеешь что-то почувствовать, уж накатывает другое, приходят слова... Нет, не слова, а то, что в словах, какая-то липкая ерунда, тягучие слюни. И слюни душат тебя, текут, и тут начинаешь верить, что тот, в зеркале, — ты. Ясное дело, как не понять. Как не признать себя — мои волосы, мой шрам. Но люди-то не понимают, что узнают себя только по слюням. Потому им так легко глядеться в зеркало. Или резать хлеб ножом. Ты режешь хлеб ножом?

— Случается, — говорю я с шутовой иронией.

— И тебе хоть бы что. А я не могу, Бруно. Один раз за ужином как швырну все к черту,— чуть глаз не вышиб ножом японцу за соседним столиком. Было это в Лос-Анжелесе, скандал получился жуткий... Я им объяснял, объяснял, но они меня схватили. А мне казалось — понять-то так просто. В тот раз я познакомился с доктором Кристи. Хороший парень, а что я про врачей...

Он машет рукой, рассекая воздух с разных сторон,— и словно остаются там невидимые взрезы. Улыбается. Мне же чудится, что он один, совершенно один. Я — просто пустое место рядом с ним. Если бы Джонни случилось ткнуть меня рукой, она прошла бы сквозь меня, как сквозь масло или дым. Потому-то, наверное, он так осторожно гладит пальцами мое лицо.

— Вот хлеб на скатерти,— говорит Джонни, глядя куда-то вдаль.— Вещь как вещь, хорошая, ничего не скажешь. Цвет чудесный, аромат. В общем, я — одно, а это совсем другое, ко мне никак не относится. Но если я к нему прикасаюсь, протягиваю руку и беру его, тогда ведь что-то меняется... Тебе не кажется? Хлеб — не часть меня, но вот я беру его в руку, ощущаю и чувствую, что это тоже существует в мире. Если же я могу взять и почувствовать его, тогда, значит, и вправду нельзя сказать, что это — вещь сама по себе, а я — сам по себе? Или, ты думаешь, можно?

— Дорогой мой, тысячелетиями великое множество длиннобородых умников ломали себе головы, решая эту проблему.

— В хлебе своя суть жизни,— бормочет Джонни, закрывая лицо руками.— А я осмеливаюсь брать его, резать, совать себе в рот. И ничего не происходит, я вижу. Вот это-то самое страшное. Ты понимаешь, как это страшно, что ничего не происходит? Режешь хлеб, вонзаешь в него нож, а вокруг все по-старому. Нет, это невысказано, Бруно.

Меня стало беспокоить выражение лица Джонни, его возбуждение. Все труднее и труднее склонять его к разговору о джазе, о его прошлом, о его планах, возвращать к действительности. (К действительности. Я написал слово, и самому стало мутно. Джонни прав, это не может быть действительностью. Невозможна такая действительность — быть джазовым критиком и не знать, что кое-кто может здорово высмеять нас.)

Затем он заснул или, по крайней мере, притворился спящим, сомкнув глаза. Иногда мне приходит на ум, как

трудно определить, что он делает в данный момент, что есть Джонни. Спит ли, прикидывается спящим, полагает ли, что спит. Неизмеримо труднее уловить сущность Джонни, чем понять любого другого моего приятеля. И при этом он — самый что ни на есть вульгарный, самый обыкновенный, привыкший к перипетиям самой жалкой жизни человек, которого можно подбить на все, — так кажется. Отнюдь не оригинальная личность, — так кажется. Всякий — правда, с поэтической душой и талантом — может легко уподобиться Джонни, если согласится стать этаким бедолагой, больным, порочным, безвольным. Так кажется. Я, привыкший в своей жизни восхищаться всевозможными гениями, Эйнштейнами, Пикассо, именами из святцев, которые каждый может сфабриковать в одну минуту (Ганди, Чаплин, Стравинский и т. п.), даже готов, как и любой другой человек, допустить, что подобные уникамы ходят по небу, как по земле, и не удивлюсь ничему, что бы они ни делали. Они абсолютно отличны от нас, и говорить тут не о чем. Напротив, отличие Джонни — загадочно и раздражает своей необъяснимостью, ибо в самом деле это трудно объяснить. Джонни не гений, он ничего не открыл, играет в джазе, как тысячи других негров и белых, и, хотя играет лучше их всех, надо признать, что слава в какой-то степени зависит от вкусов публики, от моды, от эпохи, в конце концов. Панасье, например, находит, что Джонни просто никуда не годится, хотя мы полагаем, что никуда не годится именно Панасье. Во всяком случае, поле для дискуссий открыто. Все это доказывает, что в Джонни вовсе нет ничего сверхъестественного, но стоит мне так подумать, как я тут же снова спрашиваю себя, а точно ли в Джонни нет ничего сверхъестественного? (О чем сам он, конечно, и не мыслит.) Он, наверное, хохотал бы до упаду, если ему об этом сказать. Я, в общем-то, хорошо знаю, что он думает о таких вещах, как их расценивает. Я говорю «как их расценивает», потому что Джонни... Впрочем, не буду в это вдаваться, — мне только хочется пояснить себе самому, что дистанция, отделяющая Джонни от нас, не имеет объяснения, обусловлена необъяснимыми различиями. И мне кажется, он первый страдает от последствий нашего внутреннего разобщения, которое его так же мучит, как и нас. Тут как бы напрашиваются слова, что Джонни — это ангел среди людей, но элементарная честность заставляет прикусить язык, добросовестно перефразировать определение и признать, что, может быть, именно

Джонни — это человек среди ангелов, реальность среди ирреальностей, то есть всех нас. Иначе зачем Джонни трогает мое лицо пальцами и заставляет меня чувствовать себя таким несчастным, таким призрачным, таким ничтожным со всем моим распрекрасным здоровьем, моим домом, моей женой, моим общественным престижем. Да, моим престижем — вот что самое главное. Самое главное — моим престижем в обществе.

Но, как всегда, едва я выхожу из больницы и окунаюсь в шум улицы, в водоворот времени, во все свои хлопоты, блин, плавно перевернувшись в воздухе, шлепается на сковородку другой стороной. Бедный Джонни, как далек он от реальности. (Да, да, именно так. Мне гораздо легче так думать, — теперь, в кафе, спустя два часа после посещения больницы, думать, что все сказанное мною выше, — это словно вынужденное признание человека, приговоренного хотя бы иногда быть честным с самим собою.)

К счастью, дело с пожаром уладилось, ибо, как я и предполагал заранее, маркиза постаралась, чтобы дело с пожаром уладилось. Дэдэ и Арт Букайя зашли за мной в газету, и мы втроем пошли в «Викс» послушать уже прославленную — хотя еще публично и не распространенную — запись «Страстиза». В такси Дэдэ без особого энтузиазма рассказала мне, как маркиза вызволила Джонни из переделки, в результате которой, в общем-то, только прожжен матрас да до смерти перепуганы алжирцы, живущие в гостинице на улице Лагранж. Штраф (уже уплаченный), другой отель (уже найденный Тикой) — и Джонни лежит, выздоравливая, в огромной роскошной кровати, пьет молоко ведрами и читает «Пари матч» и «Нью-Йоркер», не менее часто заглядывая в свою знаменитую (весьма потрепанную) книжонку с поэмами Дилана Томаса, всю испещренную карандашными пометками.

Заправившись добрыми новостями и коньяком в кафе на углу, мы располагаемся в зале для прослушивания. Предстоит знакомство со «Страстизом» и «Стрептомицином». Арт просит погасить свет и растягивается на полу — так удобнее слушать. И вот врывается Джонни и швыряет нам свою музыку в лицо, врывается, хотя и лежит в это время в отеле, на кровати; и четверть часа крушит нас своей музыкой. Я понимаю, почему его бесит мысль о распространении «Страстиза», — кое-кто мог бы уловить фальшивые нотки, дыхание, особенно слышимое при кон-

цовке некоторых фраз, и, конечно же, дикий финальный обрыв, острый короткий скрежет: мне почудилось, что разорвалось сердце, что нож вонзился в хлеб (он ведь говорил недавно о хлебе). Но Джонни как раз и не ухватывает того, что нам кажется ужасающе прекрасным, страстное томление, ищущее выход в этой импровизации, где звуки мечутся, вопрошают, внезапно взрываются или глохнут под его рукой. Джонни вовек не понять (ибо то, что он считает поражением, для нас — откровение или, по крайней мере, проблеск нового), что «Страстиз» останется одним из величайших джазовых свершений. Художник, живущий в нем, всегда задыхался бы от ярости, слыша эту пародию на желанное самовыражение, на все то, что ему хочется сказать, когда он борется, раскачиваясь, как безумный, исходя слюной и музыкой, очень одинокий, наедине с чем-то, что он преследует, что убегает, — и тем быстрее убегает, чем настойчивее он преследует. Да, интересно, это надо было услышать — хотя, в общем, в «Страстизе» только синтезирована суть его творчества, — чтобы наконец понял, что Джонни не жертва, не преследуемый, как все думают, как я сам преподнес его в своей книге о нем (кстати сказать, недавно появилось английское издание, идущее нарасхват, как кока-кола), понял, что Джонни — сам преследователь, а не преследуемый, что все его жизненные срывы — это неудачи охотника, а не броски затравленного зверя. Никому не дано знать, за чем гонится Джонни, но преследование безудержно, оно во всем: в «Страстизе», в дыму марихуаны, в его загадочных речах о всякой всячине, в болезненных рецидивах, в книжке Дилана Томаса; оно целиком захватило беднягу, который зовется Джонни, и возвеличивает его, и делает живым воплощением абсурда, охотником без рук и ног, зайцем, стремглав летящим вслед за неподвижным тигром. И если говорить откровенно, при звуках «Страстиза» у меня к самому горлу подкатывает тошнота, — будто она помогает мне освободиться от Джонни, от всего того, что в нем бушует против меня и других, от этой черной бесформенной лавины, этого безумного шимпанзе, который водит своими пальцами по моему лицу и умиленно мне улыбается.

Арт и Дэдэ не увидели (я думаю, не хотели видеть) ничего, кроме формальной красоты «Страстиза». Дэдэ даже больше понравился «Стрептомицин», где Джонни импровизирует со своей обычной легкостью, которую пуб-

лика считает верхом исполнительского искусства, а я воспринимаю скорее как его презрение к форме, желание дать волю музыке, унести с ней в неизведанное...

Позже, на улице, я спрашиваю Дэдэ, каковы планы Джонни. Она мне говорит, что, как только он выйдет из отеля (полиция его пока задерживает), будет выпущена новая серия пластинок с записью всего, что ему заблагорассудится, и это даст большие деньги. Арт подтверждает, что у Джонни тьма великолепных идей и что, пригласив Марселя Гавоти, они «сработают» что-нибудь новенькое вместе с Джонни. Однако последние недели показали, что сам Арт не очень-то верит в свои прожекты, а я со своей стороны тоже знаю о его переговорах с одним антрепренером насчет возвращения в Нью-Йорк. Я прекрасно понимаю ностальгию бедного парня.

— Тика просто прелесть, — с горечью говорит Дэдэ. — Конечно, для нее это легче легкого. Явиться под занавес, раскрыть кошелечек — и все улажено. А мне вот...

Мы с Артом переглянулись. Что можно ей ответить? Женщины всю жизнь крутятся вокруг Джонни и вокруг таких, как Джонни. И это не удивительно, и вовсе не обязательно быть женщиной, чтобы испытывать притягательную силу Джонни. Самое трудное — вращаться вокруг него, не сбиваясь с определенной орбиты, как хороший спутник, как хороший критик. Арт не был тогда в Балтиморе, но я помню времена, когда познакомился с Джонни, — он жил с Лэн и детьми. На Лэн жалко было смотреть. Впрочем, когда поближе узнаешь Джонни, слушаешь его бред наяву, его сумасбродные рассказы о том, чего никогда и не случалось, поглядишь на его внезапные приливы нежности, тогда нетрудно понять, почему у Лэн было такое лицо и почему невозможно иметь другого выражения лица, живя с Джонни. Тика — иное дело; ее спасает круговорот новых впечатлений, светская жизнь, а кроме того, ей удалось «ухватить доллар за хвост, а это поважнее, чем иметь пулемет», — по крайней мере, так говорит Арт Букайя, когда злится на Тику или страдает от головной боли.

— Приходите почаще, — просит меня Дэдэ. — Ему нравится болтать с вами.

Я с удовольствием отчитал бы ее за пожар (причина которого безусловно и на ее совести), но знаю — это пустой номер, все равно что уговаривать самого Джонни превратиться в нормального, полезного человека. Пока все

наладилось. Любопытно (но небезопасно) — как только у Джонни дела налаживаются, я испытываю огромное удовлетворение. Я не так наивен, чтобы относить это лишь за счет дружеских чувств. Это скорее как отсрочка беды или вздох облегчения. А в общем, ни к чему искать всякие объяснения, если я понимаю ситуацию так же хорошо, как, скажем, ощущаю нос на собственной физиономии. Меня бесит только, что Арту Букайя, Тике или Дэдэ в голову не приходит одна простая мысль: когда Джонни мучается, сидит в тюрьмах, пытается покончить с собой, поджигает матрасы или бегаёт нагишом по коридорам отеля, он ведь как-то расплачивается и за них, гибнет за них, причем не зная об этом, — не как тот, кто произносит громкие слова на эшафоте или пишет книги, обличая людские пороки, или играет на фортепьяно с таким пафосом, будто очищает мир от всех земных грехов. Да, не зная об этом, будучи всего-навсего беднягой саксофонистом, — хотя такое определение и может показаться смешным, — одним из полчища бедняг саксофонистов.

Все правильно, но если я буду продолжать в том же духе, я поведаю, пожалуй, больше о себе, чем о Джонни. Я начинаю казаться себе каким-то евангелистом, а это не доставляет мне никакого удовольствия. По пути домой я думал с цинизмом, необходимым для полного убеждения в собственной правоте, что я правильно сделал, упомянув в своей книге о Джонни лишь проходя, весьма осторожно о его патологических странностях. Абсолютно незачем сообщать публике, что Джонни верит в свои блуждания по полям с зарытыми урнами или что картины оживают, когда он на них смотрит, — просто наркотические галлюцинации, исчезающие по выздоровлении. Но я не могу отделаться от ощущения, что Джонни дает мне на хранение свои призрачные образы, рассовывая их по моим карманам, как носовые платки, чтобы востребовать в должное время. И мне думается, я единственный, кто их хранит, копит и бонится; и никто этого не знает, даже сам Джонни. В этом невозможно признаться Джонни, как вы признались бы какому-нибудь действительно великому человеку, перед которым мы унижаемся в обмен на мудрый совет. И какого дьявола жизнь взвалила на меня такую ношу! Какой я, к черту, евангелист! В Джонни нет ни грана величия, я раскусил его с первого дня, как только начал восхищаться им. Сейчас меня уже не удивляет парадоксальность его личности, хотя вначале сильно по-

кировало это отсутствие величия, может быть, потому, что с такой меркой подходишь далеко не ко всякому человеку, тем более к джазисту. Не знаю почему (*не знаю* почему), но одно время я верил, что в Джонни есть величие, которое он день за днем ниспровергает. (Или мы сами ниспровергаем, а это не одно и то же, потому что — будем честны с собой — в Джонни словно таится призрак другого Джонни, каким он мог бы быть, и тот, другой Джонни, велик; но призраки лишены такого человеческого измерения, как величие, которое тем не менее в нем невольно чувствуется и проявляется...)

Хочу добавить, что попытки, которые предпринимал Джонни, чтобы вырваться из тисков своей жизни — от неудачного покушения на самоубийство до курения марихуаны, — именно таковы, какие и следовало ожидать от человека, в котором нет ни капли величия. Но мне кажется, я восхищаюсь им за это еще больше, потому что по сути дела он шимпанзе, который желает научиться читать; бедняга, который бьется головой об стену, ничего не достигает и все равно продолжает биться.

Да, но если однажды подобный шимпанзе научится читать, это будет катастрофа, всемирный потоп и — спасайся, кто может, я первый. Страшно, когда человек, отнюдь не великий, с таким упорством долбит лбом стену. Всех нас заставляет цепенеть хруст его костей, повергает в прах его первый же трубный глас. (Ну, святые мученики или герои, — ладно, с ними знаешь, на что идешь. Но Джонни!)

Наваждение. Не знаю, как лучше выразиться, но иногда приходится сознавать, что в жизнь человека вторгается жуткое или дурацкое наваждение, причем непонятно, какой тут действует сверхъестественный закон, когда, например, после внезапного телефонного звонка как снег на голову сваливается на вас сестра из далекой Оверни, или вдруг сбегает молоко, заливая плиту, или вдруг, выйдя на балкон, видишь мальчишку под колесами автомобиля. И кажется, судьба, как в футбольных командах или руководящих органах, всегда сама находит заместителя, если отсутствует штатный деятель. Так вот и этим утром, когда я еще пребывал в блаженном сознании того, что Джонни Картер поправляется и утихомиривается, мне вдруг звонят в газету. Срочный звонок от Тики, а новость тако-

ва: в Чикаго только что умерла Би, младшая дочь Лэн и Джонни, и он, конечно, сходит с ума, и было бы хорошо, если бы я протянул друзьям руку помощи.

Я снова поднимаюсь по лестнице отеля — сколько лестниц я излазил за время своей дружбы с Джонни! — и вижу Тику, пьющую чай; Дэдэ, окунающую полотенце в таз; Арта, Делоне и Пепе Рамиреса, шепотом обменивающихся свежими впечатлениями о Лестере Янге; и Джонни, тихо лежащего в постели, — мокрое полотенце на лбу и абсолютно спокойное, даже чуть презрительное выражение лица. Я тут же подальше прячу сострадательную мину и просто-напросто крепко жму руку Джонни, зажигаю сигарету и жду.

— Бруно, у меня вот здесь болит, — произносит через некоторое время Джонни, дотронувшись до того места на груди, где полагается быть сердцу. — Бруно, она белым камешком лежала у меня в руке. А я всего только бедная черная кляча, и никому, никому не осушить моих слез.

Слова выговариваются торжественно, почти речитативом, и Тика глядит на Арта, и оба с усмешкой понимающе кивают друг другу, благо на глазах Джонни мокрое полотенце и он не может видеть их. Мне всегда претит дешевое фразерство, но сказанное Джонни, если не говорить о том, что подобное я где-то уже читал, кажется какой-то словесной маской, которой он прикрывается, — так напыщенно и банально звучат эти фразы. Подходит Дэдэ с другим мокрым полотенцем и меняет ему холодный компресс. На какой-то миг я вижу лицо Джонни — пепельно-серого цвета, с искаженным ртом и плотно, до морщин сомкнутыми веками. И как всегда бывает с Джонни, случилось то, чего никто не ожидал, — Пепе Рамирес, который его очень мало знал, до сих пор не может опомниться от неожиданности или, я бы сказал, от скандальности этого инцидента: Джонни вдруг садится в кровати и начинает браниться, медленно, со вкусом подбирая словечки и вцепляя их, как пощечины; начинает бранить тех, кто посмел записать на пластинку «Страстиз». Он ругается, ни на кого не глядя, но пригвождая нас к месту, как жуков к картофу, невероятно скверными словами. Так поносит он минуты две всех причастных к записи «Страстиза», начиная с Арта и Делоне, потом меня (хотя я...) и кончая Дэдэ, поминая при этом всемогущего господа бога и... мать, которая, оказывается, родила всех людей без исключения.

А в сущности, эта тирада и та, про белый камешек, не более как зауспокойная молитва по его Би, умершей в Чикаго от воспаления легких.

Прошли две безалаберные недели: масса никчемной работы, газетные статейки, беготня туда-сюда, в общем, типичная картина жизни критика, человека, который может жить только тем, что ему подадут: новостями и чужими делами.

Рассуждая об этом, сидим мы как-то вечером — Тика, Малышка Леннокс и я — в кафе «Флор», напеваем «Далеко, далеко, не здесь» в благодушном настроении и комментируем соло на фортепьяно Билли Тейлора, который всем нам троим нравится, особенно Малышке Леннокс, — она, кроме всего прочего, одета в стиле Сен-Жермен-де-Прэ и выглядит очаровательно. Малышка с понятным восхищением — ей ведь всего двадцать лет — глядит на входящего Джонни, а Джонни смотрит на нее, не видя, и бредет дальше, пока не наткнется на стул за соседним пустым столиком; садится, абсолютно пьяный или полусонный. Рука Тики ложится мне на колено.

— Смотри, опять накурился вчера вечером. Или сегодня днем. Эта женщина...

Я без особой охоты отвечаю, что Дэдэ не более виновата, чем любая другая, начиная с нее, с Тики, которая десятки раз курила вместе с Джонни и готова закурить снова хоть завтра, будь на то ее святая воля. У меня появилось огромное желание уйти и остаться одному, как всегда, когда нельзя подступить к Джонни, побыть с ним, около него. Я вижу, как он рисует что-то пальцем на столе, потом долго глядит на официанта, спрашивающего, что он будет пить. Наконец Джонни изображает в воздухе нечто вроде стрелы и как бы с трудом поддерживает ее обеими руками, словно она весит черт знает сколько. Люди за другими столиками тотчас оживляются, не скупясь на остроты, как это принято в кафе «Флор». Тогда Тика говорит: «Подонок», — идет к столику Джонни и, отослав официанта, шепчет что-то на ухо Джонни. Понятно, Малышка тут же выкладывает мне свои самые сокровенные мечты, но я деликатно даю ей понять, что сегодня вечером Джонни надо оставить в покое и что хорошие девочки должны рано идти бай-бай, если возможно — в сопровождении джазового критика. Малышка мило смеется, ее рука

нежно гладит мои волосы, и мы спокойно разглядываем идущую мимо девушку, у которой лицо покрыто плотным слоем белил, а глаза и даже рот густо подведены зеленым. Малышка говорит, что эта роспись, в общем, неплохо смотрится, а я прошу ее тихонько напеть мне один из тех блюзов, которые принесли ей славу в Лондоне и Стокгольме. Потом мы снова возвращаемся к песне «Далеко, далеко, не здесь», которая этим вечером привязалась к нам, как собака, тоже в белилах, с зелеными кругами вокруг глаз.

Входят двое парней из нового квинтета Джонни, и я пользуюсь случаем, чтобы спросить их, как прошло сегодняшнее вечернее выступление. И узнаю, что Джонни едва мог играть, но то, что он сыграл, стоило всех импровизаций какого-то Джона Льюиса, особенно, если учесть, что этот Льюис «запросто может выдать готовую руладу, потому что, — поясняет один из ребят, — у него всегда под рукой ноты, чтобы заткнуть дырку», а это ведь уже не импровизация. Я меж тем спрашиваю себя, до каких пор продержится Джонни и, главное, публика, верящая в Джонни. Ребята от пива отказываются, мы с Малышкой остаемся одни, и мне не удается увильнуть от ее расспросов, и приходится втолковывать Малышке, которая действительно заслуживает свое прозвище, что Джонни больной и конченый человек, что парни из квинтета скоро по горло будут сыты такой жизнью, что все со дня на день может взлететь вверх тормашками, как это уже не раз бывало в Сан-Франциско, в Балтиморе и Нью-Йорке.

Входят другие музыканты, играющие в этом квартале. Некоторые направляются к столику Джонни и здороваются с ним, но он смотрит на них словно откуда-то издалека с абсолютно идиотским выражением лица — глаза влажные, жалкие, на отвисшей губе пузырики слюны. Забавно в это время наблюдать за поведением Тики и Малышки: Тика, пользуясь своим влиянием на мужчин, с улыбкой и без лишних фраз заставляет их отойти от Джонни; Малышка, выдыхая мне в ухо слова восхищения Джонни, шепчет, как хорошо было бы отвезти его в санаторий для лечения, — и в общем, только потому, что она ревнует и хочет сегодня же ночью переспать с Джонни, но, видно, на сей раз это абсолютно исключается — к моей немалой радости. Как нередко бывает во время наших встреч, я начинаю думать о том, что, наверное, очень приятно ласкать бедра Малышки, и едва удерживаюсь, чтобы не предложить ей пойти вдвоем выпить глоточек в более укром-

ном месте (она не захочет и, по правде говоря, я тоже, потому что мысли об этом соседнем столике отравили бы все удовольствие). И вдруг, когда никто не подозревал, что такое может случиться, мы видим, как Джонни медленно встает, смотрит на нас, узнает и направляется прямо к нам, — точнее, ко мне, так как Малышка в счет не идет. Подойдя к столику, он слегка, без всякой рисовки, наклоняется, словно желая взять жареную картофелину с тарелки, и начинает опускаться передо мной на колени. И вот он уже — ей-богу, без всякой рисовки — стоит на коленях и смотрит мне в глаза, и я вижу, что он плачет, и без слов понимаю, что Джонни плачет по маленькой Би.

Естественно, мое первое побуждение — поднять Джонни, не дать ему сделаться посмешищем, но в конечном итоге посмешищем-то становлюсь я, потому что никто не выглядит более жалким, чем человек, который безуспешно старается сдвинуть с места другого, тогда как тому, видно, совсем неплохо на этом своем месте, и он прекрасно чувствует себя в том положении, в каком по собственной воле находится.

Таким образом, завсегдагаи «Флор», не тревожащие себя по пустякам, стали поглядывать на меня не слишком благожелательно. Большинство даже еще не знало, что этот коленопреклоненный негр — Джонни Картер, но все глядели на меня, как смотрела бы толпа на печестивого, который вскарабкался на алтарь и теребит Иисуса, чтобы сдернуть его с креста. Первым пристыдил меня сам Джонни, — молча обливаясь слезами, он просто поднял глаза и уставился на меня. И его взгляд, и явное неодобрение публики вынудили меня снова сесть перед Джонни, хотя чувствовал я себя в тысячу раз хуже Джонни и желал бы оказаться скорее у черта на рогах, нежели в кресле перед коленопреклоненным Джонни.

Финал оказался не таким уж страшным, хотя я не знаю, сколько времени прошло, пока все сидели в оцепенении, пока слезы катились по лицу Джонни, пока его глаза не отрывались от моих, а я в это время тщетно предлагал ему сигарету, потом закурил сам и ободряюще кивнул Малышке, которая, мне кажется, готова была провалиться сквозь землю или реветь вместе с ним. Как всегда, именно Тика спасла положение: она с великим спокойствием подсела к нашему столику, придвинув к Джонни стул и положив ему руку на плечо, но ни к чему его не принуждая. И вот Джонни распрямился и покончил на-

конец со всем этим кошмаром, приняв нормальную позу сидящего приятеля, для чего ему пришлось всего лишь немного приподнять колени и отгородить свой зад от пола (едва не сказал — креста, что, собственно, и представлялось всем) спасительно удобным сиденьем стула. Публике надоело смотреть на Джонни, ему надоело плакать, а нам — паскудно чувствовать себя. Мне вдруг открылась тайна пристрастия иных художников к изображению сидячей натуры; каждый стул в зале «Флор» неожиданно показался мне чудесным предметом, цветком, зефиром, совершенным орудием порядка и соблюдения гражданами правил приличия в своем городе...

Джонни вытаскивает платок, просит как ни в чем не бывало прощения, а Тика заказывает ему двойной кофе и поит его. Малышка же откалывает великолепный номер: когда Джонни очнулся, она в мгновение ока распростилась со своей непроходимой тупостью и стала мурлыкать «Мэмиз-блюз», не подавая и вида, что делает это намеренно. Джонни глядит на нее, и улыбка раздвигает его губы. Мне кажется, что Тика и я одновременно подумали о том, что образ Би мало-помалу тает в глубине глаз Джонни, и он снова возвращается на какое-то время к нам, чтобы побыть с нами до своего следующего исчезновения. Как всегда, едва лишь проходит неприятный момент, когда я чувствую себя побитым псом, ощущение собственного превосходства над Джонни побуждает меня проявить снисходительность и завязать легкий разговор о том о сем, не затрагивая сугубо личных сфер (не дай бог, Джонни опять сползет со стула и пригвоздит себя к...). Тика и Малышка тоже ведут себя просто как ангелы, а публика «Флор» обновляется каждый час, и новые посетители, сидящие в кафе после полуночи, даже не подозревают о том, что было до них, хотя, в общем, ничего особого и не было, если поразмыслить спокойно. Малышка уходит первой (она трудолюбивая девочка, эта Малышка, — в девять утра ей надо репетировать с Фредом Каллендером для дневной записи); Тика, выпив третью стопку коньяка, предлагает подбросить нас домой. Но Джонни говорит «нет», он желает еще поболтать со мной. Тика находит это вполне естественным и удаляется, не преминув, однако, с лихвой оплатить счет, как и полагается маркизе. А мы с Джонни, опрокинув еще по рюмочке шартреза за ее здоровье, — право, между друзьями это позволительно, — отправляемся пешком по Сен-Жермен-де-Прэ, так как Джонни заяв-

ляет, что ему надо подышать воздухом, а я не из тех, кто бросает друзей в подобных обстоятельствах.

По улице Л'Аббэ мы спускаемся к площади Фюрстенберг, вызвавшей в Джонни опасное воспоминание о кукольном театре, будто бы подаренном ему крестным, когда Джонни исполнилось восемь лет. Я спешу повернуть его к улице Жакоб, боясь, что заодно он снова вспомнит о Би, но нет,—кажется, Джонни закрыл эту главу своим последним эксцессом. Он шагает спокойно, не качаясь (иной раз я видел, как его швыряло на улице из стороны в сторону и вовсе не по вине лишней рюмки; что-то не ладилось в мыслях), и нам обоим хорошо в теплоте ночи, в тишине улиц. Мы курим «Голуаз», ноги сами ведут к Сене, а рядом с одной из жестяных стоек букинистов на Кэ-де-Конти случайная ассоциация или посвист какого-то студента навевает нам обоим одну из тем Вивальди, и мы подхватываем и мурлычем ее с большим чувством и настроением, а Джонни говорит потом, что, если бы у него с собой был сакс, он всю ночь напролет играл бы Вивальди, в чем я тут же выражаю свое сомнение.

— Ну, я поиграл бы тоже немного Баха и Чарлза Айвса,— отвечает уступчиво Джонни.— Не понимаю, почему французов не интересует Чарлз Айвс. Ты знаешь его песни? Ту, о леопарде... Тебе надо бы знать песню о леопарде. A leopard...

И своим глуховатым тенором он начинает напевать о леопарде — конечно, многие музыкальные фразы ничего общего не имеют с Айвсом, но Джонни это вовсе не тревожит, и он уверен, что поет действительно хорошую вещь.

Наконец мы садимся на парапет, спиной к улице Жиле-Кёр, свесив ноги над рекой, и выкуриваем еще по сигарете, потому что ночь действительно великолепна. А потом, после курева, нас тянет выпить пива в кафе, и одна эта мысль доставляет удовольствие и Джонни и мне. Когда он впервые упоминает о моей книге, я почти пропускаю его слова мимо ушей, потому что он тотчас снова начинает болтать о Чарлзе Айвсе и о том, как его забавляет варьировать на сто ладов темы Айвса в своих импровизациях для записи, о чем никто и не подозревает (ни сам Айвс, полагаю), но через какое-то время я мысленно возвращаюсь к его реплике о книге и пытаюсь направить разговор на интересующую меня тему.

— Да, я прочитал несколько страниц,— говорит Джон-

ни.— У Тики много спорили о твоей книге, но я ничего не понял, даже названия. Вчера Арт принес мне английское издание, и тогда я кое-что посмотрел. Хорошая книжка, интересная.

Лицо мое принимает подобающее в таких случаях выражение: сама скромность, но не без достоинства, приправленная микродозой любопытства, словно бы его мнение может открыть мне (мне, автору!) истинную суть моего произведения.

— Все равно как в зеркало смотришь,— говорит Джонни.— Сначала я думал, что когда читаешь про кого-нибудь, это все равно как смотришь на него самого, а не в зеркало. Большие люди — писатели, удивительные вещи творят. Вот, например, вся эта часть об истории «бибоп»...¹

— Ничего особенного, я только буквально записал твой рассказ в Балтиморе,— говорю я, неизвестно почему оправдываясь.

— Ладно, пусть так, но только это все равно как в зеркало смотришь,— стоит на своем Джонни.

— Ну, и что же? Зеркало — точная штука.

— Кое-чего не хватает, Бруно,— говорит Джонни.— Ты в этом больше разбираешься, ясное дело. Но, мне думается, кое-чего не хватает.

— Видимо, только того, чего ты сам не досказал,— отвечаю я, немало уязвленный.

Этот дикарь, эта обезьяна смеет... Сразу захотелось поговорить с Делоне, одно такое безответственное заявление в состоянии свести на нет честный труд критика, который... «Например, красное платье Лэн»,— говорит Джонни. Вот такие детали не мешает брать на заметку и включать в последующие издания. Это не повредит. «Будто псиной пахнет,— говорит Джонни.— Только в запахе и цена всей пластинки». Да, надо внимательно слушать и быстро действовать: если подобные, даже мелкие поправки стали бы широко известны, неприятностей не избежать. «А урна посередине, самая большая, полная почти голубой пыли,— говорит Джонни,— так похожа на пудреницу моей сестры». Пока — одни полубредовые дополнения; хуже, если он возьмется конкретно опровергать мои основные идеи, мою эстетическую систему, которую

¹ Бибоп — стиль игры, характерный для «джаз-хот» (от англ. be-bop).

так восторженно... «А кроме того, про джаз кул¹ ты совсем не то написал», — говорит Джонни. Ого, настораживаюсь я. Внимание!

— Как это — не то написал? Конечно, Джонни, все меняется, но еще шесть месяцев назад ты...

— Шесть месяцев назад, — говорит Джонни, слезает с парашюта, ставит на него локти и устало подпирает голову руками. — Six months ago. Эх, Бруно, как бы я сыграл сейчас, если бы ребята были со мной... Кстати, здорово ты это написал: сакс, секс. Очень ловко повернул слова: Six months ago: six, sax, sex. Ей-богу, красиво вышло, Бруно. Черт тебя дерь, Бруно.

Незачем объяснять ему, что его умственное развитие не доходит до понимания глубокого смысла этой невинной игры слов, передающих целую систему довольно оригинальных идей (Леонард Физер полностью поддержал меня, когда в Нью-Йорке я поделился с ним своими выводами), и что паразотизм джаза преобразуется со временем «washboard»², и т. д. и т. п. Как всегда, меня опять развеселила мысль о том, что критики гораздо более необходимы обществу, чем я сам склонен полагать (наедине с собой, в дневниковых записях), потому что создатели — от настоящего композитора до Джонни, — обреченные на муки творчества, не могут диалектически оценивать результаты своего творчества, постулировать основы и определять значимость своего произведения или импровизации. Всегда надо напоминать себе об этом в минуты сплина, когда становится худо от мысли, что ты всего-навсего критик. «Звезда называется «Полынь», — говорит Джонни, и теперь я слышу его другой голос, его голос, когда он... Как бы это выразиться, как описать Джонни, когда он около вас, но его уже нет, он уже далеко? В беспокорстве слезаю с парашюта, вглядываюсь в него. Звезда называется «Полынь», ничего не поделаешь.

— Звезда называется «Полынь», — говорит Джонни в ладони своих рук. — И куски ее разлетятся по площадям большого города. Шесть месяцев назад.

Хотя никто меня не видит, хотя никто об этом не узнает, я с досады пожимаю плечами для одних только звезд.

¹ «Джаз-кул» — букв. холодный джаз (от *англ.* Jazz cool); одно из направлений в джазовой музыке.

² Стиральная доска (*англ.*); применялась в качестве джазового инструмента.

(«Звезда называется «Полынь»!) Мы возвращаемся к старому: «Это я играю уже завтра». Звезда называется «Полынь», и куски ее разлетятся шесть месяцев назад. По площадям большого города. Он ушел далеко. А я зол, как сто чертей, всего лишь потому, что он не пожелал ничего сказать мне о книге, и, в общем, я так ничего и не узнал, что он думает о моей книге, которую столько тысяч любителей джаза читают на двух языках (скоро будут и на трех,— поговаривают об издании на испанском: в Буэнос-Айресе, видно, не только танцуют танго).

— Платье великолепное,— говорит Джонни.— Не поверишь, как оно шло Лэн, но только лучше я расскажу тебе об этом за стопкой виски, если у тебя есть деньги. Дэдэ оставила мне каких-то вшивых триста франков.

Он саркастически смеется, глядя на Сену. Будто ему и без денег не достать спиртного и марихуаны. Он начинает толковать мне, что Дэдэ очень хорошая (а о книге — ничего!) и заботится о его же благе, но, к счастью, на свете существует добрый приятель Бруно (который написал книгу, но о ней — ничего!), и как хорошо было бы посидеть с ним в кафе, в арабском квартале, где никогда никого не беспокоят, особенно если видят, что ты хоть каким-то боком относишься к звезде под названием «Полынь» (это уже подумал я; мы вошли в Сен-Северэн, когда пробило два часа ночи,— в такое время жена моя обычно просыпается и вслух репетирует все то, что выложит мне за утренним кофе).

Итак, мы сидим с Джонни, пробуем отвратный дешевый коньяк, повторяем по стопке и остаемся очень довольны. Но о книжке — ни слова, только пудреница в форме лебедя, звезда, осколки предметов вперемежку с осколками фраз, с осколками взглядов, с осколками улыбок, брызгами слюны на столе и на стакане (стакане Джонни). Да, бывают моменты, когда мне хотелось бы, чтобы он уже перешел в мир иной. Думаю, в моем положении многие пожелали бы того же. Но можно ли допустить, чтобы Джонни умер, унеся с собой мысли, которых он не хочет выложить мне этой ночью; чтобы и после смерти он продолжал преследовать и убегать (я уже просто не знаю, как сказать); можно ли допустить такое, хотя бы это и стоило мне моего спокойствия, моей карьеры, авторитета, который так укрепили бы уже абсолютно неопровержимые тезисы и пышные похороны...

Время от времени Джонни прерывает монотонное постукивание пальцами по столу, глядит на меня, корчит непонятные гримасы и снова принимается барабанить. Хозяин кафе знает нас еще с тех пор, когда мы приходили сюда с одним арабом-гитаристом. Бен-Айфа явно хочет спать, — мы сидим совсем одни в грязном кабаке, пропахшем перцем и жареными на сале пирожками. Меня тоже клонит ко сну, но ярость отгоняет сон, глухая ярость, и даже не против Джонни, а против чего-то необъяснимого, — так бывает, когда весь вечер занимаешься любовью и чувствуешь: надо принять душ, водой и мылом смыть то, что начинает дурно пахнуть, слишком сильно контрастировать с тем, что вначале... А Джонни все отбивает пальцами по столу осточертевший ритм, иногда подпевая себе и почти не обращая на меня внимания. Похоже было, что он и словом больше не обмолвится о книге. Жизнь кидает его из стороны в сторону; сегодня — женщина, завтра — новая неприятность или путешествие. Самым разумным было бы стащить у него английское издание, а для этого следует поговорить с Дэдэ и попросить ее оказать эту любезность — я-то в долгу не остаюсь. А впрочем, зря я тревожусь, даже выхожу из себя. Нечего и ждать проявления интереса к моей книге со стороны Джонни; по правде говоря, мне и в голову никогда не приходило, что он может ее прочитать. Я прекрасно знаю, что в книге не говорится правды о Джонни (но и лжи там нет), — в ней только анализ музыки Джонни. Благоразумие и доброе к нему отношение не позволили мне без прикрас показать читателям его неизлечимую пшизофрению, мерзкое дно наркомании, раздвоенность его жалкого существования. Я задался целью выделить основное, заострить внимание на том, что действительно ценно, на бесподобном искусстве Джонни. Стоило ли еще о чем-то говорить? Но может быть, именно здесь-то он и подкарауливает меня, как всегда выжидает чего-то в засаде, притаившись, чтобы сделать затем свой дикий прыжок, который может сшибить всех нас с ног. Да, наверное, здесь он и хочет поймать меня, чтобы потрясти весь эстетический фундамент, который я воздвиг для объяснения высшего смысла его музыки, для создания стройной теории современного джаза, принесшей мне всеобщее признание. Честно говоря, какое мне дело до его внутренней жизни? Меня лишь одно тревожит — что он будет продолжать валять дурака, а я не могу (скажем, не желаю) описывать его сумасбродства, и

что в конце концов он опровергнет мои основные выводы, заявит во всеулышание, что мои утверждения — ерунда и его музыка, мол, выражает совсем другое.

— Послушай, ты недавно сказал, что в моей книге кое-чего не хватает.

Теперь — внимание!

— Кое-чего не хватает, Бруно? Ах да, я тебе сказал — кое-чего не хватает. Видишь ли, в ней нет не только красного платья Лэн. В ней нет... Может, в ней не хватает урн, Бруно? Вчера я их опять видел, целое поле, и на некоторых — надписи и рисунки, на рисунках здоровые парни в касках, с огромными палками в руках, совсем как в кино. Страшно идти между урнами и знать, что я один иду среди них и чего-то ищу. Не горюй, Бруно, не так уж важно, что ты забыл написать про все это. Но, Бруно, — и он ткнул вверх недрогнувшим пальцем, — ты забыл написать про главное, про меня.

— Ну, брось, Джонни.

— Про меня, Бруно, про меня. И ты не виноват, что не смог написать о том, чего я и сам не могу сыграть. Когда ты там говоришь, что моя настоящая биография в моих пластинках, я знаю, ты от души в это веришь, и, кроме того, очень красиво сказано, но это не так. Ну, ничего, если я сам не сумел сыграть, как надо, сыграть себя, настоящего... то нельзя же требовать от тебя чудес, Бруно... Душно здесь, пойдем на воздух.

Я тащусь за ним на улицу, мы бредем куда глаза глядят. В каком-то переулке за нами увязывается белый кот; Джонни долго гладит его. Нет, думаю, хватит. На площади Сен-Мишель возьму такси, отвезу его в отель и отправлюсь домой. Во всяком случае, ничего страшного не случилось; был момент, когда я испугался, что Джонни избрал нечто вроде антитезы моей теории и испробует ее на мне, прежде чем поднять трезвон. Бедняга Джонни, ласкающий белого кота. В сущности, единственно разумное, им сказанное, то, что никто ни о ком ничего не знает, а это далеко не новость. Любое жизнеописание на том стоит и стоять будет, и нечего тут канителиться, черт побери. Идем домой, идем домой, Джонни, уже поздно.

— Не думай, что дело только в этом, — вдруг говорит Джонни, выпрямляясь, словно прочел мои мысли. — Есть еще бог, дорогой мой! Вот тут-то ты и нашлеп ерунды.

— Идем домой, идем домой, Джонни, уже поздно.

— Есть еще то, что и ты, и такие, как мой приятель

Бруно, называют богом. Тюбик с зубной пастой — для них бог. Свалка барахла — для них бог. Боязнь дать себе волю — это тоже для них бог. И у тебя еще хватило совести смешать меня со всем этим дерьмом. Наплел чего-то про мое детство, про мою семью, про какую-то древнюю наследственность... В общем — куча тухлых яиц, а на них сидишь ты и кукарекаешь, очень довольный своим богом. Не хочу я твоего бога, никогда не был он моим.

— Но я только сказал, что негритянская музыка...

— Не хочу я твоего бога, — повторяет Джонни. — Зачем ты заставляешь меня молиться ему в твоей книжке? Я не знаю, есть ли этот самый бог, я играю свою музыку, я делаю своего бога, мне не надо твоих выдумок, оставь их для Махалии Джэксон и папы римского, — и ты сию же минуту уберешь эту писанину из своей книжки.

— Ладно, если ты настаиваешь, — говорю я, чтобы что-нибудь сказать. — Во втором издании.

— Я так же одинок, как этот кот, да еще побольше, потому что я это знаю, а он нет. Проклятый, оцарапал мне руку. Бруно, джаз не только музыка, я не только Джонни Картер.

— Именно так у меня и сказано и написано, что ты иногда играешь, словно...

— Словно мне в зад иглу воткнули, — говорит Джонни, и впервые за ночь я вижу, как он свирепеет. — Ничего вслух подумать нельзя, — сразу ты переводишь на свой паскудный язык. Если я играю, а тебе чудятся ангелы, я тут ни при чем. Если другие разевают рты и орут, что я достиг вершины, я тут ни при чем. И самое плохое, — вот это ты совсем упустил в своей книжке, Бруно, — что я ведь ни черта не стою, вся моя игра и все хлопки публики ни черта не стоят, действительно ни черта не стоят!

Поистине трогательный прилив скромности, да еще в такой поздний час. Ох, этот Джонни...

— Ну, как тебе объяснить? — кричит Джонни, схватив меня руками за плечи и сильно потрянув раза три («La raix!»¹ — завизжали слева из окна). — Дело не в том, какой тут стиль музыкальный, здесь другое... Вот есть же разница, — мертвая Би или живая. То, что я играю, это мертвая Би, понимаешь? А я хочу, я хочу... И потому я иногда бью свой сакс вдребезги, а публика думает, — я в

¹ Тихе! (франц.)

белой горячке. Ну, правда, я всегда под мухой, когда так делаю, сакс-то бешеных денег стоит.

— Идем, идем. Я возьму такси и отвезу тебя в отель.

— Ты сама доброта, Бруно, — усмехается Джонни. — Мой дружок Бруно пишет в своей книжке все, что ему болтают, кроме самого главного. Я никогда не думал, что ты можешь так погибать, пока Арт не достал мне книгу. Сначала мне показалось, ты говоришь о ком-то другом, о Ронни или о Марселе, а потом — Джонни тут, Джонни там, значит, говорится обо мне, и я спросил себя: разве это я? Там и про меня в Балтиморе, и про Бэрдленд, и про мою манеру игры, и все такое... Послушай, — добавляет он почти холодно, — я не дурак и понимаю, что ты написал книгу на публику. Ну и хорошо, и все, что ты говоришь о моей манере игры и чувстве джаза — на сто процентов о'кей. Чего нам еще спорить об этой книге? Мусор в Сене, вон соломинка, плывущая мимо, твоя книга. А я — вон та, другая соломинка, а ты — вот эта бутылка... плывет себе, качается в одну сторону — в другую... Бруно, я, наверное, никогда не поймаю, не...

Я поддерживаю его под руки и прислоняю к парапету. Он опять тонет в своих галлюцинациях, шепчет обрывки слов, отплеивается.

— Не поймаю, — повторяет. — Не поймаю...

— Что тебе хочется поймать, братец? — говорю я. — Не надо желать невозможного. То, что ты поймал, хватило бы...

— Ну, да, для тебя, — говорит Джонни с упреком. — Для Арта, для Дэдэ, для Лэн... Ты знаешь, как это... Да, иногда дверь начинала открываться... Гляди-ка, обе соломинки поравнялись, заплясали рядом, закружились... Красиво, а?.. Начинала дверь открываться, да... Время... Я говорил тебе, мне кажется, что эта штука «время»... Бруно, всю жизнь в своей музыке я хотел наконец приоткрыть эту дверь. Хоть немного, одну щелку... Мне помнится, в Нью-Йорке, как-то ночью... Красное платье... Да, красное, и шло ей удивительно. Так вот, как-то ночью я, Майлз и Холл... Целый час, думаю, мы играли запбем, только для самих себя, и были дьявольски счастливы... Майлз играл что-то поразительно прекрасное — я чуть со стула не свалился, а потом сам заиграл, закрыл глаза и полетел. Бруно, клянусь, я летел... И слышал, будто где-то далеко, далеко, но изнутри меня самого или рядом со мной, кто-то растет... Нет, не кто-то, не так... Гляди-ка,

бутылка мечется на воде, как чумовая... Нет, не кто-то, очень трудно искать сравнения... Пришла какая-то уверенность, ясность, как бывает иногда во сне, — понимаешь? — когда все хорошо и просто, Лэн и дочка ждут тебя с индейкой ча столе; когда автомашина не пьтается на красный свет и все катится гладко, как бильярдный шар. А я был словно рядом с самим собой, и для меня не существовали ни Нью-Йорк, ни, главное, время, ни потом... Не существовало никакого «потом»... На какой-то миг я очутился в вечности... И невдомек мне было, что все это ложь, что так случилось из-за музыки, она меня унесла, закружила... И только кончил играть, — ведь когда-нибудь надо было кончить, бедняга Холл уже доходил за роялем, — в этот самый миг я опять упал в самого себя...

Он всхлипывает, утирает глаза своими грязными руками.

Я просто не знаю, что делать, уже поздно, с реки тянет прохладой. Так легко простудиться.

— Мне кажется, я хотел летать без воздуха, — опять забормотал Джонни. — Кажется, хотел видеть красное платье Лэн, но без Лэн. А Би умерла, Бруно. Должно быть, ты прав, — твоя книжка, наверное, очень хорошая.

— Пойдем, Джонни, я не обижусь, если она тебе не по вкусу.

— Нет, я не про то. Твоя книжка хорошая, потому что... потому что ты не видишь урн, Бруно. Она все равно как игра Сачмо — чистенькая, аккуратная. Тебе не кажется, что игра Сачмо похожа на день именин или на какое-то благодеяние? А мы... Я сказал тебе, что мне хотелось летать без воздуха. Мне казалось... надо быть совсем идиотом... казалось, придет день, и я поймаю что-то совсем особенное. Я ничем не мог себя успокоить, думал, что все хорошее вокруг — красное платье Лэн и даже сама Би — это словно ловушки для крыс, не знаю, как сказать другому... Крысоловки, чтобы никто никуда не рвался, чтобы, понимаешь, говорили — все на земле прекрасно. Бруно, я думаю, что Лэн и джаз, да, даже джаз, — это как рекламы в журналах, красивые штуки, чтобы я забавлялся ими и был доволен, как доволен ты своим Парижем, своей женой, своей работой... У меня же — мой сакс... мой секс, как говорится в твоей книжке. Все это не то. Ловушки, друг... потому что не может не быть чего-то другого; не верю, чтобы мы не подошли очень близко, совсем вплотную, к закрытой двери...

— Одно я тебе скажу, — надо давать, что можешь, — буркнул я, чувствуя себя абсолютным дураком.

— И, пока можешь, хапать премии журнальчика «Даун бит», — кивает Джонни. — Да, конечно, да, да, конечно.

Потихоньку я подталкиваю его к площади. К счастью, на углу — такси.

— Все равно плюю я на твоего бога, — бормочет Джонни. — Ты меня туда не впутывай, я не разрешаю. А если он взаправду стоит по ту сторону двери, будь он проклят. Нечего и стараться искать ключи, если от него зависит — открыть тебе дверь или нет. Надо вышибить ее ногами, вот и все. Разбить вдребезги, извалить в дерьме, ... на нее. Тогда, в Нью-Йорке, я было поверил, что открыл дверь своей музыкой, но, когда кончил играть, этот проклятый захлопнул ее перед самым моим носом, — и все потому, что я никогда ему не молился и в жизнь не буду молиться, потому что я знать не желаю этого продажного лакея, открывающего двери за подачки, этого...

Бедняга Джонни, он еще жалуется, что такие вещи не попадают в книгу. А ведь уже три часа ночи, матерь божья!

Тика вернулась в Нью-Йорк, Джонни вернулся в Нью-Йорк (без Дэдэ, которая прекрасно устроилась с Луи Перроном, многообещающим тромбонистом). Малышка Леннокс вернулась в Нью-Йорк. Сезон в Париже выдался неинтересным, и я скучал по своим друзьям. Моя книга о Джонни всюду имеет успех, и, понятно, Сэмми Претцал заговорил о возможности ее экранизации в Голливуде — такая перспектива особенно приятна, если учесть высокий курс доллара по отношению к франку. Жена моя еще долго злилась по поводу моего флирта с Малышкой Леннокс, хотя, в общем, ничего серьезного и не было: в конце концов Малышка — типичная потаскушка, и любая умная женщина должна понять, что подобные эпизоды не нарушают супружеской гармонии, уже не говоря о том, что Малышка уехала в Нью-Йорк с Джонни и даже, во исполнение своей давней мечты, на одном с ним пароходе. Наверное, уже курит и марихуану с Джонни, бедная девочка, пропащее, как и он, существо. А грампластинка «Страстиз» только что появилась в Париже, как раз в то время, когда уже совсем было подготовлено второе издание моей книги и шел разговор о ее переводе на немецкий. Я много думал о некоторых новых трактовках. Будучи честным

человеком — в меру возможностей своей профессии, — я спрашивал себя, так ли необходимо по-иному освещать личность моего героя. Мы долго обсуждали этот вопрос с Делоне и Одейром, но они, откровенно говоря, ничего не могли мне посоветовать, так как считали, что книга великолепна и в таком виде нравится публике. Мне казалось, оба они боялись опасных литературных подробностей, перегрузки произведения вещами, почти или совсем не имеющими отношения к музыке Джонни, по крайней мере к той, которую мы все понимаем. Мне казалось, что мнение авторитетных специалистов (и мое собственное решение, которое глупо было бы отметить в данной ситуации) позволяло оставить в неприкосновенности первый вариант. Внимательный просмотр музыкальных журналов США (четыре репортажа о Джонни, сообщения о новой попытке самоубийства — на сей раз настойкой йода, — промывание желудка и три недели в больнице, затем снова выступление в Балтиморе как ни в чем не бывало) меня вполне успокоил, если не говорить об огорчении, причиненном этими досадными рецидивами. Джонни не сказал ни одного плохого слова о книге. Например (в «Стомпинг эраунд», музыкальном журнале Чикаго, в интервью, взятом Тедди Роджерсом у Джонни): «Ты читал, что написал о тебе в Париже Бруно В.?» — «Да. Очень хорошо написал». — «Что можешь сказать об этой книге?» — «Ничего. Написано очень хорошо. Бруно — большой человек». Оставалось выяснить, что мог сболтнуть Джонни в состоянии опьянения или наркотической одури, но, по крайней мере, слухов о каком-нибудь его выпаде до меня не дошло. И я решил оставить книгу для второго издания в неприкосновенности и изображать Джонни таким, каким он по сути дела и был: жалким бродягой с интеллектом ниже среднего, с природным талантом, таким, как у музыкантов, шахматистов, поэтов, способных создавать шедевры, но не осознающих (не более боксера, гордого своей силой) всего великолепия своего творчества. Обстоятельства побудили меня сохранить свой портрет Джонни; незачем идти против вкусов публики, которая обожает джаз, но отвергает сугубо профессиональный или психологический анализ. Публика требует полного и быстрого удовлетворения, а это значит — пальцы, которые сами собой отбивают ритм; лица, которые блаженно размякают: музыка, которая щекочет тело, зажигает кровь и учащает дыхание, — и баста, никаких заумных рассуждений.

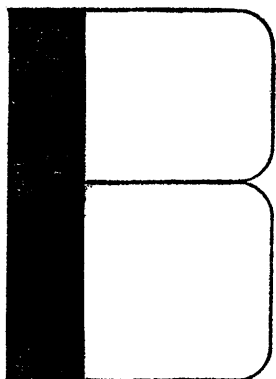
Сначала пришли две телеграммы (Делоне и мне, а вечером уже появились в газетах с глупейшими комментариями). Три недели спустя я получил письмо от Малышки Леннокс, не забывавшей меня: «В Бельвю его принимали чудесно, и я с трудом пробивалась к нему, когда он выходил. Жили мы в квартире Майка Руссоло, который уехал на гастроли в Норвегию. Джонни чувствовал себя прекрасно и, хотя не желал выступать публично, согласился на грамзапись с ребятами из клуба «Двадцать восемь». Тебе могу сказать, что, в общем-то, он был очень слаб (я представляю себе, на что тут намекала Малышка после нашего парижского флирта) и по ночам пугал меня своими вздохами и стонами. Единственное мое утешение,— мило присовокупила Малышка,— что умер он спокойненько, даже сам не заметил как. Смотрел телевизор и вдруг свалился на пол. Мне сказали, что все произошло в один момент». Из этого можно заключить, что Малышки не было с ним рядом,— так и оказалось. Позже мы узнали, что Джонни жил у Тики, провел с ней дней пять, был в озабоченном и подавленном настроении, говорил о своем намерении бросить джаз, переехать в Мексику и работать «на земле» (всех тянет «к земле» в определенный период жизни,— просто скучно!) и что Тика оберегала его и делала все возможное, чтобы успокоить и заставить подумать о будущем (так потом говорила Тика, будто она или Джонни хоть на секунду могли задумываться о будущем). На середине телепередачи, которая очень нравилась Джонни, он вдруг закашлялся, резко согнулся, и т. д. и т. п. Я не уверен, что смерть была моментальной, как сообщила Тика полиции (стремясь выйти из весьма неприятного положения, в каком она оказалась из-за смерти Джонни в ее квартире, из-за найденной у нее марихуаны, из-за прежних неприятностей, которых было немало у бедной Тики, и из-за не вполне благоприятных результатов вскрытия. Можно себе представить, что обнаружил врач в печени и легких Джонни).

«Меня ужасно расстроила его смерть, хотя я могла бы тебе кое-что порассказать,— игриво продолжала эта прелестная Малышка,— но про то напишу или расскажу в другой раз, когда будет настроение (кажется, Роджерс хочет подписать со мною контракт на гастроли в Париж и Берлин), и ты узнаешь все, что должен знать лучший друг Джонни». Затем шла целая страница, посвященная Тике: на маркизе не было оставлено живого места. Если

верить бедной Малышке, Тика повинна не только в смерти Джонни, но и в нападении японцев на Пирл-Харбор, и в эпидемии бубонной чумы. Письмо заканчивалось следующим образом: «Чтобы не забыть, хочу сообщить тебе, что однажды в Бельвю он долго расспрашивал про тебя, мысли у него путались, и он думал, что ты тоже в Нью-Йорке, но не хочешь видеть его; все время болтал о каких-то полях, полных чего-то, а потом звал тебя и даже бранил тебя, несчастный. Ты ведь знаешь, как он бредил в горячке. Тика сказала Бобу Карею, что последние слова Джонни были что-то вроде: «О, слепи мою маску», — но ты понимаешь, в такие минуты...» Еще бы мне не понимать. «Он очень обрюзг, — заканчивала Малышка свое письмо, — и при ходьбе сопел». Подобные детали были совсем в духе такой деликатной особы, как Малышка Леннокс.

Последние события совпали со вторым изданием моей книги, но, к счастью, я успел вставить в верстку нечто вроде некролога, сочиненного просто на ходу, а также фотографию похорон, где отлично отпечатались лица многих известных джазистов. В этом виде биография, можно сказать, представлена полностью. Вероятно, мне не пристало так говорить, но ведь, разумеется, речь идет только о формально-эстетических моментах. Уже поговаривают о новом переводе моей книги, кажется, на шведский или норвежский. Моя жена в восторге от этой новости.

ЮЖНОЕ ШОССЕ



Gli automobilisti accaldati sembrano non avere storia... Come realtà, un ingorgo automobilistico impressiona, ma non ci dice gran che.

Arrigo Benedetti, L'Espresso, Roma, 21, 6, 1964¹.

начале девушка из «дофина» утверждала, что следит за временем, хотя инженера из «пежо-404» это уже не трогало. Глядеть на часы дело нехитрое, но время, прикрепленное к правому запястью, или радиосигналы «би-би» словно отмеряли что-то иное, время тех людей, которые не поддались идиотскому желанию возвращаться в Париж по южному шоссе в воскресенье вечером и которые не были вынуждены, едва миновав Фонтенбло, еле-еле ползти, то и дело останавливаясь. — шесть рядов на каждой стороне дороги (как известно, по воскресеньям шоссе целиком предоставляется возвращающимся в столицу), — включишь мотор, продвинешься на два-три метра, вновь остановишься, поболтаешь с монахинями, машина которых стоит справа, с девушкой в «дофине» — слева, бросишь взгляд через заднее стекло на бледного мужчину за рулем «каравеллы», шутливо выразишь свою зависть супружеской паре из «пежо-203» (позади «дофина»), которая хлопочет над своей девочкой, играет с ней, забавляет и жует сыр, терпишь иногда дикие выходы двух желторотых юнцов из «симки», двигающейся впереди «пежо-404», а во время остановок даже выходишь на разведку, не слишком удаляясь от машины, ибо никогда не узнаешь, в какой момент передние машины возобновят движение — беги тогда во всю прыть, чтобы соседи сзади не подняли шум, сигнала и бранясь), и так доберешься до «таунуса», что впереди «дофина», в котором девушка то и дело поглядывает на часы, перекинешься словом — иногда весело, а порой и досадливо — с двумя мужчинами, с

¹ Считается, что об этих оголтелых автомобилистах рассказывать нечего... В самом деле, пробки на дорогах — любопытное зрелище, но не более. *Arrigo Benedetti, L'Espresso, Рим (итал.).*

которыми едет белокурый мальчик, несмотря ни на что с великим удовольствием катающий игрушечный автомобиль по сиденьям и буферу «таунуса»; можно рискнуть отойти подальше, если увидишь, что передние машины стоят намертво, бросить жалостливый взгляд на старых супругов из «ситроена», похожего на гигантскую фиолетовую ванну, в которой плавают оба старичка, он — держа руки на руле с выражением терпеливой усталости, она — грызя яблоко, скорее со старанием, чем с охотой.

Это повторялось трижды, и на четвертый раз инженер решил больше не выходить из машины и ждать, когда в конце концов пробка рассосется. Августовский жар скапливался в этот час дня где-то на уровне шин, словно для того, чтобы неподвижность еще больше взвизгивала нервы. Все пропахло бензином, над машинами взлетали крикливые голоса молодых людей из «симки», солнце отражалось в стеклах и хромированных частях автомобилей, и в довершение всего — росло нелепое, странное чувство, будто ты погробен в этом густом лесу машин, которым полагалось бы мчаться вперед. Принадлежавший инженеру «четыреста четвертый» располагался во втором ряду справа, если считать от линии, разделяющей автостраду пополам; таким образом, справа от него находилось еще четыре машины, а слева еще семь, хотя, по сути дела, разглядеть как следует можно было лишь восемь непосредственно окружавших его машин и их пассажиров, на которых он уже насмотрелся до одури. Он успел переговорить со всеми, кроме молодых владельцев «симки», внушавших ему неприязнь.

Положение обсуждали в мельчайших подробностях, и у всех возникло впечатление, что до Корбей-Эссона придется продвигаться шажком или еще того медленнее, а между Корбей и Жювизи ритм начнет убыстряться, как только вертолетам и мотоциклистам удастся ликвидировать самое трудное место в пробке. Никто не сомневался, что затор вызван тяжелой катастрофой где-нибудь неподалеку — во всяком случае, трудно было найти иное объяснение столь невероятной медлительности. И тут же — правительство, жара, налоги, дорожное управление, банальность одна за другой, на три метра продвинулись, очередная банальность, еще сто метров, поучение или сдержанная брань.

Две монахини торопились попасть в Милли-ля-Форэ до восьми — они везли в своем «2НР» корзину овощей и

другой зелени для кухни. Супруги из «пежо-203» больше всего боялись пропустить телевизионную игру, которую передают в половине десятого; девушка за рулем «дофина» сказала инженеру, что ей все равно, приедет ли она в Париж раньше или позже, но она возмущается из принципа, так как считает безобразием заставлять тысячи людей двигаться со скоростью каравана верблюдов. В эти последние часы (было, должно быть, около пяти, но солнце все еще подвергало их невыносимой пытке), они, по мнению инженера, проехали несколько сотен метров, но один из пассажиров «таунуса», который подошел перекинуться словом, ведя за руку мальчика с игрушечным автомобилем, проницательно улыбаясь, указал на верхушку одинокого платана, и девушка из «дофина» вспомнила, что этот платан (или, может быть, каштан) находится на одной линии с ее машиной уже столько времени, что не стоило глядеть на часы и ломать голову над бесполезными подсчетами.

Вечер никак не наступал, солнечный жар струился и дрожал над шоссе и кузовами машин, доводя до головокружения. Темные очки, смоченные одеколоном платки на лбах, импровизированные укрытия от солнца, от ослепительных солнечных бликов и клубов выхлопного газа, вырывающихся из труб при каждом броске вперед, становились лучше и совершеннее, перенимались другими и оживленно обсуждались. Инженер вновь вышел из машины размять ноги, обменялся несколькими словами с супругами деревенского вида из «ариана», стоявшего впереди «2НР». Позади «2НР» стоял «фольксваген» с солдатом и девушкой, очевидно молодоженами. Третий ряд в сторону обочины уже не интересовал инженера, это могло бы увести его на опасное расстояние от «четыреста четвертого», у него рябило в глазах от пестроты и разнообразных силуэтов — «мерседес-бенц», «ситроен», «4Р», «ланча», «школа», «моррисмайно», — полный набор. Слева, по другой стороне шоссе, тянулись настоящие заросли — недоступные для него «рено», «Англия», «пежо», «порш», «вольво»; все это было так однообразно, что в конце концов, поболтав с двумя мужчинами из «таунуса» и безуспешно попытавшись обменяться впечатлениями с одиноким водителем «каравеллы», инженер не нашел ничего лучшего, как вернуться в свой «четыреста четвертый» и вновь завести разговор о времени, расстояниях и кино с девушкой из «дофина».

Иногда, протискиваясь между машинами, к ним забредал какой-нибудь чужак с другой полосы дороги или от самых крайних рядов справа, пронесил ту или иную новость, возможно и ложную, но передававшуюся от машины к машине вдоль раскаленных километров. Пришелец смаковал успех своих сообщений, прислушиваясь к хлопанью дверец, — автомобилисты кидались обсуждать принесенную им новость, — но спустя некоторое время где-нибудь раздавался гудок или рев мотора, и чужак бегом бросался прочь, видно было, как он лавирует между машинами, стараясь поскорее добраться до своей и избежать праведного гнева соседей. Именно так за вечер узнали о столкновении «флориды» с «2НР» возле Корбей — трое убитых, один ребенок ранен; о двойном наезде — «фиат-1500» налетел на крытый грузовик «рено», который, в свою очередь, смял «остин», набитый английскими туристами; рассказывали также, будто перевернулся автобус, шедший из Орли и переполненный пассажирами с копенгагенского самолета. Инженер не сомневался, что все или почти все — выдумка, хотя что-то серьезное, вероятно, и правда должно было произойти возле Корбей или даже у самого Парижа, раз движение остановилось на таком большом участке. Крестьяне из «ариана», у которых была ферма в стороне Монтре, хорошо знали окрестности и рассказали, что как-то, тоже в воскресенье, движение было остановлено на пять часов, но теперь этот срок уже казался почти ничтожным — ибо солнце, клонясь к горизонту слева от дороги, опрокидывало на каждую машину последнюю лавину апельсинового желе, от которого закипал металл и темнело в глазах, и позади все маячила и маячила верхушка дерева, а другая едва различимая вдалеке тень все не приближалась, словно для того, чтобы дать почувствовать, что колонна все же двигается, — пусть еле-еле, пусть то и дело останавливается и вновь трогается с места, и внезапно тормозит и ползет только на первой скорости, и всякий раз приходится испытывать оскорбительное разочарование, когда еще и еще раз первая скорость кончается полной остановкой — ножной тормоз, ручной, стоп. И так еще раз, еще и еще.

Однажды, по горло сытый бездействием, инженер решил воспользоваться остановкой, особо долгой и нудной, и обойти ряды машин слева; оставив позади себя «дофин», он увидел «DKW», еще один «2РН», «фиат-600», задержался возле «де-сото», чтобы поговорить с взволнован-

ным и растерянным туристом из Вашингтона, который почти не понимал по-французски, но к восьми часам должен был непременно попасть на Плас Опера — you understand, my wife will be awfully anxious, damn it¹, — разговор шел понемногу обо всем, и тут из «DKW» выбрался человек, торговый агент с виду, и заявил, что час назад ему рассказали, будто посреди шоссе вдребезги разбился «пиперкэб», несколько убитых. Американец оставил без внимания историю с «пиперкэбом», инженер тоже, — услышав хор гудков, он кинулся к своему «четыреста четвертому», на бегу успев сообщить новости пассажирам «таунуса» и супругам из «двести третьего». Подробности он приберег для девушки из «дофина» и излагал их, пока машины ползли свои несколько метров (теперь «дофин» немного отстал от «четыреста четвертого», чуть позже порядок поменялся, но в целом все двенадцать рядов двигались единым блоком, словно невидимый регулировщик, спрятанный где-то под полотном дороги, выпускал одновременно все машины, и никто не мог вырваться вперед). «Пиперкэб», мадемуазель, это небольшой прогулочный самолет. А-а! Пришло же в голову шлепнуться посреди шоссе в воскресный день. Если бы хоть не так парило в этих проклятых машинах, если бы вон те деревья справа оказались наконец позади, если бы последняя цифра на счетчике километров совпала бы наконец с черной стрелочкой, а не висела целую вечность на собственном хвосте.

И вот как-то (начинало смеркаться, уходящие к горизонту автомобильные крыши подернулись лиловой дымкой) большая белая бабочка присела на ветровое стекло «дофина», и девушка с инженером залюбовались ее крылышками, мимолетным и совершенным мгновением покоя; с какой-то особой тоской они глядели ей вслед, когда она, перелетев «таунус» и фиолетовый стариковский «ситроен», направилась к «фиату-600», уже неразличимому вдали, вернулась к «симке», где рука неудачливого охотника попыталась было схватить ее, затем легко перепорхнула «ариан», принадлежащий крестьянской чете, которая, кажется, ужинала, и исчезла из поля зрения где-то справа от «четыреста четвертого». С наступлением сумерек колонна в первый раз продвинулась на значительное рас-

¹ Понимаете, жена будет ужасно беспокоиться, черт побери (англ.).

стояние — почти сорок метров; когда инженер рассеянно взглянул на счетчик километров, шестерка исчезла и показался кончик цифры «семь». Все включили приемники, а обитатели «симки» пустили радио на полную мощность и, подпевая мелодии твиста, тряслись и дергались так, что содрогалась вся машина; монахини перебирали четки, мальчик из «таунуса» уснул, прижавшись лицом к стеклу и не выпуская из рук игрушечного автомобиля. Вновь появились незнакомцы (стояла уже глухая ночь) и принесли новые слухи, столь же противоречивые, как первые, уже забытые. Речь шла теперь не о «пиперкэбе», а о планере, который пилотировала дочь генерала. Подтверждался слух о том, что грузовик-фургон «рено» налетел на «остин», однако это случилось не в Жювизи, а у въезда в Париж; один из пришедших рассказал владельцам «двести третьего», что дорожное покрытие возле Иньи повреждено и что пять автомашин перевернулись, врезавшись передними колесами в трещину. Вести о происшествии дошли и до инженера — тот пожал плечами и воздержался от комментариев. Попозже, перебирая в памяти минуты ранних сумерек, когда стало легче дышать, он вспомнил, как почему-то вдруг высунул руку из машины, постучал по обшивке «дофина» и разбудил девушку, которая уснула, уронив голову на руль и не заботясь о том, что надо двигаться дальше. Вероятно, наступила уже полночь, когда одна из монахинь робко предложила инженеру бутерброд с ветчиной, полагая, что инженер голоден. Он принял его из вежливости (на самом деле его мучило) и попросил разрешения поделиться с девушкой из «дофина», которая взяла бутерброд и съела его с аппетитом, закусив долькой шоколада, предложенной ей соседом слева, владельцем «DKW». Многие выбрались на воздух из своих прокаленных машин, вновь на многие часы застрявших на месте; люди стали ощущать жажду, так как все запасы лимонада, кока-колы и вина у них кончились. Первой попросила пить девочка из «двести третьего», и солдат с инженером и отцом девочки, покинув автомобили, направились на поиски воды. Впереди «симки», обитателям которой радио, очевидно, вполне заменяло пищу, инженер обнаружил «болье» и в нем женщину зрелых лет с тревожным взглядом. Нет, воды у нее нет, но она может дать для девочки конфет. Супруги из «ситроена» посоветались немного, и затем старушка извлекла из сумки банку фруктового сока. Инженер поблагодарил и справился, не

голодны ли они и не может ли он быть им полезен; старик отрицательно покачал головой, но его жена, видимо, готова была принять помощь. Спустя некоторое время девушка из «дофина» вместе с инженером обследовали ряды машин, стоящих по левую руку, не слишком удаляясь от своих; они добыли немного печенья и отнесли его старушке в «ситроен», едва успев вернуться на свои места под ливнем автомобильных гудков.

Если не считать этих ничтожных отлучек, заняться было нечем, и часы в конце концов стали наслаиваться одни на другие, слившись в памяти в единое целое; в какой-то момент инженер решил вычеркнуть день из своей записной книжки и сдержал смехок, но в дальнейшем, когда оказалось, что монахини и пассажиры «таунуса» и девушка из «дофина» не сходятся в подсчетах, он понял, что следовало бы соблюдать точность. Передачи местного радио прекратились, и лишь коротковолновый приемник у пассажира «DKW» упорно передавал биржевые новости. К трем часам утра между людьми возникло молчаливое согласие отдохнуть, и до самого рассвета колонна не сдвинулась с места. Молодые люди из «симки» вытащили надувные матрасы и улеглись возле машины; инженер опустил спинки передних сидений «четыреста четвертого» и хотел уступить ложе монахиням — те отказались; прежде чем прилечь, инженер подумал о девушке из «дофина», неподвижно сидевшей за рулем, и как бы между прочим предложил ей до рассвета обменяться машинами; она отказалась, объяснив ему, что может спокойно спать в любых условиях. Какое-то время он слышал плач ребенка в «таунусе», уложенного на заднем сиденье, где было, должно быть, слишком жарко. Монахини еще творили молитву, когда инженер растянулся наконец на сиденьях и уснул, но сон его был слишком настороженным и чутким, и он вскоре пробудился в поту и тревоге, в первый момент не поняв, где он находится; вскочив, инженер стал прислушиваться к неясному шороху снаружи, увидел скольжение теней между автомобилями и неясный силуэт, удалявшийся к обочине шоссе. Он понял причину этих передвижений и немного погодя сам потихоньку вышел из машины и крадучись стал пробираться к обочине, чтобы облегчиться; по краям не было ни изгородей, ни деревьев — лишь черное пространство, без звезд, словно некая абстрактная стена, отгораживающая белую ленту шоссе с застывшей рекой автомобилей. Он чуть не налетел

на крестьянина из «ариана», тот пробормотал что-то невразумительное; к запаху бензина, который висел над нагретым шоссе, присоединился теперь острый и кислый запах, выдававший присутствие человека, и инженер поспешил вернуться к своему автомобилю. Девушка из «дофина» спала, облокотившись на руль, прядь волос свешивалась ей на глаза; прежде чем зайти к себе в машину, инженер некоторое время с интересом изучал во тьме ее профиль, угадывал очертания ее губ, пропускавших во сне легкий свист. С другой стороны на девушку смотрел владелец «DKW» и молча курил.

Утром продвинулись вперед — ненамного, но все же это дало надежду, что после полудня путь в Париж будет открыт. В девять явился откуда-то человек с добрыми вестями: трещины заделали и нормальное движение скоро восстановится. Ребята из «симки» включили радио, один из них влез на крышу автомобиля и стал орать и петь. Инженер отметил про себя, что новости столь же сомнительны, сколько и вчерашние, и что тот, кто их принес, воспользовался всеобщим оживлением и радостью, чтобы выпросить апельсин у четы из «ариана». Позже еще какой-то человек хотел проделать тот же номер, но уже не нашлось желающих что-либо ему дать. Жара усиливалась, и люди предпочитали не выходить из машин в ожидании момента, когда добрые вести подтвердятся на деле. В полдень девочка из «двести третьего» вновь захныкала, девушка из «дофина» пошла поиграть с ней и подружилась с ее родителями. Владельцам «двести третьего» не повезло: справа от них стояла «каравелла», молчаливый владелец которой был чужд всему, что происходило вокруг, а от соседа слева — водителя «флориды» — им пришлось терпеть нескончаемый поток гневных речей, ибо затор воспринимался им исключительно как выпад против него лично. Когда девочка снова стала жаловаться на жажду, инженеру пришлось на ум переговорить с крестьянами из «ариана» — он был уверен, что у тех были кое-какие припасы. К его удивлению, супруги приняли его очень любезно, им понятно, что в таком положении необходимо помогать друг другу, и они думают, что, если бы кто-нибудь взялся командовать группой (жена рукой обрисовала в воздухе круг, включающий около дюжины окружавших ее машин), они бы не испытывали затруднений до самого Парижа. Инженеру в голову не могло прийти предлагать себя в начальники, и он предпочел

позвать мужчин из «таунуса» и посоветоваться с ними и с владельцами «ариана». Вскоре они по очереди переговорили со всеми членами группы. Молодой солдат из «фольксвагена» согласился сразу, а супруги из «двести третьего» предложили небольшой запас провизии, который у них оставался (девушка из «дофина» отдала стакан гранадина с водой девочке, та резвилась и смеялась). Один из пассажиров «таунуса» пошел узнать мнение молодых людей из «симки» и получил шутливое согласие; бледный водитель «каравеллы» пожал плечами и заявил, что ему безразлично, пусть поступают, как сочтут нужным. Старики из «ситроена» и дама из «болье» заметно обрадовались, словно почувствовали себя под надежной защитой. Водители «флориды» и «DKW» промолчали, а американец, управлявший «де-сото», посмотрел на делегацию с удивлением и пробормотал что-то насчет воли божьей. Инженеру не стоило труда предложить кандидатуру одного из пассажиров «таунуса», к которому он испытывал инстинктивное доверие, в руководители их группы. Никому не хотелось есть, но было необходимо раздобыть воду. Избранный руководитель, которого молодежь из «симки» забавы ради стала называть просто Таунусом, попросил инженера, солдата и одного из молодых людей обследовать участок, прилегающий к шоссе, и предложить продукты в обмен на питье. Таунус, явно обладавший способностью руководить, подсчитал, что им необходимо обеспечить себя максимум на полтора дня — в худшем случае. В автомашине монахинь и в крестьянском «ариане» имелся достаточный для этого запас провизии, и если разведчики вернутся с водой, проблема будет решена. Однако лишь солдат принес полную флягу, хозяин которой требовал взамен продовольствие на двоих. Инженеру обмен не удался, но благодаря хождению он уяснил себе, что в других местах тоже образуются такие же группы с теми же целями: в один прекрасный момент владелец «альфа-ромео» отказался вести с ним переговоры насчет воды и предложил обратиться к представителю их группы — пятая машина сзади в том же ряду. Немного позже увидели, как возвращается молодой человек из «симки» — тоже без воды, но Таунус подсчитал, что у них уже достаточно ее для детей, старушки из «ситроена» и для остальных женщин.

Инженер описывал девушке из «дофина» свои блуждания по окрестностям (был час дня и солнце загнало их

в машины), когда она вдруг прервала его жестом и указала на «симку». В два прыжка инженер достиг машины и схватил за локоть одного из молодых людей, который, развалясь на сиденье, большими глотками пил воду из фляжки, незаметно пронесенной под сиденьем. Парень обозлился и попробовал было вырваться, но инженер сжал его руку сильнее; приятель парня выскочил из машины и кинулся на инженера; тот отступил на два шага и даже с некоторым сожалением стал его поджидать. Солдат уже бежал ему на помощь, а крики монахинь привлекли внимание Таунуса и его товарища; Таунус выслушал рассказ о происшествии, подошел к парню и отвесил ему пару пощечин. Парень закричал, стал возмущаться и хныкать, его приятель ворчал, но вмешаться не посмел. Инженер забрал флягу и протянул ее Таунусу. Раздались гудки, и все разошлось по своим автомобилям, впрочем, зря, так как колонна продвинулась на каких-нибудь полдюжины метров.

К середине дня, когда солнце жгло еще горячее, чем накануне, одна из монахинь сняла с головы чепец, а вторая смочила ей виски одеколоном. Женщины понемногу стали заниматься делами милосердия, переходя от машины к машине, и возиться с детьми, чтобы освободить мужчин; никто не жаловался, но бодрое настроение было вымученным, оно поддерживалось только привычной игрой слов и скептическим взглядом на вещи. Инженер и девушка из «дофина» особенно страдали, чувствуя себя потными и грязными, их умиляло почти полное безразличие супругов из «ариана» к исходившему от них тяжело-му запаху пота, который ударял в нос всякий раз, когда инженер с девушкой подходили к их машине поболтать или передать какую-нибудь новость. К вечеру инженер, случайно взглянув в заднее стекло, как всегда увидал бледное, напряженное лицо человека за рулем «каравеллы», державшегося, как и толстяк водитель «флориды», особняком. Инженеру показалось, что черты его еще более вытянулись, он даже спросил себя, не болен ли тот. Однако несколько позже, когда инженер отправился поболтать с солдатом и его женой, ему представилась возможность увидеть водителя «каравеллы» поближе, и он сказал себе — человек этот не болен; это было что-то другое, отчужденность, что ли, если необходимо дать какое-то название. Солдат рассказывал потом инженеру, что на его жену наводит страх этот молчаливый субъект, ни на мгновение не отры-

вающийся от руля и, кажется, бодрствующий во время сна. Стали рождаться всякие предположения, создавался целый фольклор как противоборство вынужденному безделью. Дети из «таунуса» и «двести третьего» подружились, подрались и вновь помирились; их родители навещали друг друга, а девушка из «дофина» то и дело ходила справляться о здоровье старушки из «ситроена» и дамы из «болье». Когда к вечеру внезапно задул резкий ветер и солнце скрылось за облаками, затянувшими небо на западе, все обрадовались, надеясь, что в воздухе станет свежее. Первые капли совпали с небывалым рывком вперед — почти на сотню метров; вдалеке блеснула молния, стало еще душнее. Воздух был так насыщен электричеством, что Таунус, проявив безошибочное чутье, восхитившее инженера, оставил свою группу в покое до вечера, словно боялся, что усталость и жара дадут себя знать. В восемь вечера женщины взялись распределять провизию; решили сделать крестьянский «ариан» главной продовольственной базой и складом, а в «2НР» у монахинь устроить запасной склад. Таунус лично отправился переговорить с руководителями четырех или пяти соседних групп. Затем с помощью солдата и мужчины из «двести третьего» отнес часть продовольствия в другие группы и возвратился с водой и несколькими бутылками вина. Было решено, что молодые люди из «симки» уступят свои надувные матрасы старушке из «ситроена» и даме из «болье»; девушка из «дофина» отнесла этим женщинам два шотландских пледа, а инженер предложил всем желающим свою машину, которую в шутку назвал «спальным вагоном». К его удивлению, девушка из «дофина» приняла предложение и провела эту ночь на диване «четыреста четвертого» вместе с одной из монахинь; другая устроилась в «двести третьем» вместе с девочкой и ее матерью, а отец девочки переночевал прямо на дороге, завернувшись в плюшевое одеяло. Инженеру не спалось, и он коротал ночь, играя в шашки с Таунусом и его приятелем; через некоторое время к ним присоединился крестьянин из «ариана», они поговорили о политике и выпили несколько глотков водки, которую крестьянин вручил Таунусу сегодня утром. Ночь прошла неплохо; посвежело, между облаками блеснули звезды.

На рассвете их стало клонить ко сну — стремление оказаться под кровом, рождавшееся с первым неясным светом зари. Таунус уснул рядом с сынишкой на заднем

сиденье машины, его приятель и инженер устроились на переднем. В промежутках между двумя свидениями инженеру показалось, что он слышит где-то далеко крики и видит смутный свет; руководитель другой группы, навестивший их, рассказал, что машин на тридцать вперед возник пожар, виновником оказался какой-то человек, пытавшийся тайком сварить себе овощи. Таунус пошутил по поводу происшествия и, обходя машины, интересовался, как прошла ночь, но ни от кого не ускользнуло, что он хотел сказать. Тем утром колонна двинулась очень рано, и пришлось пошевеливаться, чтобы поставить на место сиденья и надеть чехлы, но поскольку это надо было делать всем, почти никто не терял терпения и не нажимал на гудки. К полудню продвинулись вперед более чем на пятьдесят метров, и справа от дороги проступили очертания леса. Те, кто в этот момент мог добраться до опушки и понежиться в тени, вызвали всеобщую зависть. Может, там был ручей или колонка с питьевой водой. Девушка из «дофина» прикрыла глаза и размечталась — о душе, о струйках, бьющих по шее и спине, сбегаящих по ногам; инженер, краем глаза наблюдавший за ней, увидел, как две слезы скатились у девушки по щекам.

Таунус навестил «ситроен» и тотчас же отправился на поиски женщин помоложе, которые могли бы присмотреть за старушкой, почувствовавшей себя плохо. В третьей группе позади был врач, и солдат побежал за ним. Инженер, который насмешливо, но благожелательно следил за стараниями ребят из «симки» загладить свою вину, понял, что сейчас удобный момент предоставить им эту возможность. Брезентом от туристской палатки ребята прикрыли окна «четыреста четвертого», и спальный вагон превратился в санитарную машину, где старушка могла лежать в относительной темноте. Муж улегся рядом с нею и взял ее за руку, и их оставили наедине с врачом. Затем старой женщиной, которой стало лучше, занялись монахини, и остаток дня инженер развлекался, как мог, — навещал другие машины и отдыхал в машине Таунуса, когда солнце жгло особенно немилосердно; только трижды пришлось ему бежать к своему автомобилю — старики там, кажется, уснули, — чтобы провести его вместе со всей колонной до следующей остановки. Когда наступила ночь, они все еще не поравнялись с лесом.

К двум часам ночи температура упала, и те, у кого нашлись одеяла, радовались, что могут закутаться. По-

скольку колонна вряд ли могла двинуться до рассвета (что-то такое носилось в воздухе, в дуновении ветерка, набегавшего от горизонта, до которого недвижно стояли в ночи машины), инженер и Таунус сели покурить и побеседовать с крестьянином из «ариана» и солдатом. Расчеты Таунуса уже не оправдались, он откровенно это признал; утром придется что-то предпринимать, чтобы добыть еще провизии и питья. Солдат отправился к руководителям соседних групп — те тоже не спали; понизив голоса, чтобы не разбудить женщин, они решали, что делать. Опросили представителей самых отдаленных групп, в радиусе восьмидесяти или даже ста автомобилей, и убедились, что положение у всех одинаковое. Крестьянин хорошо знал местность; он предложил послать на заре двоих или троих молодых людей купить продовольствие на близлежащих фермах, а Таунус занялся подбором водителей для машин, которые на время этой вылазки лишатся хозяев. Мысль была удачной, и среди присутствующих легко собрали деньги; решили, что крестьянин, солдат и приятель Таунуса пойдут вместе и захватят с собой все имеющиеся сумки, сетки и фляжки. Руководители других групп вернулись к себе организовать такие же экспедиции, а на рассвете все рассказали женщинам и приняли необходимые меры, чтобы колонна могла двигаться дальше. Девушка из «дофина» сообщила инженеру, что старушке стало лучше и она хочет вернуться к себе в «ситроен», в восемь пришел врач — он не обнаружил ничего такого, что мешало бы старикам вернуться в свой автомобиль. Так или иначе, Таунус решил оставить «четыреста четвертый» на роли санитарной машины; молодые люди забавы ради соорудили флажок с красным крестом и укрепили его на антенне автомобиля. Уже некоторое время люди предпочитали пореже выходить из машин; температура все падала, и в полдень хлынул проливной дождь, вдали засверкали молнии. Жена фермера стала поспешно подставлять под струи воды пластмассовый кувшин, чем особенно развеселила ребят из «симки». Наблюдая за этой картиной и склонившись над раскрытой на руле книгой, которая его не слишком интересовала, инженер задавал себе вопрос, почему экспедиция так долго не возвращается; немного позже Таунус тихонько пригласил его к себе в машину и, когда они уселись внутри, сообщил, что их постигла полная неудача. Приятель Таунуса пояснил: на фермах либо никого не было, либо хозяева отказывались что бы то ни было про-

давать, ссылаясь на правила ограничения частной торговли и подозревая в покупателях инспекторов, которые воспользовались обстоятельствами, чтобы произвести проверку. Несмотря на все, им удалось добыть немного воды и кое-какие продукты, возможно, они были украдены солдатом — тот только улыбался и в подробности не входил. Разумеется, пробка скоро рассосется, однако провизия, которой они располагали, не слишком подходит для двоих детей и старухи. Врач, в половине пятого навестивший больную, устало и раздраженно сказал Таунусу, что и в его, и в других группах та же картина. По радио сообщили о срочных мерах, принимаемых для разгрузки шоссе, но, кроме одного вертолета, который ненадолго показался над ними к вечеру, не было заметно никаких других признаков деятельности. Тем временем становилось все холоднее, и люди, казалось, ждали наступления ночи, чтобы закутаться в одеяла и скоротать во сне еще несколько часов ожидания. Сидя в своем автомобиле, инженер слушал, как торговый агент рассказывал девушке из «дофина» анекдоты, вызывая у нее принужденный смех. С удивлением увидел инженер даму из «болье» — она почти никогда не покидала свою машину — и отправился узнать, не надо ли ей чего, но дама просто интересовалась новостями и завела разговор с монахинями. Какая-то непонятная, невыразимая тяжесть стала угнетать их к вечеру; сна ждали с большим нетерпением, чем сообщений — обычно противоречивых или ложных. Приятель Таунуса незаметно для других посетил инженера, солдата и владельца «двести третьего». Таунус извещал их, что экипаж «флориды» только что дезертировал: один из молодых людей из «симки» увидел пустую машину и стал разыскивать ее хозяина, чтобы вместе с ним убить время. Никто не был хорошо знаком с толстяком из «флориды», который так бурно возмущался в первый день, а потом умолк и, подобно хозяину «каравеллы», больше не раскрывал рта. Когда к пяти утра не осталось ни малейшего сомнения, что Флорида, как, дурчась, называли его ребята из «симки», дезертировал, взяв с собой ручной саквояж и бросив в машине чемодан, набитый рубашками и нижним бельем, Таунус решил, что один из ребят будет управлять покинутой машиной, чтобы не застопорить все движение. Это бегство во тьме вызвало у всех смутное раздражение, и люди задавались вопросом, как далеко мог уйти Флорида напрямик через поля. И для других эта ночь оказалась ночью серьезных решений; рас-

тянувшись на диване своей машины, инженер прислушался — ему почудился какой-то стон, но он подумал, что это солдат и его жена, — стояла глубокая ночь, и в такой обстановке их в конце концов легко было понять. Потом он поразмыслил и приподнял брезент, закрывавший заднее стекло; при свете скудных звезд он, как всегда, увидел в каком-нибудь полуметре от себя ветровое стекло «каравеллы», а за ним словно прильнувшее к нему и несколько странно повернутое, перекошенное судорогой лицо человека. Стараясь не шуметь, инженер вышел в левую сторону, чтобы не разбудить монахинь, и оглядел «каравеллу». Потом разыскал Таунуса, а солдат побежал за врачом. Так оно и было, этот человек покончил самоубийством, приняв какой-то яд; несколько строчек карандашом в записной книжке и письмо к некоей Иветт, покинувшей его во Вьерзоне, говорили сами за себя. К счастью, привычка спать в машинах достаточно укоренилась (по ночам было уже так холодно, что никому не приходило в голову остаться на улице), и поэтому никого не занимало, что другие ходят между машинами или проскальзывают к обочине облегчиться. Таунус созвал военный совет, врач согласился с его предложением. Оставить труп на обочине шоссе значило подвергнуть тех, кто едет сзади, тяжелой психической травме; если оттащить его подальше в поле, можно вызвать столкновение с местными жителями, которые в прошлую ночь поколотили молодого человека из другой группы, отправившегося за провизией. У крестьянина из «ариана» и владельца «DKW» имелось все необходимое, чтобы герметически закрыть багажник «каравеллы». Когда они начинали работу, к ним подошла девушка из «дофина» и, дрожа, вцепилась в руку инженера. Он тихонько рассказал ей о случившемся и, уже несколько успокоенную, проводил обратно в машину. Таунус с товарищами положили тело в багажник, а владелец «DKW» при свете фонарика, который держал солдат, принялся орудовать изоляционной лентой и тубиками с клеем. Поскольку жена «двести третьего» умела водить машину, Таунус решил, что ее муж возьмет на себя «каравеллу», стоявшую справа от «двести третьего», а утром девочка обнаружила, что у ее папы есть еще одна машина, и часами развлекалась и играла, переходя из одной в другую, и даже перенесла часть своих игрушек в «каравеллу».

Впервые холод стал ощущаться также и в полдень, и никто уже не думал скидывать пиджак. Девушка и мона-

хини составили список имевшихся в группе пальто и других теплых вещей. Кое-кто неожиданно обнаружил у себя в чемоданах, в автомобилях пуловеры, одеяла, плащи или легкие пальто. Их тоже переписали и распределили. Снова вышла вся вода, и Таунус послал троих из своих подопечных, в том числе инженера, наладить связи с местными жителями. Трудно сказать почему, но их сопротивление было повсеместным; стоило сойти с шоссе, как откуда-нибудь обрушивался град камней. Ночью кто-то запустил в машины косой — она ударилась о крышу «DKW» и упала рядом с «дофином». Торговый агент побледнел и не двинулся с места, но американец из «де-сото» (не входивший в группу Таунуса, но пользовавшийся всеобщей симпатией за остроумие и веселый смех) выскочил из машины, схватил косу и, покрутив ею над головой, швырнул обратно в поле, послав вслед громкое проклятие. Таунус, однако, полагал, что не стоит обострять враждебность; может быть, им еще удастся выйти за водой.

Уже никто не вел счет метрам, на которые они продвинулись в эти дни. Девушка из «дофина» полагала — на семьдесят или двести; инженер был настроен менее оптимистически, но развлекался тем, что продлевал и усложнял подсчеты своей соседки, и время от времени делал попытки отбить ее у торгового агента из «DKW», который ухаживал за ней на свой, профессиональный лад. В тот же вечер молодой человек, которому поручили «флориду», пришел к Таунусу и сообщил, что владелец «форда-меркури» предлагает воду по дорогой цене. Таунус отказался, но к вечеру монахиня попросила у инженера глоток воды для старушки из «ситроена», которая мучилась, но не жаловалась: муж не выпускал ее руки, и монахини и девушка из «дофина» по очереди ухаживали за ней. Оставалось пол-литра воды, и женщины предназначили ее для старушки и дамы из «болье». В ту же ночь Таунус заплатил из своего кармана за два литра воды; Форд Меркури пообещал на следующий день достать еще, но за двойную цену.

Собраться и поговорить обо всем было трудно, — стоял такой холод, что никто не выходил из машины, кроме как по неотложной нужде. Батарейки начали разряжаться, и нельзя было надолго включать отопление; Таунус решил, что два наиболее комфортабельных автомобиля нужно выделить на всякий случай для больных. Завернувшись в одеяла и тряпки (ребята из «снимки» сняли чехлы с сиде-

ний своей машины, соорудили себе из них душегрейки и шапки, а остальные начали им подражать), каждый старался по возможности реже открывать дверцы, чтобы сбегать тепло. В одну из таких промозглых ночей инженер услышал отчаянный плач девушки из «дофина». Попемногу, неслышно он приоткрыл дверцу ее машины, нащупал в темноте ее лицо и погладил мокрую щеку. Почти без сопротивления девушка дала увести себя в «четыреста четвертый», инженер помог ей улечься на сиденье, укрыл единственным одеялом и положил сверху свой плащ. Тьма в машине, превращенной в санитарную, была еще более густой, ведь стекла были затянуты брезентом. Потом инженер опустил оба солнцезащитных щитка и повесил на них свою рубашку и свитер, чтобы полностью затемнить машину. Перед самым рассветом девушка сказала ему на ухо, что еще до того, как она расплакалась, ей показалось, что она видит далеко справа огни какого-то города.

Возможно, это и был город, но из-за утреннего тумана не удавалось ничего разглядеть дальше чем на двадцать метров. Как ни удивительно, в этот день колонна продвинулась вперед на порядочное расстояние, может, на двести или триста метров. И тогда же по радио (которое почти никто не слушал — за исключением Таунуса, чувствовавшего себя обязанным быть в курсе событий) передали новое сообщение; дикторы с упоением говорили о принятии особых мер для освобождения шоссе и ссылались на самоотверженную работу дорожных бригад и полиции. Внезапно одна из монахинь начала бредить. Пока ее приятельница ошеломленно смотрела на нее, а девушка из «дофина» смачивала ей виски остатками духов, монахиня говорила что-то об Армагедоне, о девятом дне, о какой-то цепи. Много позже, под снегом, который начал падать с полудня и постепенно засыпал автомашины, пришел врач. Он выразил сожаление, что нельзя сделать успокаивающий укол, и посоветовал положить монахиню в машину с хорошим отоплением. Таунус поместил ее в свой автомобиль, а мальчик перебрался в «каравеллу», где была также его маленькая приятельница из «двести третьего»; они играли со своими игрушечными автомобилями и очень веселились — ведь они единственные не испытывали голода. Весь этот и следующий день снегопад почти не прекращался, и когда колонне предстояло продвинуться на несколько метров, нужно было придумывать, как и

чем расчистить снежные сугробы, выросшие между машинами.

Никому не приходило в голову удивляться, что продукты и вода распределяются так, а не иначе. Единственное, что мог сделать Таунус, это руководить распределением общих запасов и постараться извлечь побольше пользы из некоторых обменов. Форд Меркури и еще Порш каждый вечер торговали съестным. Таунус и инженер взялись распределять продукты в соответствии с физическим состоянием каждого. Невероятно, однако старушка из «ситроена» все еще жила, хотя находилась в полузабытьи, из которого женщины старались ее вывести. Дама из «болье», страдавшая несколько дней назад от тошноты и головокружения, благодаря похолоданию пришла в себя и больше других помогала монахине ухаживать за ее приятельницей, по-прежнему слабой и несколько одурманенной. Жены солдата и Двести третьего опекали обоих детей; торговый агент из «DKW» — возможно, чтобы утешиться, поскольку хозяйка «дофина» предпочла инженера, — часами рассказывал детям сказки. По ночам люди вступали в другую жизнь, тайную и глубоко частную; неслышно отворялись дверцы машин, чтобы впустить или выпустить съезжившийся силуэт; никто не глядел на других, глаза были так же слепы, как сам мрак. Под грязными одеялами в затхлом воздухе, издававшем запах склепа и заношенного белья, эти люди с грязными, отросшими ногтями добывали себе немного счастья. Девушка из «дофина» не ошиблась: вдалеке сверкал огнями город, они постепенно приближались к нему. К вечеру молодой человек из «симки», неизменно закутанный в обрывки драпировки и зеленое рядно, взбирался на крышу своей машины и замирал там, словно часовой. Устав тщетно исследовать горизонт, он озирал в тысячный раз окружающие его автомобили; с некоторой завистью обнаруживал Дофин в автомобиле Четыреста четвертого, руку, поглаживающую тонкую шею, завершение поцелуя. Шутки ради, теперь, когда дружба с Четыреста четвертым была восстановлена, он кричал им, что колонна сейчас тронется; тогда Дофин вынуждена была покинуть Четыреста четвертого и пересаживаться в свою машину, но вскоре она возвращалась в поисках тепла, а парню из «симки», должно быть, так хотелось тоже привести в свою машину какую-нибудь девушку из другой группы, но нечего было и думать об этом в такой холод, да еще с подведенным

от голода животом, не говоря уже о том, что группа, находившаяся непосредственно впереди них, откровенно враждовала с группой Таунуса после истории с тубоиком сгущенного молока, и, не считая официальных связей с Фордом Меркури и Поршем, с другими группами отношения были практически невозможны. И парень из «симки» лишь досадливо вздыхал и снова занимал свой пост, до тех пор пока снег и холод не загоняли его, дрожащего, в машину.

Однако холод начал слабеть, и после дождей и ветров, которые довели всех до состояния крайнего нервного напряжения и осложнили добычу продовольствия, наступили прохладные солнечные дни, когда можно было выйти из машины, нанести визит соседу, вновь завязать отношения с другими группами. Главы групп обсудили положение, и в конце концов было принято решение помириться с соседями впереди. О внезапном исчезновении Форда Меркури говорили долго, но никто не знал, что могло с ним случиться; однако Порш по-прежнему посещал и контролировал черный рынок. Всегда был какой-то запас воды или консервов, хотя эти запасы таяли, и Таунус с инженером пытались угадать, что произойдет в тот день, когда уже не останется денег, которые можно будет отнести к Поршу. Подумывали даже о насильственных мерах — предлагали захватить Порша и заставить его открыть источник продовольствия, но как раз в эти дни колонна продвинулась на большое расстояние, и руководители группы предпочли подождать еще, избегнув таким образом риска испортить все. Инженера, которым в конце концов овладело почти приятное безразличие, на миг взволновало робкое признание девушки из «дофина», но, подумав, он решил, что никак не мог избежать этого, и мысль иметь от нее сына в конце концов показалась ему такой же естественной, как вечернее распределение продуктов или тайные вылазки к обочине шоссе. Даже смерть старушки из «ситроена» не могла никого удивить. Пришлось снова поработать глубокой ночью, сидеть с мужем и утешать его, ибо он отказывался понимать случившееся. Двое из передней группы подрались, и Таунус должен был выступить третейским судьей и как-то решить их спор. Все совершалось вдруг, без предварительного плана; главное началось тогда, когда уже никто этого не ожидал, и самый беззаботный из всех первым понял, что произошло. Вскарабкавшись на крышу «симки», веселый ча-

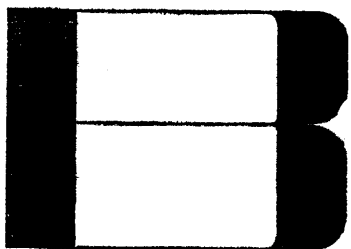
совой подумал, что горизонт, пожалуй, как-то изменился (день клонился к вечеру, желтоватое солнце источало свой скользкий скудный свет) и что метрах в пятистах, трехстах, двухстах происходит что-то неуловимое. Он позвал Четыреста четвертого, Четыреста четвертый сказал что-то Дофин, она быстро перебралась в свою машину, Таунус, солдат и крестьянин уже бежали с разных сторон, а с крыши «симки» парень указывал вперед и бесконечно повторял радостную весть, словно хотел убедиться, что то, что он видит, — правда; затем послышался шум, оживление, что-то похожее на тяжелое, но безудержное движение, пробуждение от бесконечного сна и пробу сил. Таунус громко велел всем вернуться к машинам; «болье», «ситроен», «фиат-600» и «де-сото» взяли с места в едином порыве. Теперь начинали двигаться «2НР», «таунус», «симка» и «ариан», и парень из «симки», гордый, как победитель, обернулся к Четыреста четвертому и махал ему рукой, пока «пежо-404», «дофин», «2НР» с монахинями и «DKW», в свою очередь, не тронулись с места. Однако всем хотелось знать, как долго это продлится; Четыреста четвертый интересовался этим почти по инерции, стараясь тем временем держаться на одной линии с Дофин, и ободряюще улыбался ей. Позади уже трогались «фольксваген», «каравелла», «двести третий» и «флорида», сначала на первой скорости, затем на второй, бесконечно долго на второй, но уже не выключая мотора, как бывало столько раз, нога уверенно нажимает на акселератор, вот-вот можно перейти на третью скорость. Четыреста четвертый протянул левую руку и встретил руку Дофин, чуть коснулся кончиков ее пальцев, увидел на ее лице улыбку надежды и неверия и подумал, что они скоро приедут в Париж и вымоются, куда-нибудь пойдут вместе — к нему или к ней — вымыться, поест и снова будут мыться, мыться до бесконечности, и есть, и пить, а потом уже все прочее, спальня, обставленная как полагается, и ванная комната, и мыльная пена, и бритье, настоящее бритье, и уборная, обед и уборная, и простыни. Париж — отхожее место, и две простыни, и струи горячей воды, стекающей по груди и ногам, и маникюрные ножницы, и белое вино, они выпьют белого вина, прежде чем поцеловаться и почувствовать, что оба пахнут лавандой и одеколоном, прежде чем познать друг друга по-настоящему, при сиянии дня, на чистых простынях, и снова купаться играючи — любить друг друга, и купаться, и пить, и войти в парик-

махерскую, войти в ванную, погладить рукой простыни, и гладить друг друга на простынях, и любить друг друга среди пены, лаванды, разных щеток и щеточек, прежде чем начать думать о том, что предстоит делать, о сыне, о разных разностях и о будущем, и все это, если они не задержатся, если колонна будет двигаться, — раз уж сейчас нельзя перейти на третью скорость, пусть по-прежнему на второй, но двигаться. Коснувшись бампером «симки», Четыреста четвертый откинулся на спинку сиденья, почувствовал, как возрастает скорость, понял, что может нажать на акселератор, не боясь наскочить на «симку», и что «симка» нажимает, не опасаясь ударить «болье», и что сзади идет «каравелла», и что скорость этих машин все растет и растет, и что можно, не опасаясь за мотор, переходить на третью скорость, и рычаги — почти невероятно — стоят на третьей скорости, и ход сделался мягким и все еще убыстрялся, и Четыреста четвертый поглядел нежным затуманенным взглядом влево, отыскивая глаза Дофин. Естественно, что при такой скорости, параллельность рядов нарушилась, Дофин опередила его почти на метр, и Четыреста четвертый видел ее затылок и еле-еле профиль, как раз тогда, когда она оборачивалась, чтобы взглянуть на него, и сделала удивленный жест, заметив, что Четыреста четвертый все больше отстает. Стараясь успокоить ее улыбкой, Четыреста четвертый резко нажал на акселератор, но почти тут же вынужден был затормозить, так как чуть не наскочил на «симку», он коротко надавил гудок — молодой человек из «симки» поглядел на него через заднее стекло и жестом объяснил, что ничего не может поделать, указывая левой рукой на «болье», прижавшееся к его машине. «Дофин» шел на три метра впереди, рядом с «симкой», и девочка из «двести третьего», шедшего рядом с «четыреста четвертым», махала руками и показывала ему свою куклу. Красное пятно справа озадачило Четыреста четвертого; вместо «2НР», принадлежавшего монахиням, или солдатского «фольксвагена» он увидел незнакомый «шевроле», и почти тотчас «шевроле» вырвался вперед, а за ним «ланча» и «рено-8». Слева в паре с ним шел «ситроен», постепенно опережая его метр за метром, но, прежде чем его место занял «пежо», Четыреста четвертому удалось разглядеть впереди «двести третий», который заслонил от него «дофина». Группа рассыпалась, она уже не существовала, «таунус», должно быть, шел где-то на два десятка метров впереди,

за ним «дофин», в то же время третий ряд слева отставал, потому что вместо знакомого «DKW» перед глазами у Четыреста четвертого маячил задник старого черного фургона, может быть, «ситроена» или «пежо». Автомобили мчались на третьей скорости, то обгоняя друг друга, то отставая, в зависимости от ритма движения всего ряда, а по сторонам шоссе бежали деревья, домики, окруженные туманом и вечерними сумерками. Потом зажглись красные огни, каждый включал их вслед за впереди идущим. Ночная тьма стала быстро сгущаться. Изредка звучали гудки, стрелки спидометров ползли все выше, некоторые ряды шли со скоростью семьдесят километров, другие — шестьдесят пять, третьи — шестьдесят. Четыреста четвертый все еще надеялся, что, то вырываясь вперед вместе со своим рядом, то отставая, он поравняется в конце концов с Дофин, но каждый следующий момент убеждал его в тщете его надежд — ведь группа рассыпалась раз и навсегда, и больше не повторятся ни привычные встречи, ни ритуальный дележ продуктов, ни военные советы в машине Таунуса, ни ласки Дофин в безмятежном покое рассвета, ни смех детей, играющих со своими машинами, ни монахиня, перебирающая четки. Когда зажглись огни, — знак, что «симка» тормозит, Четыреста четвертый сбавил ход с нелепым ощущением какой-то надежды и, затормозив, выскочил из машины и бегом кинулся вперед. За «симкой» и «болье» (сзади оставалась «каравелла», но это его не интересовало) он не узнал ни одной машины; через незнакомые стекла с удивлением, а может быть и возмущением, глядели на него чужие, ни разу не встречавшиеся ему лица. Гудели гудки, и Четыреста четвертый вынужден был вернуться к машине. Молодой человек из «симки» приветствовал его дружеским жестом, как бы выражая понимание, и ободряюще указал в сторону Парижа. Колонна снова начала двигаться, сперва несколько минут медленно, а затем так, словно шоссе окончательно освободилось. Слева от «четыреста четвертого» шел «таунус», и на какой-то момент инженеру показалось, что группа вновь собирается, что вновь налаживается порядок, что можно двигаться вперед, ничего не разрушая. Но «таунус» был зеленый, а за рулем сидела женщина в дымчатых очках, не мигая глядевшая вперед. Оставалось лишь отдаться движению, механически приспособиться к скорости окружающих машин, не думать. В «фольксвагене» у солдата ле-

жала его кожаная куртка. У Таунуса — книга, которую он читал в первые дни. Полупустой пузырек с лавандой — в машине у монахинь. Он поглаживал правой рукой плюшевого мишку, которого подарила ему Дофин вместо амулета. Как ни нелепо, он поймал себя на мысли о том, что в половине десятого будут распределять продукты и надо навестить больных, обсудить обстановку с Таунусом и крестьянином из «ариана», а потом наступит ночь, и Дофин неслышно скользнет к нему в машину, взойдут звезды, или набегут тучи, будет жизнь. Да, так и должно быть, невозможно, чтобы это кончилось навсегда. Может, солдату удастся достать немного воды, которую за последние часы почти всю выпили; так или иначе, можно рассчитывать на Порша, если заплатить ему, сколько он просит. А на радиоантенне яростно трепетал и бился флажок с красным крестом, и автомобили мчались со скоростью восемьдесят километров в час к огням, которые все росли, расплывались, и уже никто не знал, зачем нужна эта бешеная скорость, зачем нужен этот стремительный бег машин в ночи среди других, незнакомых машин, и никто ничего не знал о другом, все пристально смотрели вперед, только вперед.

ОСТРОВ В ПОЛДЕНЬ



первые Марини увидел остров, когда, склонившись над креслами левого борта, прилаживал пластмассовый столик, чтобы поставить на него поднос с завтраком. Пассажирка, одна из бесчисленных путешествующих американок, уже не раз поглядывала на него, пока он разносил журналы и виски. Неспешно устанавливая столик, Марини привычно и равнодушно прикидывал, стоит ли ответить на ее настойчивый взгляд, как вдруг в голубой овал иллюминатора всплыло побережье острова, золотистая лента пляжа, холмы, переходящие в унылое плоскогорье. Поправив накренившийся бокал с пивом, Марини улыбнулся пассажирке. «Греческие острова», — сказал он. «Oh, yes, Greece»,¹ — с притворным интересом ответила американка. Послышался короткий звонок, стюард выпрямился и, все с той же профессиональной улыбкой на тонких губах, перешел к чете сирийцев, пожелавших томатного сока. В хвосте самолета он на несколько секунд оторвался от своих обязанностей и еще раз взглянул вниз. Остров был маленький, затерявшийся в ярко-синем Эгейском море, окаймленный ослепительно-белой, как бы окаменевшей полосой, которая там, внизу, наверняка была пеной разбивающихся о скалы и рифы волн. Марини заметил, что пустынные пляжи шли на север и запад, остальное побережье занимали обрывающиеся в море скалы. Скалистый и безлюдный остров. Впрочем, свинцовое пятно у северного пляжа могло быть убогим домишком, и даже не одним. Он принялся открывать банку с соком, а когда выпрямился, остров исчез из иллюминатора, осталось только море, нескончаемый зеленый горизонт. Почему-то он взглянул на часы; был ровно полдень.

¹ Ах да, Греция (англ.).

Марини обрадовался назначению на линию Рим — Тегеран. Полеты здесь были не такими унылыми, как на северных линиях, девушки всегда казались счастливыми от путешествия на Восток или от знакомства с Италией. Спустя четыре дня, успокаивая малыша, который потерял ложечку и в полном отчаянии показывал ему на нетронутый десерт, он снова обнаружил край острова. Правда, было восемь минут разницы во времени, но, когда он взглянул в хвостовой иллюминатор, у него не осталось никаких сомнений. Спутать форму этого острова было невозможно: он походил на черепаху, чуть высунувшую из воды лапы. Марини смотрел до тех пор, пока его не позвали. Теперь он знал наверняка, что свинцовое пятно было группой домишек. Ему удалось разглядеть несколько возделанных участков, подступавших к самому пляжу. Во время остановки в Бейруте он взял у своей напарницы атлас и определил по нему, что этот остров скорее всего Хорос. Радиотелеграфист, ко всему безразличный француз, удивился его любопытству. «Все эти острова на одно лицо. Я уже два года на этой линии, и мне до них нет никакого дела. Да, в следующий раз покажите мне его».

Это был не Хорос, а Ксирос, один из многих островов, которые пока оставались в стороне от туристских маршрутов. «Он не продержится и пяти лет,— заявила ему стюардесса в Риме, когда они сидели за рюмкой.— Если думаешь туда поехать, поспеши. Орды туристов могут нагрянуть в любой момент — Дженджис Кук не дремлет». Но Марини по-прежнему лишь мечтал об острове, разглядывал его, если вовремя о нем вспоминал или оказывался рядом с иллюминатором, и почти всегда под конец пожимал плечами. Все это не имело никакого смысла. Три раза в неделю пролетать в полдень над Ксиросом было так же нереально, как три раза в неделю грезить, что пролетаешь в полдень над Ксиросом. Все стало неправдоподобным в этом бессмысленном повторяющемся видении, все, кроме, пожалуй, желания повторить его снова: взгляд на ручные часы перед полуднем, короткое жгучее ощущение при виде ослепительно-белой каймы на темно-синем, почти черном фоне, при виде домов, где рыбаки, наверное, и глаз не поднимут, чтобы проследить за полетом этой другой нереальности.

Восемь-девять недель спустя, когда ему предложили работу на нью-йоркской линии со всеми ее преимуществами,

Марини сказал себе, что это подходящий момент, чтобы покончить со своей невинной, но неотвязной манией. В кармане у него лежала книга, где какой-то географ с левантийским именем давал о Ксиресе больше сведений, чем обычно содержится в путеводителях. Слыша свой голос как бы издалека, он ответил отказом и, не дожидаясь, когда шеф и две его секретарши придут в себя от изумления, отправился обедать в буфет компании, где его ждала Карла. Недоумение и разочарование Карлы его не смутили. Южный берег Ксиреса был необитаем, но на западном остались следы еще лидийской или, быть может, критомикенской колонии, и профессор Гольдманн нашел приспособленные рыбаками под опоры небольшого мола две каменные плиты с высеченными на них письменами. У Карлы разболелась голова, и она вскоре ушла. осьминоги были основным источником существования горстки жителей. Каждые пять дней приходило судно, чтобы забрать улов и оставить кое-какую провизию и утварь. В бюро путешествий ему сказали, что на Риносе нужно нанять специальное судно. Может быть, его возьмут на фелюгу, забирающую осьминогов, но об этом Марини сможет узнать только уже на Риносе, так как там бюро не имело своего агентства. Так или иначе, мысль провести на острове несколько дней была всего лишь наметкой на июньский отпуск. А пока ему предстояло несколько недель замещать Уайта на туниской линии, потом началась забастовка, и Карла вернулась в Палермо, к своим сестрам. Марини перебрался в гостиницу неподалеку от Пьяцца Навона, где расположены букинистические лавки. От нечего делать он разыскивал в них книги о Греции. Иногда он перелистывал разговорник. Ему понравилось слово «kalimera»¹. Однажды в кабаре он сказал его рыжеволосой девушке, переспал с ней, узнал, что на Одосе у нее есть дедушка и почему-то болит горло. В Риме начались дожди. В Бейруте его всегда ждала Таниа. Были другие истории, вечные разговоры о родственниках и болезнях. Однажды снова был рейс на Тегеран, опять возник остров в полдень. Марини долго не отходил от иллюминатора, и новая стюардесса даже упрекнула его, что он совсем ей не помогает, и подсчитала, сколько раз она подавала завтрак вместо него. Вечером Марини пригласил стюардессу поужинать в Фируз, и ему не составило боль-

¹ Добрый день (греч.).

шого труда добиться прощения за утренний случай. Лючия посоветовала ему постричься по-американски, он ей рассказывал о Ксиро́се, но потом понял, что она предпочитает хилтоновскую водку с лимоном. Так проходило время. Среди бесчисленных подносов с едой, сопровождаемых улыбкой, на которую имеют право все пассажиры. Во время обратных рейсов самолет пролетал Ксиро́с в восемь утра, солнце било прямо в иллюминаторы с левой стороны, и было почти невозможно разглядеть золотистую черепаху. Марини предпочитал ждать полудня во время рейса на Тегеран. Тогда, он знал, можно будет долго стоять у иллюминатора, меж тем как Лючия (а потом Фелиса), подтрунивая над ним, одна делает всю работу. Однажды он сфотографировал Ксиро́с, но снимок получился слишком расплывчатым. Он уже кое-что знал об острове, в нескольких книгах подчеркнул те немногие строки, в которых о нем упоминалось. Фелиса рассказала, что пилоты прозвали его «помешанным на острове», но это его не обидело. Карла только что написала ему, что решила не оставлять ребенка, Марини послал ей две зарплаты и подумал, что теперь денег на отпуск не хватит. Карла приняла деньги и через подругу сообщила, что, вероятно, выйдет замуж за дантиста из Тревизо. Все это не имело никакого значения в полдень по понедельникам, четвергам и субботам (а два раза в месяц и по воскресеньям).

Со временем Марини убедился, что единственным человеком, немного его понимавшим, была Фелиса. Между ними существовал молчаливый уговор, что в полдень, как только он пристраивается у хвостового иллюминатора, пассажиров обслуживает она. Остров показывался всего на несколько минут, но воздух всегда был так чист и море с такой беспощадной четкостью очерчивало остров, что все новые мельчайшие детали неумолимо наслаивались на воспоминания от прошлых полетов: зеленое пятно выступа на севере, свинцово-серые дома, просыхающие на песке сети. Когда сетей не было, Марини чувствовал себя обкраденным, почти оскорбленным. Он было подумал заснять остров во время полета на кинолентку, чтобы в гостинице увидеть его снова, но потом решил не покупать кинокамеру и сэкономить эти деньги, так как до отпуска оставался только месяц. Он не вел точного счета дням. Была Таниа в Бейруте, Фелиса в Тегеране, почти всегда — его младший брат в Риме, все это было

немного смутно, приятно легко и мило, оно как бы заменяло го, другое, заполняя часы до или после полета, и во время полета все тоже было зыбко, и легко, и глупо вплоть до того момента, когда нужно было приникнуть к хвостовому иллюминатору, чувствуя холод стекла как стенку аквариума, где в густо-синем медленно проплывала золотистая черепаха.

В этот день сети четко вырисовывались на песке, и Марини мог бы поклясться, что черная точка слева, у кромки моря,— это рыбак, который, наверное, смотрел вслед самолету. «Kalimeга»,— ни с того ни с сего подумал он. Не было смысла ждать еще. Марио Меролис одолжит ему недостающие для поездки деньги, и меньше чем через три дня он будет на Ксиресе. Прижавшись к стеклу губами, он улыбнулся, представив себе, как станет взбираться на зеленое пятно мыса, нагишом купаться в северных бухточках, как вместе с рыбаками будет ловить осьминогов, объясняясь при помощи жестов и улыбок. Если решиться, ничто не покажется таким уж трудным. Ночной поезд, сначала один пароходик, потом другой, старый и грязный, пересадка на Риносе, нескончаемый торг с капитаном фелюги, ночь на мостике, под самыми звездами, вкус аниса и баранины, рассвет среди островов. Он сошел на берег с первыми лучами солнца, и капитан представил его старику, видимо, местному старейшине. Клайос взял его за левую руку и, глядя прямо в глаза, медленно заговорил. Подошли двое парней, и Марини понял, что это дети Клайоса. Капитан фелюги выкладывал все свои запасы английских слов: двадцать жителей, осьминоги, ловля рыбы, пять домов, итальянский гость заплатит за комнату Клайос. Когда Клайос заспорил о цене, парни рассмеялись, и Марини тоже, он уже был их приятелем. Солнце вставало над менее темным, чем казалось с воздуха, морем, комната была бедная и чистая, кувшин с водой, запах шалфея и дубленой кожи.

Его оставили одного, ушли грузить фелюгу, Марини сбросил с себя одежду, надел купальные трусы и сандалии и отправился бродить по острову. Еще никого не было видно, солнце медленно набирало силу. От травы исходил тонкий кисловатый запах, смешанный с приносимым ветром запахом йода. Было, наверное, около десяти, когда он добрался до северного выступа и узнал самую большую бухту. Он с удовольствием искупался бы у песчаного пляжа, но Марини предпочитал оставить-

ся здесь один. Остров завладел всем его существом, счастье переполняло его, и он не мог ни думать, ни выбирать. Солнце и ветер обожгли тело, когда он разделся и бросился со скалы в море. Вода приятно холодила кожу, он отдался на волю коварных течений, отнесших его к гроту, вернулся в открытое море, лег на спину и замер. Он принял все в едином акте согласия, которое было еще одним названием будущего. Он твердо знал теперь, что не покинет остров, что так или иначе навсегда останется здесь. Ему удалось на мгновение представить себе лица своего брата и Фелисы, когда они узнают, что он остался жить на одинокой скале и промышлять рыбной ловлей. Но в следующий миг, перевернувшись, чтобы плыть к берегу, он уже забыл о них.

Солнце тут же обсушило его, и он пошел к домам. Завидев его, две пораженные женщины бросились бежать и заперлись дома. Он отвесил поклон пустоте и спустился к сетям. Один из сыновей Клайоса поджидал его на пляже, и Марини жестом пригласил его искупаться. Парень заколебался, указывая на полотняные брюки и красную рубаху, но потом сбегал в один из домов и вернулся почти нагишом. Вместе они бросились в море, теплое и сверкающее под лучами солнца, стоявшего уже почти в зените.

Обсушиваясь на песке, Ионас принялся объяснять, как что называется. «Kalimega», — сказал Марини, и парень захохотал, схватившись за живот. Потом Марини повторил новые фразы, научил Ионаса нескольким итальянским словам. Фелюга была уже почти у самого горизонта и становилась все меньше и меньше. Марини почувствовал, что теперь, с Клайосом и его близкими, на острове он был действительно один. Пройдет несколько дней, он заплатит за комнату, научится ловить рыбу, однажды вечером, когда они уже хорошенько его узнают, он им скажет о своем намерении остаться работать вместе с ними. Он встал, протянул руку Ионасу и неторопливо направился к холму. Поднимаясь по крутому склону, он часто останавливался передохнуть, оборачивался, чтобы еще раз увидеть раскинутые на песке сети, силуэты женщин, Ионаса и Клайоса. Они оживленно разговаривали, смеясь и искоса поглядывая на него. Добравшись до зеленого пятна, он вошел в мир, где запах тмина и шалфея, солнечный жар и морской бриз были единой материей. Марини взглянул на часы, но тут же с раздраже-

нием сорвал их с запястья и сунул в карман купальных трусов. Не так-то просто уничтожить в себе прежнего человека, но тут, наверху, под напором солнца и простора, он почувствовал, что это возможно. Он был на Ксиресе. Он столько раз сомневался, что сможет сюда добраться. Он повалился на камни, спиной ощущая их острые грани и раскаленные бока, и уперся взглядом в небо. Издали донеслось гудение мотора.

Закрыв глаза, Марини сказал себе, что не взглянет на самолет, не даст заразить себя худшим, что в нем есть, и что еще раз пролетит над островом. Но в полумраке век он представил себе Фелису с подносом, Фелису, разносящую завтрак в этот самый момент, и заменяющего его стюарда, может, это Джорджо, а может, кто-нибудь еще с другой линии, кто-нибудь, кто сейчас, наверное, улыбается так же, как он, подавая вино или кофе. Не в силах более бороться с прошлым, он открыл глаза и встал на ноги и в тот же миг почти над головой увидел необъяснимо крепящееся правое крыло самолета. Изменение звука турбин, почти отвесное падение в море. Он бросился бежать с холма что было мочи, ушибаясь о камни, раздирая о колючки руки. Холм скрывал от него место падения. Не добежав до пляжа, он свернул и помчался напрямик через бугор и выскочил на пляж поменьше. Хвост самолета среди полной тишины исчезал под водой метрах в ста от берега. Марини с разбегу кинулся в воду. Он надеялся, что самолет вынырнет и будет еще на плаву, но уже не было видно ничего, кроме слабых волн да картонной коробки, бессмысленно покачивающейся на месте падения, и уже почти под конец, когда не имело смысла плыть дальше, из воды на мгновение показалась рука, но этого оказалось достаточно, чтобы Марини изменил направление, нырнул и схватил за волосы человека, который отчаянно пытался ухватиться за него. Марини тянул человека, с хрипом глотавшего воздух, стараясь держаться от него подальше, и мало-помалу добрался до берега. Он поднял на руки одетое во все белое тело, отнес от воды, положил на песок и взглянул в лицо, залепленное пеной. Смерть уже накрыла его своей тенью. Из огромной раны на шее хлестала кровь. Какой был толк в искусственном дыхании, если от каждого движения рана, казалось, раскрывалась все шире и походила на отвратительный рот, который звал Марини, выхватывал его из маленького, столь недолгого счастья жизни на ост-

рове, кричал ему, булькая, что-то, чего он уже не мог понять. Во весь дух бежали дети Клайоса, за ними женщины. Когда подошел Клайос, парни стояли вокруг распростертого на песке тела, недоумевая, как это ему хватило сил доплыть до острова и, истекая кровью, добраться сюда. «Закрой ему глаза», — проговорила сквозь рыдания одна из женщин. Клайос обвел взглядом море в надежде отыскать кого-нибудь еще из уцелевших. Но никого не было видно, как всегда, они были на острове одни, и только безжизненное тело с открытыми глазами распростерлось у их ног.

Н

огда тетя Клеллия вдруг заболела, все страшно растерялись. Даже дядя Роке и тот поддался общей панике, а уж он-то всегда был человеком деловым и находчивым. Карлосу немедленно позвонили в контору. Роса и Пепа отменили уроки музыки и отослали учеников домой. И даже тетю Клеллию куда больше беспокоила мама, нежели собственное здоровье; с ней все обойдется, в этом она не сомневалась, а вот маму, с ее давлением, с ее сахаром, нельзя волновать по пустякам... Ведь не зря же доктор Бонифас сразу согласился с тем, что маме ни под каким видом не следует говорить правду об Александро. И теперь, если тетю Клеллию надолго уложат в постель, придется придумывать что-то, чтобы мама ничего не заподозрила... И надо же такому случиться, когда все так немисливо осложнилось с Александром! Малейший промах, малейшая неосторожность — и мама догадается. Что с того, что дом у них большой! Мама, как на грех, слышала каждый шорох и каким-то чутьем знала, кто где находится. Пепе удалось поговорить с доктором Бонифасом по телефону, и она предупредила всех, что доктор обещал освободиться как можно скорее, что входная дверь будет открыта и он придет без звонка. Пока Роса и дядя Роке хлопотали возле тети Клеллии, которая дважды теряла сознание и жаловалась на невыносимую головную боль, Карлос сидел у мамы. Сейчас он занимал ее разговорами о Бразилии и читал ей последние известия. Мама была в хорошем настроении и даже не вспоминала о поясице, мучившей ее в послеобеденные часы; однако каждого, кто входил в спальню, мама спрашивала, что случилось и почему у всех такой взволнованный вид. Словно сговорившись, все вспоминали о низком атмосферном давлении и о том, что хлеб теперь пекут с ка-

кими-то вредными химическими примесями. К чаю пришел дядя Роке: настал его черед беседовать с мамой, а Карлос, быстро приняв душ, спустился вниз, чтобы там дожидаться доктора Бонифаса. Тетя Клелия чувствовала себя лучше, но все же она явно потеряла интерес ко всему, что так занимало ее до второго обморока, и не могла пошевелить даже пальцами. Пепа и Роса, по очереди дежурившие возле постели тети Клелии, так и не уговорили ее выпить чашечку чая или хоть глоточек воды. Но как бы там ни было, к вечеру в доме стало спокойнее. Всем хотелось верить, что у тети Клелии нет ничего серьезного и что на другой день она в добром здравии появится в маминной спальне.

Вот с Алехандро — дело сложнее! Ведь он погиб в автомобильной катастрофе возле Монтевидео, где жил его приятель, тоже инженер по профессии. Прошел почти год с того страшного дня, а всем в доме казалось, что это случилось только вчера. Всем, кроме мамы! Мама знала, что Алехандро живет в Бразилии, где по контракту с одной из фирм города Ресифе строит цементный завод. После долгой беседы с доктором Бонифасом никто и думать не смел о том, что маму нужно как-то подготовить, намекнуть ей об аварии, мол, так и так, — Алехандро тоже пострадал, но не сильно... Даже Мария Лаура, которая в первые дни была, можно сказать, на грани помешательства, даже она согласилась с тем, что маме ни в коем случае нельзя говорить о несчастье. Карлос и отец Марии Лауры тут же уехали в Уругвай за телом Алехандро, а остальные с ног сбились в хлопотах с мамой, так ей нездоровилось в те дни. В главном зале клуба инженеров (разумеется, с разрешения администрации) был установлен гроб с телом Алехандро, так что все родные, кроме Пепы, — мама не отпускала ее ни на шаг, — сумели хоть короткое время побыть там и немного поддержать окаменевшую от горя Марию Лауру. Конечно, думать обо всем пришлось дяде Роке. На рассвете он высказал свои соображения Карлосу, а тот беззвучно плакал, уронив голову на обитый зеленым сукном стол, за которым они с Алехандро столько раз играли в карты. Чуть позже к ним подсела тетя Клелия. За всю ночь мама ни разу не проснулась, и можно было оставить ее одну. Прежде всего, с молчаливого согласия Росы и Пепы решили не показывать маме «Насьон» — мама нет-нет, а почитывала эту газету, — и все, как один, одобрили то, что придумал дядя Роке. Весьма солидная бразильская фирма предложила

Александро выгодный контракт на год. Александро распрощался с приятелем в Монтевидео, наскоро собрал свои вещи и первым самолетом вылетел в Бразилию. Маме, разумеется, надо сказать всякие слова насчет нынешних нравов, что теперь, мол, все по-другому и предприниматели — народ черствый, ну, а Александро — это самое главное — сумеет вырваться домой на недельку в середине года. Мама отнеслась ко всему лучше, чем ожидали, хотя дело не обошлось без слез и нюхательной соли. Карлос — вот кто умел развеселить маму — сказал, что это просто стыд плакать, когда у ее младшего любимого сына такие успехи. Александро огорчился бы, узнав, как отнеслись к его делам в родном доме. Мама сразу утихла и сказала, что, пожалуй, не прочь выпить наперсточек малаги за здоровье Александро. Карлос тут же выскочил из комнаты, будто за вином, но вино принесла Роса и сама выпила с мамой.

Да... жизнь у мамы была мучительная, и хотя она редко жаловалась, ее не оставляли одну и постоянно старались чем-нибудь развлечь. Когда в четверг, на другой день после похорон, мама удивилась, что нет Марии Лауры — она всегда бывала у них по четвергам, — Пена побежала в дом к старым Новали, чтоб поговорить с Марией Лаурой. Тем временем дядя Роке сидел в кабинете у своего приятеля адвоката и объяснял ему все тонкости дела. Адвокат вызвался незамедлительно написать своему брату в Ресифе (спасибо, что города в мамином доме выбирают с умом) и наладить переписку. Доктор Бонифас, заглянувший к маме как бы мимоходом, сказал, что с глазами куда лучше, но утомлять их нельзя и с газетами — повременить. Тетя Клелия взялась пересказывать маме самые интересные новости; к счастью, мама вообще не выносила радио, и в особенности дикторов. У них противные голоса и потом, чуть ли не каждую минуту, нелепые рекламы сомнительных лекарств, и люди на свою голову принимают их без всякого разбора!

Мария Лаура пришла в пятницу вечером. Она пожаловалась, что экзамен по архитектуре отнял у нее очень много сил.

— Да, мой ангел, — сказала мама, ласково глядя на нее, — у тебя совсем красные глаза, и это никуда не годится! Положи-ка на ночь компрессы с ромашкой. Поверь — лучшего средства нет!

Роса и Пена, готовые в любую минуту подхватить разговор, никуда не отлучались, но Мария Лаура держалась

молодцом, она даже улыбнулась, когда мама вдруг начала говорить, что хорошо, мол, жених, взял да и уехал в такую даль и никому ни слова. Ну да что спросишь с теперешней молодежи: люди просто ума лишились; кругом спешка, суета, ни у кого ни на что нет времени. И тут пошли — уже в который раз! — бесконечные мамини воспоминания о родителях, о бабушке с дедушкой, о родне; потом подали кофе и очень вовремя появился сияющий Карлос со своими шуточками и новыми анекдотами, да и дядя Роке, заглянув в спальню, улыбнулся такой милой, такой располагающей улыбкой... Словом, все шло, как всегда.

Постепенно в доме свыклись с этой сложной игрой. Труднее всех было, пожалуй, Марии Лауре, но зато она навещала маму только по четвергам, один раз в неделю. Настал день, когда пришло первое письмо от Алехандро (мама уже дважды возмущалась его молчанием), и Карлос прочел это письмо, пристроившись в ногах у мамы. Алехандро был в полном восторге от Ресифе. Он во всех подробностях рассказывал о порте, о продавцах попугаев, о великолепных прохладительных напитках. Подумать только — тут все ахнули от удивления, — ананасы почти даром, а кофе необыкновенно ароматный... Мама попросила показать ей конверт и велела отдать марки младшему сыну Марольдов. Будь ее воля, она бы запретила детям возиться с марками, они же никогда не моют рук, а марки, как известно, гуляют по всему свету.

— Да, да! Марки же приклеивают слюной, — говорила мама. — И на них полно микробов. Ведь каждый знает, что микробы очень стойкие... Ну да какая разница... Одной маркой меньше, одной больше!

На другой день мама позвала Росу и продиктовала ей письмо к Алехандро, в котором спрашивала, когда он получит отпуск и не слишком ли дорого обойдется ему поездка домой. Она самым обстоятельным образом рассказала о своем здоровье, не забыла сообщить, что Карлоса повысили в должности, вспомнила о премии, которую получил один из самых способных учеников Пепы и, уж конечно, не преминула написать сыну, что Мария Лаура навещает их дом усердно, не пропуская ни одного четверга, — бедняжка много работает и совершенно не щадит своих глаз. Когда с письмом было покончено, мама поцеловала исписанные листки бумаги и поставила карандашом свою подпись. Пепа тут же выскочила из комнаты, якобы

за конвертами, и незамедлительно явилась тетя Клелия с новыми цветами для вазы на комод и с таблетками, которые прописаны маме на пять часов.

Да... каждый шаг давался нелегко. И когда у мамы резко поднялось давление, невольно подумалось: а вдруг это результат того внутреннего беспокойства и отчаяния, которое, как они ни бьются, проступает, быть может, наружу, несмотря на все меры предосторожности и притворное веселье? Нет, об этом не могло быть и речи! Ведь все их деланные, заранее приготовленные улыбки так часто завершались самым искренним смехом в комнате у мамы! А сколько раз, позабыв обо всем на свете, они шутили, затевали веселую возню там, где больная мама не могла ни увидеть их, ни услышать. Правда, в разгар веселья они вдруг спохватывались и отводили глаза в сторону. Пепа заливалась краской, а Карлос, опустив голову, закуривал сигарету... В сущности, им больше всего хотелось, чтобы поскорее прошло самое страшное время и чтобы мама пока ни о чем не догадывалась. После очередного разговора с доктором Бопифасом вся семья твердо решила ни на шаг не отступать от того, что тетя Клелия назвала «трудами милосердия». Труднее всего были, бесспорно, визиты Марии Лауры: все разговоры в ее присутствии мама сводила к Алехандро, — и это понятно. Ведь маме хотелось знать, какие у них планы — будет ли свадьба, когда Алехандро приедет в отпуск, или ему взбредет в голову что-нибудь еще и он подпишет новый контракт неизвестно где и неизвестно на сколько. Хочешь не хочешь, а приходилось поминутно заглядывать в спальню и всячески занимать маму, чтобы она хоть на минуту оставила в покое Марию Лауру, которая сидела в кресле словно изваяние и до боли стискивала руки. Однажды мама спросила у тети Клелии, отчего это все толкуются в спальне, когда у нее бывает Мария Лаура, — неужто нет другого времени поговорить с невестой Алехандро. Тетя Клелия рассмеялась и сказала, что Мария Лаура и Алехандро вроде бы одно целое, вот почему каждый хочет побыть с ней как можно больше.

— Ты права, Мария Лаура очень хорошая, — сказала мама. — И мой сыночек, бить его мало, такой девушки не заслуживает, клянусь тебе!

— Боже, что я слышу! — удивилась тетя Клелия. — Ведь стоит его имя произнести, ты уже млеешь от восторга.

Мама тоже засмеялась и вспомнила, что скоро придет письмо от Алехандро. Письмо пришло вовремя, и дядя Роке торжественно принес его на подносе вместе с чашкой свежесваренного чая, который мама пьет в пять часов.

На этот раз мама сама пожелала прочесть письмо и попросила очки. Она читала очень медленно, словно смаковала каждое слово и каждую фразу.

— До чего непочтительна современная молодежь! — заметила мама как бы вскользь. — Хорошо еще, что в наши времена не было пишущих машинок, правда, я ни при каких обстоятельствах не посмела бы посылать такие письма ни вам, ни отцу...

— Еще бы! — подхватил дядя Роке. — С отцовским характером...

— А уж тебе, Роке, надо не надо, а лишь бы сказать что-нибудь нелестное о старике. И ведь знаешь прекрасно, что я это не люблю! Вспомни, что бывало с мамой...

— Ну хорошо, хорошо. О старике я так, к слову, но что молодежь непочтительна, это я согласен.

— И как странно, — сказала мама, снимая очки и обводя глазами узорчатый карниз, — я уже получила пять писем от Алехандро, и ни в одном он почему-то не называет меня... Ну да это наш секрет. И все-таки странно, знаешь... Ну хоть бы разочек он меня так назвал, а то...

— Может, ему неудобно писать тебе такое... Одно дело в разговорах называть тебя, а как, между прочим, он тебя называет?

— Это наш секрет. Только мой сыночек и я знаем как, — улыбнулась мама.

Пепа и Роса терялись в догадках, а Карлос в ответ на надоевшие ему расспросы лишь досадливо пожимал плечами:

— Ну чего ты от меня хочешь, дядя? Слава богу, что я способен подделать подпись, а большего от меня и не ждите... Да и мама, наверное, скоро забудет об этом. Вовсе незачем принимать близко к сердцу все ее причуды.

Жизнь шла своим чередом. Но однажды, — месяцев пять спустя после этого разговора, — когда было получено очередное письмо от Алехандро, в котором он снова писал, что у него дел выше головы (хотя жаловаться грех, ибо лучшей работы для молодого инженера и не сыщешь), мама вдруг решительно потребовала, чтобы Алехандро взял отпуск и приехал в Буэнос-Айрес.

Росе, которая писала под мамину диктовку, показалось, что на сей раз мама с большим трудом подбирает слова и слишком долго обдумывает смысл каждой фразы.

— Поди знай, сумеет ли бедняжка приехать, — словно невзначай обронила Роса. — Обидно портить отношения с фирмой, когда все так хорошо складывается и он так доволен.

Мама продолжала диктовать письмо, не обратив ни малейшего внимания на Росины слова. Здоровьем она совсем слаба, и ей бы хотелось, чтоб Алехандро обязательно приехал, — ну, хоть дня на два, на три. Да и пора подумать о Марии Лауре. Никто, конечно, не сомневается, что Алехандро верен своей невесте, но для настоящей любви мало красивых слов и клятв, да еще на расстоянии. Закапчивая письмо, мама выразила надежду, что сын порадует ее хорошими вестями в самом ближайшем будущем. Росе показалось странным, что мама не поцеловала, как обычно, письмо и уж очень долго вглядывалась в исписанные страницы, словно хотела сохранить их в памяти. «Бедный Алехандро!» — вздохнула про себя Роса и торопливо, тайком от мамы перекрестилась.

— Слушай, — обратился к Карлосу дядя Роке, когда они сели за вечернюю партию домино. — По-моему, наши дела плохи. Надо немедленно что-нибудь предпринять... иначе она, рано или поздно, догадается.

— Лично я не знаю, как быть. Вот если бы мама получила такое письмо от Алехандро, которое хоть на время могло бы ее успокоить... Бедняжка так плоха, что тут и думать не приходится...

— Никто и не говорит об этом, мой мальчик! Но я держусь того, что твоя мать умеет владеть собой и вообще как-никак она в семье, среди своих!

Мама молча прочла уклончивое письмо Алехандро, который обещал добиться отпуска, как только сдадут первый корпус завода. Зато вечером, когда пришла Мария Лаура, она сказала, что невесте самое время потребовать, чтобы жених приехал в Буэнос-Айрес хоть на недельку. Потом в разговоре с Росой Мария Лаура отметила, что мама завела об этом речь, улучив тот момент, когда они остались с ней наедине. Да... дядя Роке, вот кто первый сказал вслух то, что всех тревожило и о чем никто пока не решался заговорить. И когда Роса под диктовку мамы написала еще одно письмо к Алехандро, в котором та еще настойчивее просила его приехать до-

мой, на семейном совете решили, что пора — другого выхода нет! — испытать судьбу и посмотреть, сумеет ли мама справиться с первым неприятным известием о сыне. Карлос переговорил с доктором Бонифасом, и тот посоветовал новые капли, а главное — осторожность! Прошло дней десять, и однажды вечером в маминой спальне появился дядя Роке. Он осторожно сел в ногах у мамы и глянул на Росу, которая посасывала мате, примостившись у столика с лекарствами, и что-то упорно разглядывала через окно.

— Вот видишь, теперь-то я понимаю, почему мой драгоценный племянничек не спешит домой! — сказал дядя Роке. — Он просто знает, что тебя, при твоём слабом здоровье, нельзя огорчать!

Мама смотрела на него непонимающими глазами.

— Сегодня мне звонил сам Новали. Кажется, Мария Лаура получила письмо от Алехандро. Он пишет, что все в порядке, но, как это ни жаль, пикуда не сможет поехать в течение нескольких месяцев.

— Почему не сможет поехать? — спросила мама.

— У него что-то приключилось с ногой. Мы все выясним у Марии Лауры. Её отец говорил о переломе ноги...

— О переломе?

Прежде чем дядя Роке сумел подыскать подходящий ответ, Роса уже стояла возле мамы с нюхательной солью наготове. Почти как по заказу явился доктор Бонифас, и через несколько часов все уладилось. Правда, эти часы тянулись мучительно долго, и доктору Бонифасу пришлось задержаться до поздней ночи. Через два дня мама чувствовала себя настолько сносно, что попросила Пепу написать письмо Алехандро. Но когда Пепа, не вникнув в смысл маминых слов, пришла с бумагой и карандашом, мама закрыла глаза и качнула головой.

— Да пиши, что хочешь. Скажи, что надо беречь здоровье.

Пепа безропотно села возле маминой кровати и за чем-то сочинила длинное письмо, она ведь знала уже, что мама не прочтет ни одной строчки. Тем же вечером Пепа сказала Карлосу, что она и ни на минуту не сомневалась в том, что мама не станет читать, подписывать это письмо. Мама открыла глаза, только когда ей принесли микстуру, казалось, она думает о чем-то другом и совсем забыла о письме.

Александро ответил в самом что ни на есть искреннем тоне, что он не хотел огорчать маму и посвящать ее в историю с переломом ноги. Стоило ли писать, что ему дважды накладывали гипс — первый раз неудачно? Вот теперь другое дело, теперь все в порядке, и через недельку-другую он сможет ходить. Словом, месяца два пропадет, не больше, но обидно, что в такой напряженный момент стала вся работа и...

Карлос, который вслух читал это письмо маме, сразу почувствовал, что она рассеянна и часто поглядывает на часы, а уж это верный признак маминого нетерпения и беспокойства. Было пять минут восьмого, в семь же часов Роса обычно приносила бульон и капли, которые прописал доктор Бонифас.

— Ну вот видишь, — сказал Карлос, складывая письмо пополам. — Все в порядке, у твоего мальчика нет ничего страшного!

— Конечно, — согласилась мама. — Знаешь, поторопи Росу, ладно?

Зато Марию Лауру, которая очень подробно рассказала о том, как Александро сломал ногу, мама слушала с большим вниманием и даже посоветовала ей написать Александро о массаже. Именно массаж помог его отцу, когда он упал с лошади. И тут же, словно продолжая начатую фразу, мама попросила несколько капель лимонника — он быстро снимает головную боль.

Мария Лаура первая сказала обо всем напрямик. В тот же вечер перед самым уходом домой она остановила Росу в гостиной и призналась ей в своих сомнениях. Роса лишь молча посмотрела на Марию Лауру, словно не хотела и не могла верить собственным ушам.

— Вот вздор! — сказала Роса. — Как тебе в голову пришло такое?

— Это не вздор, а чистая правда! — ответила Мария Лаура. — И я больше никогда не приду в ее спальню. Что хотите просите, но больше я не приду!

В глубине души каждый понимал, что опасения Марии Лауры не так уж несуразны, но тетя Клеллия сказала — и тут все с ней согласились, — что долг есть долг и что об этом в их доме следует помнить. Роса пошла к Марии Лауре, но та разразилась такими рыданиями, что просить ее о чем-либо уже не было смысла. Вечером в маминной спальне Пепе и Роса все вздыхали и ахали над Марией Лаурой — бедняжка так убивает себя учебой,

экзамены один другого труднее. Мама молчала, а в следующий четверг ни разу не спросила о Марии Лауре. В тот четверг исполнилось десять месяцев со дня отъезда Алехандро в Бразилию. Фирма высоко оценила молодого инженера, и ему предложили продлить контракт еще на год, но с условием — немедленно переехать в Белен, где строят новый завод. Дядя Роке пришел в восторг: это же блистательный успех — ничего лучшего и не придумаешь!

— Алехандро всегда был самым способным, — сказала мама, — а вот Карлос у нас самый упорный.

— Ты права, — согласился дядя Роке и тут же подумал, что Мария Лаура зря подняла переполох в их доме.

— Что и говорить, дорогая, тебе очень повезло с детьми.

— О да! Я на них не жалуясь. Вот только отцу не привелось увидеть их взрослыми. Такие у меня хорошие дочери, и Карлос, бедняжка, так печется о доме.

— И какое будущее у Алехандро!

— А, да... — сказала мама.

— Взять хотя бы этот новый контракт... Знаешь, когда у тебя будет настроение, напиши ему. У него, наверно, кошки скребут на сердце: ведь он думает, что тебя очень расстроило это известие.

— А, да... — повторила мама, уставившись в потолок. — Скажи Пепе, пусть напишет. Она знает, что и как.

Пепа вовсе не знала, о чем писать, но так или иначе, а текст письма нужно иметь под рукой, чтобы не было никакой путаницы с ответом. Алехандро, конечно, обрадовался тому, что мама поняла, как важно было не упускать такую счастливую возможность. С ногой все обошлось, и лишь только ему позволят дела, он попросит отпуск, чтоб приехать домой недельки на две. Мама качнула головой и тут же спросила насчет вечерней газеты — ей хотелось, чтоб Карлос прочел последние новости. Жизнь в доме наладилась без особых усилий; больше неоткуда было ждать подвохов, и мамино здоровье, слава богу, не внушало пока опасений. Все по очереди уделяли маме внимание. Дядя Роке и тетя Клеллия то и дело забегали к ней в спальню. Карлос читал газету по вечерам, а Пепа по утрам. Роса и тетя Клеллия давали маме все назначенные лекарства, дядя Роке раза три-четыре в день пил в ее спальне чай. Мама никогда не оставалась одна, никогда не спрашивала о Марии Лауре, раз в три недели молча слушала, что пишет

Александрo, просила Пепу ответить ему поскорее и тут же переводила разговор на другую тему — всегда внимательная, всегда умная и все же какая-то отчужденная.

Именно в это время дядя Роке начал читать маме сообщения о назревающем конфликте между Аргентиной и Бразилией. Вначале он писал эти сообщения на полях газеты, а потом стал придумывать их с ходу, благо маму совсем не заботили красоты стиля. Разумеется, дядя Роке строил всяческие предположения о том, как это скажется на судьбе Александрo и других аргентинцев в Бразилии, но, видя мамино равнодушие, он прекратил рассуждать о газетных новостях, хотя день ото дня они становились все более тревожными. Сам Александрo тоже намекал в своих письмах на угрозу разрыва дипломатических отношений, но, будучи оптимистом по натуре, он все же верил, что в конце концов министры иностранных дел уладят затянувшийся спор.

Мама большей частью молчала, должно быть, понимала, что отпуск Александрo откладывался надолго. Но однажды она спросила у доктора Бонифаса, правда ли, отношения с Бразилией так плохи, как об этом пишут в газетах.

— С Бразилией? Что тут сказать... дела не блестящие,— ответил доктор.— Но при всем при том у наших правителей есть здравый смысл...

Мама глянула на него так, словно ее озадачил ответ, в котором не было и тени тревоги. Она легонько вздохнула и заговорила о другом. В этот вечер мама была оживленна более обычного, и доктор Бонифас остался ею доволен. А на другой день заболела тетя Клелия. Вообще-то к ее обморокам отнеслись без особого страха, с кем-де не бывает, но доктор Бонифас посоветовал дяде Роке как можно скорее положить тетю Клелию в больницу. Маме, которая слушала, что происходит в Бразилии (Карлос читал ей вечернюю газету), сказали, что у тети Клелии мигрень и что она не в силах встать с кровати. Впереди была целая ночь — времени хватало, чтобы обдумать все как следует, только вот дядя Роке совсем потерялся после разговора с доктором Бонифасом, и пришлось обойтись без его помощи. Слава богу, что Росу осенила мысль о даче Манолиты Валье, тетиной подруги. На утро Карлос так ловко повел разговор с мамой, что вышло, будто мама сама предложила отвезти тетю Клелию на дачу, где свежий воздух и где она быстро поправится. Приятель Карлоса по службе

любезно предложил свою машину — с такой мигренью ехать поездом просто невыносимо. Тетя Клелия сама пожелала проститься с мамой, и Карлос с дядей Роке, взяв тетю Клелию под руки, с трудом — шагком за шагом — довели ее в спальню к маме, а мама все просила беречься простуды (в этих дурацких машинах всегда сквозняк) и, главное, есть перед сном сливы — они лучше всякого слабительного.

— У Клелии сильный прилив крови! — сказала мама Пепе. — Она производит очень плохое впечатление.

— Да нет... Все это пустяки. На даче тетя Клелия сразу поправится. Она, бедняжка, устала за эти месяцы. Манолита, я помню, много раз приглашала ее на дачу.

— Странно! Мне Клелия ни разу об этом не говорила.

— Должно быть, не хотела тревожить тебя по-пустому.

— А сколько времени она там пробудет?

Пепа не знала, но обещала спросить у доктора Бонифаса, ведь он первый и посоветовал тете Клелии уехать на дачу. Мама три дня спустя снова вернулась к этому разговору (у тети Клелии ночью был тяжелейший приступ, и Роса поочередно с дядей дежурили у ее постели).

— Я хочу знать, когда придет Клелия!

— Ну будет тебе, мама! Бедняжка в кои-то веки вырвалась подышать свежим воздухом.

— Да, но, по вашим словам, у нее нет ничего такого...

— Конечно, нет! Ей просто захотелось отдохнуть и вообще побыть с Манолитой... Сама знаешь, что они давние подруги.

— Позвони на дачу и спроси, когда она вернется! — настаивала мама.

Роса, разумеется, позвонила на дачу, и ей сказали, что тетя Клелия поправляется, но еще слаба и пока побудет на даче. А главное — погода стоит великолепная!

— Все это мне не по душе, — сказала мама. — Клелии давно пора вернуться.

— Мама, ну зачем так волноваться? Вот окрепнешь и сама поедешь на дачу к Манолите — погреешься на солнышке...

— Я? — В мамином взгляде было все: и удивление, и обида, и даже злость.

Карлос громко рассмеялся и, пряча глаза (тетя Клелия была в тяжелейшем состоянии — только что звонила Пепа), поцеловал маму в щеку.

— Вот глупенькая! — сказал он так, как говорят напроказившему ребенку.

В эту ночь мама почти не спала и, едва рассвело, спросила о Клелии, хотя в такую рань никто не мог звонить с дачи (тетя Клелия только-только скончалась, и все решили, что бдение возле гроба с ее телом надо устроить прямо в покойнице). В восемь утра звонили на дачу из гостиной, чтобы мама могла слышать весь разговор. К счастью, тетя Клелия хорошо провела ночь, но домашний врач Манолиты все еще настаивает не спешить с отъездом, пока такая чудесная погода. Карлос, несказанно довольный тем, что его контора закрылась наконец на учет, явился в утренней пижаме в мамину спальню,пил не торопясь чай и болтал о разных разностях.

— Слушай, Карлос,— сказала мама.— Я считаю, что надо написать Алехандро. Пусть он придет и навестит тетю. Ведь он всю жизнь был ее любимчиком, ему грех не приехать.

— Ну, мамочка, у тети Клелии нет ничего серьезного, уверяю тебя. Уж если Алехандро не смог вырваться к тебе, то тут — подумай сама...

— Он себе как хочет,— сказала мама,— а ты напиши и скажи, что тетя Клелия больна и следует навестить ее.

— Да с чего ты взяла, что тетя Клелия серьезно больна?

— Если не серьезно — тем лучше. Разве так уж трудно написать?

В тот же вечер письмо было написано и прочитано маме. А к тому времени, когда должен был прийти ответ от Алехандро (тетя Клелия чувствовала себя гораздо лучше, но вот врач пока не отпускал ее домой и советовал побыть еще немного на свежем воздухе), отношения с Бразилией настолько ухудшились, что Карлос стал опасаться, как бы не пропало письмо. При таких обстоятельствах, не дай бог, почта может работать с большими перебоями.

— Ему это на руку,— усмехнулась мама.— Да и сам он не придет, помяните мое слово!

Никто не мог собраться с духом и прочитать маме письмо от Алехандро. Дядя Роке, Карлос и сестры подолгу сидели в гостиной, вздыхали, глядя на пустое кресло тети Клелии, и растерянно, вопрошающе смотрели друг на друга.

— Что за бред! — сказал Карлос.— Мы же привыкли к этому. Одной сценой больше, одной меньше...

— Вот и ступай сам! — сквозь слезы сказала Пепа и принялась вытирать салфеткой глаза.

— Нет, что ни говори, а в чем-то мы сплеховали. Я вот вхожу в мамину спальню с опаской... ну словно боюсь в западню попасть.

— И ведь виновата в этом только Мария Лаура, — сказала Роса. — У нас и в мыслях такого не было, а теперь мы ведем себя натянуто, неестественно. И в довершение всего — тетя Клеллия!

— Знаешь, пока я тебя слушал, мне подумалось, что именно с Марией Лаурой и надо переговорить, — сказал дядя Роке. — Лучше всего, если она, якобы после экзаменов, навестит маму и скажет ей, что Алехандро пока не сможет приехать.

— А у тебя не стынет кровь оттого, что мама совсем не вспоминает о Марии Лауре, хотя Алехандро спрашивает о ней в каждом письме?

— При чем здесь моя кровь! Сейчас мы говорим о деле, и тут — либо да, либо нет! Одно из двух...

Роса долго упрашивала Марию Лауру, и та в конце концов согласилась, не смогла отказать самой близкой подруге. Да и вообще она любила всех в этом доме, даже маму, хотя очень робела в ее присутствии. Словом, через несколько дней Мария Лаура явилась к ним с письмом — его заранее написал Карлос, с букетом цветов и коробкой маминых любимых конфет — мандариновый пат. Да... к счастью, все самые трудные экзамены позади, и Мария Лаура сможет отдохнуть несколько недель в Сан-Висенте.

— Тебе свежий воздух пойдет на пользу, — сказала мама. — А Клеллия, та... Пепа, ты звонила сегодня на дачу? Ах, да! Что за память! Ты же говорила... Подумать только, три недели Клеллия на даче — и вот, пожалуйста...

Мария Лаура и Роса обсудили все подробности этой истории. А когда принесли чай, Мария Лаура прочла отрывки из письма Алехандро, где говорилось о том, что всех зарубежных специалистов интернировали и что очень забавно прохладиться в прекрасном отеле за счет бразильского правительства в ожидании, пока министры восстановят согласие. Мама не обронила ни единого слова, выпила чашечку липового чая и задремала. Подруги перешли в гостиную и уж там наговорились вволю. Перед самым уходом у Марии Лауры возникла вдруг эта роковая мысль о телефоне. Она тут же рассказала обо всем Росе, а та, по правде говоря, ждала, что и Карлос заговорит об

этом. Чуть позже Роса поделилась своими сомнениями с дядей Роке, но он лишь хмыкнул и пожал плечами. В таких случаях лучше помолчать или углубиться в чтение газеты... Карлос не стал ломать голову и строить догадки по поводу мамы, но, по крайней мере, он не отмахнулся от того, что никто не хотел принимать.

— Поживем — увидим! — сказал он Росе и Пепе.— Очень может быть, что она и попросит об этом, а уж тогда...

Но мама ни разу не попросила принести телефон, у нее так и не возникло желания поговорить с тетей Клецией. По утрам она всегда спрашивала, что нового на даче, а потом погружалась в молчание; время в ее спальне отмерялось каплями, микстурой и настойками. Мама не без удовольствия встречала дядю Роке, однако не выказывала никаких признаков волнения, если газету приносили поздно или дядя Роке засиживался за шахматами. Роса и Пепа пришли к выводу, что мама вообще потеряла интерес и к газетам, и к звонкам на дачу, и даже к письмам от Аляхандро. И все-таки полной уверенности не было ни в чем, да и мама вскидывала порой голову и смотрела на них своим проникающим взглядом, в котором по-прежнему проступало что-то упорное и непримиримое. Постепенно все втянулись в эту странную жизнь. Росе ничего не стоило разыгрывать каждый день комедию с телефоном и говорить в пустоту, дядя Роке с легкостью читал придуманные статейки о Бразилии, развернув газету там, где были рекламы и футбольные новости, Карлос уже в дверях маминной спальни начинал свои рассказы о поездке на дачу, о пакетах с фруктами, которые им посылали тетя Клеция и Манолита.

Последние месяцы маминной жизни не изменили заведенного порядка, хотя в этом уже не было смысла. Доктор Бонифас сказал, что мама умрет легкой смертью, она просто забудется и тихо угаснет. Но мама оставалась в ясном уме даже в самые последние минуты своей жизни, когда дети, собравшиеся у ее постели, уже не могли скрыть того, что они чувствуют.

— Как вы были добры ко мне,— сказала мама.— Сколько сил вы потратили, чтобы я не страдала...

Дядя Роке сидел рядом с ней и тихонько, похлопывая ее по руке, упраскивал не говорить глупостей. Пепа и Роса делали вид, что ищут что-то в комод. Они уже зна-

ли, что Мария Лаура была права, они знали то, что так или иначе знали с самого начала.

— Так заботились обо мне...— сказала мама.


И Роса стиснула руку Пепы, потому что эти четыре слова вполне могли вернуть все на прежнее место и восстановить ход столь долгой и необходимой игры. Но Карлос смотрел на маму так, словно чувствовал, что она вот-вот скажет самое важное.

— Теперь вы отдохнете... Больше мы не будем вас мучить...

Дядя Роке хотел было возразить маме, найти какие-то подходящие слова, но Карлос с силой сжал его плечо. Мама погрузалась в забытие, и не к чему было ее тревожить.

На третий день после похорон пришло последнее письмо от Алехандро, в котором он очень интересовался здоровьем мамы и тети Клелии. Роса по привычке открыла это письмо, но так и не сумела прочесть его до конца. Внезапные слезы застлали ей глаза, и только тут она спохватилась, что пока читала строку за строкой, ее мучила неотступная мысль о том, как они напишут Алехандро о смерти мамы.

СЕНЬОРИТА КОРА



We'll send your love to college,
all for a year or two.
And then perhaps in time
the boy will do for you¹.

(Английская народная песня)

е пойму, почему не дают оставаться в клинике на ночь, в конце концов я — мать, и доктор де Луиси познакомил нас с директором. Принесли бы кушетку, и я б у него ночевала, чтоб он попривык, а то, когда мы пришли, он был совсем бледный, словно сейчас на стол, это, наверное, от запаха, муж тоже нервничал, еле дождался, чтоб уйти, а я и не сомневалась, что меня оставят у мальчика. Ему ведь только-только пятнадцать, да и тех не дашь, всегда он со мной, хотя теперь, в этих брюках, он храбрится, хочет быть повзрослее. Ужасно, должно быть, расстроился, когда понял, что я не останусь, но, к счастью, муж с ним болтал, помог надеть пижаму, уложил. А все эта девчонка, сиделка — интересно, у них такое правило, или она мне назло. Я ее так и спросила, прямо сказала, точно ли она знает, что мне остаться нельзя. Сразу видно, что за девица, корчит из себя такую, видите ли, вамп, передник в обтяжку, вида никакого, а гонору — ну, просто главный врач! Ну что ж, я ей все сказала, мальчик просто не знал, куда деваться, муж делал вид, что не понимает, и, конечно, глядел на ее ножки. Одно хорошо: условия прекрасные, сразу видно, что клиника для приличных людей. У мальчика прелестный столик, есть куда положить эти журналы, и муж, слава богу, не забыл принести ему мятных леденцов. А все же завтра с утра поговорю с де Луиси, чтоб он поставил на место эту выскочку. Посмотрю-ка, хорошо ли она его укрыла, и вообще попрошу для верности еще одну сиделку. Укрыла, укрыла, спасибо хоть

¹ Мы в школу пошлем любовь твою
всего на год-другой.
Глядишь, минует время,
и мальчик будет твой (англ.).

ушли, мама думает, я совсем сопляк, все надо мной трясетя. Сиделка решит, что я и попросить ничего не могу, она на меня так посмотрела, когда мама ее пилила. Ну, не дали тут остаться, и ладно, делать нечего, я не маленький, могу и один поспать. А кровать удобная, вечер, тихо, разве что лифт прожужжит где-то далеко, и я вспоминаю тот фильм, там тоже больница, и ночью открывается дверь, понемножку-понемножку, и эта старуха, у нее паралич, видит мужчину в белой маске...

А сиделка ничего, симпатичная, она пришла в полседьмого, всякие бумажки принесла и стала меня спрашивать имя там, фамилию, возраст и всякое такое. Я журнал поскорее спрятал, пускай увидит, что я книги читаю, а не журналы с фотографиями, и она, конечно, заметила, но ничего не сказала, наверное, сердится еще на маму и думает, я тоже такой, буду распоряжаться. Спросила, как аппендикс, я сказал — ничего, ночью не болело. «А как там пульс», — говорит, пощупала, что-то еще записала и повесила листок в ногах кровати. «Есть хочешь?» — говорит. Я, наверное, покраснел, я удивился, что она мне тыкает, очень она молодая и мне понравилась. Я сказал, что есть не хочу, и соврал, мне всегда в это время есть хочется. «На ужин очень мало получишь», — она говорит и, не успев я моргнуть, забрала мои конфеты. И ушла. Не знаю, сказал я ей что или нет, кажется — не успел.

Я очень рассердился, что она со мной, как с маленьким, могла хоть сказать «конфет нельзя», а то взяла, унесла... Конечно, она на маму взъелась, а на мне отыгрывается. Странное дело, как она ушла, я не мог больше злиться — хочу, а не могу. Молодая какая, лет восемнадцать, ну — девятнадцать, наверное, недавно тут, в больнице. Ну, пусть она принесет, и я ее спрошу, как ее звать, надо ж мне ее называть, если она при мне будет. Нет, другую прислали, добренькая такая, в синем платье, принесла бульон и сухарики и дала зеленых таблеток. Эта тоже спросила то и се, и как я себя чувствую, и сказала, тут спать хорошо, у меня чуть не лучшая палата, и точно — я почти до восьми проспал, а разбудила меня еще новая, маленькая, вся в морщинах, вроде обезьянки, очень ласковая, и сказала, чтоб я встал, умылся, только сперва дала градусник, чтоб я его поставил, как тут принято, а я сперва не понял, я всегда ставил под мышку, ну, она объяснила и ушла. Тут мама явилась, ах, слава богу, он в порядке, я думала — он глаз не сомкнет, бедный мальчик, что

ж, все они такие, бьешься, бьешься, а он здесь спит преспокойно, и ему все равно, что я всю ночь не спала.

Доктор де Луиси пришел его посмотреть, а я вышла на минутку, он ведь большой, неудобно, и потом я хотела встретить вчерашнюю сиделку и поставить ее на место — молча, просто взглядом смерить, но в коридоре было пусто. Тут вышел доктор и сказал, что операция будет завтра утром и мальчик в прекрасном состоянии, об опасности нет и речи, в его возрасте вырезать аппендикс — сущие пустяки. Я горячо поблагодарила и сказала кстати, что сиделка, на мой взгляд, не умеет себя вести, и я это говорю потому, что моему сыну необходимы внимание и уход. Потом я пошла к мальчику, чтоб с ним побыть, пока он читает журналы. Он знал, что операция завтра. Ну, чего она, бедняга, так смотрит, как будто завтра светопреставление, я ж не умру, мама, ну, пожалуйста. Нашему Качо тоже вырезали, а он через неделю играл в футбол. Ты иди, не волнуйся, мне совсем хорошо, все у меня есть. Да, мама, да, ну, сколько можно — битых десять минут: «тут болит?», «а тут не болит?», хорошо еще, дома моя сестрица ждет. Ну, ушла, хоть дочитал этот комикс, который вчера начал.

Вчерашнюю сиделку зовут сеньорита Кора, я эту, обезьяню, спросил, когда она завтрак принесла. Дали мне мало, и опять зеленых таблеток и капель вроде мятных. Наверное, снотворные, у меня журнал из рук выпал, и сразу приснилось, что мы едем на пикник с девочками из женской школы, как прошлый год, и танцуем на берегу, очень хорошо было. Проснулся в пятом часу и стал про операцию думать, я не боюсь, де Луиси сказал — чепуха, только странно, наверное, под наркозом, тебя режут, а ты спишь. Качо говорит — хуже всего, когда проснешься, больно, и рвет, и жар большой. Сегодня маменькин сыночек сдал, по лицу видно, что трусит, а щуплый он — прямо даже и жаль. Я вошла, он сел, журнал сунул под подушку. Немножко было прохладно, я открыла отопление и принесла ему термометр. Спрашиваю: «Ставить умеешь?» — а он покраснел, чуть не лопнул. Кивнул и лег, а я пока что шторы опустила и лампу зажгла. Подхожу взять термометр, а мальчишка весь красный, я чуть не фыркнула, эти подросточки всегда так, трудно им привыкнуть. А главное, смотрит прямо в глаза, чтоб ее совсем, ну, что мне ее эти взгляды, она ведь просто баба, и все, смотрит и смотрит, когда я градусник вынул из-под одея-

ла и ей дал, и вроде улыбается, наверное, что я такой красный, никак не могу, краснею, хоть ты что. Записала на листок, который в ногах, температуру и ушла, как пришла. Не помню, что мы с мамой и с папой говорили, они явились в шесть. И скоро ушли. Сеньорита Кора напомнила, что пора меня готовить и вообще эту ночь не нужно волновать. Я думал, мама себя покажет, нет, ничего, только посмотрела сверху вниз, и папа тоже, ну, я старика знаю, он-то по-другому смотрит. Слышу, уже в дверях мама говорит: «Ухаживайте за ним получше, я забот не забываю, мальчик привык к ласке и вниманию»,— и всякие такие глупости, я чуть не подох со злости, даже не слышал, что та ответила, а уж ей, конечно, не понравилось, еще подумает, я на нее наябедничал.

Потом она пришла, в полседьмого примерно, прикатила такой столик на колесиках, на нем бутылочки, вата, и я вдруг чего-то испугался, а вообще-то нет, просто стал все рассматривать, скляночки всякие, синие там, красные, бинты, щипчики, резиновые трубки. Испугался, бедняга, без мамы, а мама-то чистый попугай, я забот не забываю, смотрите за мальчиком, я говорила с де Луиси, ну, ясное дело, сеньора, обхаживать будем, как принца. А он у вас хорошенький, особенно как покраснеет, только я войду. Когда я одеяло откинула, он как будто хотел опять укрыться. Заметил, кажется, что мне смешно, чего он так стесняется. «Давай, спусти штаны»,— я говорю и смотрю прямо в лицо. «Штаны?» — повторяет и стал узелок развязывать, с пуговицами возится, а расстегнуть не может. Спустила я с него штаны, почти до колен, ну, все там у него, как я и думала. «Ты парень взрослый»,— говорю и кисть намыливаю, хоть, по правде, брить почти и нечего. Мылю ему там, а сама говорю: «Как тебя дома зовут?» — «Пабло»,— отвечает, очень жалобно, просто не может со стыда. «Ну, а как-нибудь поласковей?» — я говорю, и еще хуже вышло, он чуть не заплакал, пока я ему три волосинки брила. «Значит, никак не зовут?» Ясное дело, просто «сыночек». Побрила его, он тут же укрылся чуть не с головой. «Пабло — имя красивое»,— я говорю, захотелось его поуспокоить. Прямо жалость брала, что он так стесняется, первый раз мне попался такой смиренный мальчишка, а все ж и противный он какой-то, наверное, в мать, что-то такое вроде взрослое, неприятное, и вообще чересчур он красивый, ладный для своих лет, сопляк еще, а воображает, еще приставать начнет.

Я закрыл глаза, чтоб от этого спрятаться, и все зря, она тут же спросила: «Значит, никак не зовут?» — и я чуть не умер, чуть ее не задушил, а когда открыл глаза, увидел прямо над собой ее каштановые волосы, она наклонилась, мыло вытирала, и от них пахло миндальным шампунем, как у нашей по рисованию, или еще там чем, и я не знал, что сказать, только одно в голову пришло: «Вас Кора зовут, правда?» Она так ехидно посмотрела, она ведь меня насквозь знала, всего видела, и говорит: «Сеньорита Кора». Нарочно сказала, мне назло, как тогда: «Ты совсем взрослый», издевается. Терпеть не могу, когда краснею, это хуже всего, а все ж я сказал: «Да? Вы такая молоденькая... Что ж, Кора — красивое имя». Вообще-то я не то хотел сказать, и она поняла, проняло ее, теперь я точно знаю — она из-за мамы злится, а я хотел сказать, что она молодая, и я бы хотел звать ее просто Кора, да как тут скажешь, когда она злится и катит свой столик, уходит, а я чуть не плачу, вот у меня еще одно — не могу, горло перехватит, перед глазами мигает, а как раз надо бы все прямо сказать. Она у дверей остановилась — как будто хотела посмотреть, не забыла ли чего, и я думал все сказать, а слов не нашел, только ткнул в тазик, где пена, сел на кровати, прокашлялся и говорю: «Вы тазик забыли», — важно, будто взрослый. Я вернулась, взяла тазик и, чтоб он не так убивался, погладила его по щеке: «Не горюй, Паблито. Все будет хорошо, операция пустяковая». Когда я его тронула, он голову отдернул, обиделся, а потом залез под одеяло до самого носа. И говорит оттуда еле слышно: «Можно, я буду звать вас Кора?» Очень я добрая, чуть жаль не стало, что он так стесняется и еще хочет отомстить мне, только я ведь знаю: уступи — потом с ним не справишься, больного надо держать в руках, а то опять чего-нибудь сплетет Мария Луиса из четырнадцатой, или доктор наорет, у него на это нюх собачий. «Сеньорита Кора», — говорю, взяла тазик и ушла. Я очень рассердился, чуть ее не ударил, чуть не вскочил, ее не вытолкнул, чуть... Не знаю, как мне удалось сказать: «Был бы я здоров, вы бы не так со мной говорили». Она притворилась, что не слышит, даже не обернулась, ушла, я остался один, даже читать не хотелось, ничего я не хотел, лучше бы она рассердилась, я бы просил прощения, я ведь ей не то хотел сказать, но у меня так сжалось в горле, сам не знаю, как я слово выдавил, я просто разозлился, я не то сказал, надо бы хоть как-то по-другому.

Всегда они так — с ними ласково, скажешь по-хорошему, а тут он себя и покажет, забудет, что еще сопляк. Марсьялю рассказать, посмеется, а завтра на операции он его совсем распотешит, такой нежненький, бедняга, щечки горят, ах ты черт, краснею и краснею, ну что мне делать, может — вдыхать поглубже, раньше чем заговоришь? Наверное, очень рассердилась, она, конечно, расслышала, сам не знаю, как и сказал, кажется, когда я про Кору спросил, она не сердилась, ей полагается так ответить, а сама она — ничего, не сердилась, ведь она подошла и погладила меня по щеке. Нет, она сперва погладила, а я тогда спросил, и все пошло прахом. Теперь еще хуже, чем раньше, я не засну, хоть все таблетки съешь. Живот иногда болит, странно — проведешь там рукой, а все гладко, а самое плохое — сразу вспомнишь и миндальный запах, и ее голос; голос у нее важный, взрослый, как у певицы какой-нибудь, она сердится, а будто ласкает. Когда я услышал шаги в коридоре, я лег совсем и закрыл глаза, не хотел ее видеть, зачем мне ее видеть, чего она лезет, я чувствовал, что она вошла и зажгла верхний свет. Он притворился, что спит, как убитый, закрыл рукой лицо, и глаз не открыл, пока я не стала у кровати. Увидел, что я принесла, и жутко покраснел, я чуть его опять не пожалела, и немножко мне было смешно, вот дурак, честное слово. «Ну-ка, спускай штаны и ложись на бочок», — он чуть ногами не затопал, наверное — топал на мамочку свою лет в пять, вот-вот заплачет: «Не буду!» — под одеяло залезет, заверещит, но теперь ему так нельзя, он посмотрел на клизму, на меня, — а я стою, жду, — повернулся, руками возит под одеялом, ничего как будто не понимает, пока я кружку вешала, пришлось самой одеяло откинуть и опять сказать про штаны и чтоб он зад приподнял, мне легче снимать эти штаны и подложить полотенце. «Ну-ка, ножки приподними, вот, хорошо, еще больше на бок, больше повернись, говорю, вот так». Он лежит тихо-тихо, а как будто кричит, мне и смешно — у моего поклонничка зад голый, и жаль немножко, словно я ему это назло за то, что он тогда спросил. «Скажи, если горячо», — я говорю, а он молчит, кулак, наверное, кусает, я не хотела видеть его лицо и села на кровать, жду, когда он заговорит, воды было очень много, но он все вытерпел, молчал, а потом я ему сказала, чтобы старое загладить: «Вот теперь молодец, совсем как взрослый», — укрыла его и попросила, чтоб подольше терпел, не шел туда. «Свет

потушить или оставить?» — это я уже в дверях. Сам не знаю, как и сказал, что мне все равно, и услышал, что она запирает дверь, и укрылся с головой, что мне делать, живот резало, я руки кусал и плакал. Никто не поймет, ну, никто, как я сильно плакал и ругал ее, обижал, втыкал ей нож в сердце пять раз, десять раз, двадцать, и ругал ее, и радовался, что ей больно и она меня умоляет, чтоб я ее за все простил.

Обычное дело, друг Суарес, — разрежешь, помотришь и нарвешься на что-нибудь такое. Конечно, в эти годы шансов немало, а все ж скажу отцу, а то потом не расхлебать. Верней всего, он выберется, но что-то тут не так — ну хотя бы возьмем то, что было, когда наркоз давали, и не поверишь, такой младенец. Я часа в два к нему ходил, он — ничего, ведь сколько времени оперировали. Когда вошел де Луиси, я ему рот вытирала, бедняге, его все рвало, наркоз еще не отошел, но доктор все равно его выслушал и попросил меня сидеть с ним, пока совсем не проснется. Старики — в соседней палате, сразу видно, мамаша к такому не привыкла, всю дурь вышибло, а папаша совсем скис. Ну, Паблито, ты не удерживай, если тошнит, и стонать не стесняйся, я тут, да тут я, с тобой, спит, бедняга, а в руку мне вцепился, как будто задыхается. Наверное, думает, что это — мама, они все так, прямо надоело. Ну, Пабло, не дергайся, больней будет, нет, руками не вози, там трогать нельзя. Трудно ему, бедняге, просыпаться. Марсьяль говорил, очень долго резали. Чего-то там нашли, или аппендикс не сразу раскопали, это бывает, спрошу сегодня Марсьяля. Да здесь я, миленький, здесь, ты не стесняйся стонать, а руками не двигай, вот у меня лед в бинтике, я тебе губы смочу, а то ведь пить хочется. Да, миленький, можно, если тошнит, давай, легче будет. Ну и руки у тебя, я буду вся в синяках, поплачь, пореви, если хочется, пореви, Пабло, легче будет, реви и крихти, чего там, а ты еще не проснулся и думаешь — это мама. Знаешь, ты такой хорошенький, носик немножко курносый, ресницы длинные, сам бледный-бледный, ты от этого старше кажешься. Не будешь краснеть из-за всякой чепухи, правда, миленький? Ой, мама, больно, дай я это сниму, они мне что-то на живот положили, очень тяжело, больно, мама, скажи сестричке, чтоб сняла. Сейчас, сейчас пройдет, полежи тихонько, ну и сильный ты, прямо хоть зови

на помощь Марию Луису. Ну, Пабло, я рассержусь, лежи тихо, больней ведь будет, если тихо не лежишь. Кажется, узнал меня... Болит, сеньорита Кора, вот тут, очень больно, помогите мне, пожалуйста, очень болит, не держите меня за руки, больше не могу, сеньорита Кора, не могу.

Хорошо хоть, он заснул, бедняга, сиделка пришла в третьем часу и разрешила с ним побыть, ему лучше, но вот он бледный, много крови потерял, хорошо хоть, доктор говорит, что все прошло прекрасно. Сиделка устала с ним бороться, не знаю, почему меня раньше не позвали, очень строго в этой клинике. Уже темнеет, мальчик все время спал, сразу видно — огромная слабость, но лицо как будто лучше, чуть розовее. Еще стонет иногда, но бинты не трогает и дышит ровно, наверное, ночь пройдет неплохо. Ох, знала же я — да что поделаешь? Только страх с нее соскочил, сразу за свое, распорядиться: позаботьтесь, моя милая, чтоб у мальчика было абсолютно все. Жаль мне тебя, старую дуру. Видела я таких, думают — сунут потом на чай, и все в порядке. И дадут всего ничего, да ладно, нашла над чем голову ломать. Марсьяль, погоди, видишь — он заснул, расскажи-ка мне, что там утром было. Ладно, устал — не надо, потом расскажешь. Что ты, Мария Луиса войдет, не здесь, да ну тебя. Вот пристал, сказано — иди. Уходи, сказано, а то рассержусь. Дурак ты, чучело. Да, милый, до свидания. Ну, ясное дело. Очень.

Темно как, но это лучше, все равно глаза открывать не хочется. Почти не болит, хорошо — лежишь, дышишь спокойно, не рвет. Тихо-тихо, да, я ведь маму видел, она что-то сказала, не помню, очень было плохо. Старика почти не разглядел, он стоял в ногах и подмигивал, вечно он одно, бедняга. Немножко холодно, еще б чем укрыться. Сеньорита Кора, можно чем-нибудь укрыться? Да, она тут сидела, я сразу увидел, читала журнал у окна. Сразу подошла, укрыла, все поняла, хоть и не говори. А, помню, я ее пугал с мамой, а она меня успокаивала, или это было во сне? Сеньорита Кора, я спал? Вы мне руки держали, да? Я порол чепуху, это я от боли, и тошнило... Простите меня, пожалуйста. Трудная у вас работа. Вот вы смеетесь, а я вас перепачкал, я знаю. Ладно, не буду. Мне так хорошо, не холодно. Нет, не сильно, чуть-чуть. Поздно сейчас, сеньорита Кора? Да вы помолчите, я вам говорила — много болтать нельзя, радуйтесь, что не больно, и лежите себе. Нет, не поздно, часов семь. Закройте глаза и поспите. Вот так.

Я бы и сам хотел, да не могу. Вот-вот засну — и вдруг как дернет рана или в голове завертится. Открываю глаза, смотрю, она — у окна, абажур приспособила, чтобы свет мне не мешал. Почему она все тут и тут? Какие волосы у нее, и блестят, когда головой шевельнет. Молодая, а я ее с мамой спутал, вот чепуха. Ну и напел я ей, наверное, а она надо мной смеялась... Нет, она водила мне лыдинкой по губам, сразу становилось легче, я вспомнил, и смачивала лоб одеколоном, и голову, и руки держала, чтоб я не сорвал бинты. Она уже не сердится, может — мама извинилась или что, она совсем иначе смотрела, когда сказала мне: «Поспите». Хорошо, когда она так смотрит, прямо не верится, что тогда она сердилась и унесла конфеты. Я б хотел ей сказать, что она красивая и я на нее не обиделся. Наоборот, я бы хотел, чтобы ночью была она, а не та, маленькая. Опять смочила бы лоб одеколоном. И попросила бы прощенья и разрешила Корой называть.

Спал он довольно долго, а к восьми я прикинула, что де Луиси скоро придет, и разбудила его, чтобы градусник поставить. Он был вроде получше. Сон на пользу пошел. Увидел градусник, высунул руку, а я сказала, чтоб тихо, не двигался. Я не хотела на него глядеть, чтоб он не мучался, но он все равно покраснел, говорит: «Я сам». Я, конечно, не послушала, но он очень натужился, пришлось сказать: «Пабло, ты большой, что ж, так и будем каждый раз?» Ну вот, ослабел, и опять слезы. Я как будто и не вижу, температуру записала, пошла готовить укол. Когда она вернулась, я уже вытер глаза пододеяльником и так на себя злился, все бы отдал, чтоб заговорить, ей сказать, что мне все равно, чепуха, а ничего не могу поделать. «Это не больно,— она говорит и шприц держит.— Это чтоб ты хорошо поспал». Откинула одеяло, я опять покраснел. Она улыбнулась немножко и протерла на бедре ваткой. «Да, не больно»,— говорю, надо же что-нибудь сказать, а то она смотрит. «Ну вот,— и вынула иголку, и опять протерла ваткой.— Видишь, ничего. Все будет хорошо, Паблито». Укрыла меня и погладила по щеке. Я закрыл глаза, я б лучше умер, умер бы, а она бы гладила меня вот так и плакала.

Никогда я ее не понимал как следует, но на этот раз совсем от рук отбилась. Вообще-то мне все равно, зачем их, женщин, понимать, лишь бы любили. Нервы, всякие штуки — ладно, киска, поцелуй меня, и дело с концом. Да, зеленая еще, не скоро оботрется на этой чертовой работе,

сегодня еле живая пришла, полчаса выбивал из нее дурь. Не умеет себя поставить с больными, вот хотя бы та старуха из двадцать второй, я уж думал — она с тех пор научилась, а теперь этот сопляк ее доводит. Мы пили чай у меня часа в два, она вышла сделать укол, возвращается — сама не своя, меня и знать не хочет. Вообще-то ей идет, когда она сердится, дуется, я ее понемножку расшевелил, засмеялась наконец, стала рассказывать, люблю ее ночью раздевать, она чуть-чуть дрожит, будто зябнет. Поздно очень, Марсьяль. Я еще капельку побуду, другой укол в полшестого, *эта* не придет до шести. Ты меня прости, дурочку, ну что мне этот сопляк, он теперь как шелковый, а все ж иногда жалко, они такие глупые, важные, если б можно — я бы попросила Суареса, чтоб он меня перевел, на втором этаже тоже двое, оба взрослые, их спросишь, как стул, подсунешь судно, подмоешь, если надо, поговоришь про погоду, про политику, все по-людски, как у людей, Марсьяль, понимаешь, не то что здесь. Да, конечно, ко всему надо привыкать, сколько я буду убиваться из-за этих сопляков, навык нужен, как там у вас говорится. Ну, конечно, милый, конечно. Это все мамаша, понимаешь, сразу так повернула, не поладили мы с ней, а он гордый, и больно ему, особенно поначалу — он не знал, что к чему, а я хотела градусник поставить, и он на меня так посмотрел, как ты, ну, как мужчина. Я его теперь не могу спросить, надо ли ему по-маленькому, он всю ночь продержался б, если бы я там сидела. Прямо смешно — хотел сказать «да», а не мог, мне надоело, и я велела делать лежа, на спине. Он глаза закрывает, это еще хуже, вот-вот заплачет или обругает меня, и ни того, ни другого не может, маленький он, Марсьяль, а эта дура его забаловала, мальчик, мальчик, одет, как большой, по моде, а все — деточка, мамино золотце. И еще, как на грех, меня к нему приставили, как ты говоришь — электрошок, лучше бы Марию Луису, вроде его мамаша, они б его мыли, брили, а ему хоть что. Да, не везет мне, Марсьяль.

Мне снился французский урок, когда зажглась лампа, я всякий раз сперва вижу ее волосы, наверное, потому, что она наклоняется сюда, как-то даже мне рот защекотало, и пахнет хорошо, и она чуть-чуть улыбается, когда протирает ваткой, она долго терла, потом колола, а я смотрел на ее руку, она так уверенно нажимала, эта желтая жидкость шла и шла, больно мне было. «Нет, не больно». Никогда не сумею сказать: «Не больно, Юра». И «сеньо-

рита» не скажу никогда. Вообще буду мало говорить, а «сеньорита» не скажу, хоть бы просила на коленях. Нет, не болит. Нет, спасибо, мне лучше. Я посплю. Спасибо.

Слава богу, опять порозовел, но еще очень слабенький, еле-еле меня поцеловал, а на тетю Эстер и не смотрел, хоть она и принесла журналы и подарила чудесный галстук, он его дома ждет. Утром сиделка, прекрасная, вежливая, приятно поговорить, сказала, что мальчик проснулся к восьми и выпил молока, кажется, начнут его кормить, надо предупредить Суареса, что он не выносит какао, ах, нет, отец уже сказал, они ведь беседовали. Если вам не трудно, сеньора, выйдите на минутку, мы посмотрим, как наш больной. Вы останьтесь, сеньор Моран, это женщины может испугать такая куча бинов. Ну, посмотрим, мой друг. Здесь больно? Так, иначе и быть не может. А тут вот — больно или просто чувствительно? Ну что ж, все в порядке, дружок. Целых пять минут — болит, не болит, чувствительно, а старик уставился, словно видит мое пузо первый раз. Странное дело, не по себе мне, пока они тут, они убиваются, бедняги, и говорят все не то, особенно мама, хорошо хоть, эта глуховата, ей все нипочем, вроде ждет чаевых. И еще про какао наплели, что я, маленький? Проспал бы пять суток подряд, никого бы не видел, Кору первую, а попрощался б перед самой выпиской. Надо подождать, сеньор Моран, доктор де Луиси говорил вам, что операция была сложнее, чем думали, бывают неожиданности. Конечно, такой прекрасный мальчик с этим справится, но вы предупредите сеньору Моран, что недель не обойдется. А, ну, конечно, конечно, поговорите с директором, это вопрос хозяйственный. Нет, смотри, как не везет, Марсьяль, говорила я вчера — не везет, и вот, его тут долго продержат. Да знаю, что неважно, а все же мог бы и понять, сам видишь, как я с ним развлекаюсь, да и он со мной, бедняга. Не смотри так на меня, что ж — нельзя его и пожалеть? Не смотри на меня!

Никто мне читать не запрещал, а журналы сами падают, хотя мне две главки осталось, ну, и тетины еще все. Лицо горит, жар, наверное, или тут жара, попрошу, чтоб приоткрыли окно или сняли второе одеяло. Вот бы заснуть, хорошо бы, она бы тут сидела, читала, а я бы спал и не знал, что она здесь, только теперь она не останется, на поправку пошло, я ночью один. С трех до четырех я вроде поспал, а в пять она принесла новое лекарство, кап-

ли какие-то горькие. Всегда она как будто из ванны, как будто сейчас нарядилась, свежая такая, пахнет пудрой, лавандой. «Оно противное», — говорит и улыбается, чтоб меня подбодрить. «Да ничего, горчит немножко», — я отвечаю. Она градусник ставит и спрашивает: «Как сегодня жизнь?» Я говорю — хорошо, поспал немного, доктор Суарес доволен, и болит не особенно. «Что ж, тогда поработай», — и дает мне градусник. Я не знал, что отвечать, а она закрыла занавески и прибрала на столике, пока я мерил. Даже успел посмотреть, пока она градусник не взяла. «У меня же огромная температура», — он говорит, испугался. Не могу, так и помру душой — чтоб его не мучить, дала градусник, а он, ясное дело, смотрит и видит, какой жар. «Первые четыре дня всегда так, и вообще нечего тебе смотреть», — я говорю, очень на себя рассердилась. Спросила, не двигал ли ногами, он говорит — нет. Лицо у него вспотело, я вытерла и немножко смочила одеколоном; он глаза закрыл, раньше чем мне ответить, и не открыл, пока я его причесывала, чтоб волосы не мешали. Да, 39,9 — температура высокая. «Ты поспи», — говорю, а сама думаю, когда же можно сказать Санчесу. Он лежит, глаза закрыл, двинул так сердито рукой и говорит: «Вы меня обижаете, Кора». Я не знала, что ответить, и стояла возле него, пока он глаза не открыл, а глаза температурные, печальные. Сама не знаю, чего я руку потянула, хотела его погладить по лбу, он руку толкнул, дернулся и прямо покривился от боли. Я ответить не успела, а он говорит так тихо: «Вы бы со мной по-другому обращались, если бы мы встретились не здесь». Я чуть не прыснула, очень уж смешно, говорит, а глаза мокрые, ну, я, конечно, рассердилась, даже вроде испугалась, как будто я ничего не могу против такого задаваки. Справилась с собой (спасибо Марсьялю, это он меня научил, я все лучше и лучше справляюсь), разогнулась, как ничего и не было, повесила полотенце, закрыла одеколон. Что ж, теперь хоть знаем, что к чему, так оно и лучше. Я — сиделка, он — больной, и ладно. Пусть его мамаша одеколоном вытирает, у меня дела другие, буду их делать безо всяких. Не знаю, чего я там торчала. Марсьяль потом сказал, что я хотела дать ему возможность извиниться, попросить прощения. Не знаю, может, и так, а скорей, я хотела посмотреть, до чего ж он дойдет. А он лежит, глаза закрыты, все лицо мокрое. Как будто меня положили в кипяток, и пятна какие-то плавают, красные, лиловые, я веки крепче сжимаю, чтоб

ее не видеть, знаю, что она не ушла, и все бы отдал, только б она опять наклонилась, вытерла лоб, будто я ничего не говорил, но этого уже быть не может, она уйдет, ничего не сделает, не скажет, а я открою глаза, увижу ночь, столик, пустую палату, еще немножко будет пахнуть лавандой, и я повторю раз десять, раз сто, что я это правильно сказал, пусть знает, я ей не мальчишка, и чего она лезет, зачем она ушла.

Всегда они начинают в седьмом часу, наверное, живут под карнизом, он воркует, она отвечает, и даже вроде поют, я сказал маленькой сиделке, которая меня умывает, завтрак носит, а она пожала плечами и говорит, многие жалуются, но директор не хочет, чтоб прогоняли голубей. Сам не помню, сколько я их слушаю, первые дни я спал и очень мне было плохо, а эти три дня слушаю и очень горю, домой хочется, там лает Милорд и тетя Эстер встает к ранней обедне. А температура эта чертова не падает, не знаю, сколько продержат, надо сегодня Суареса спросить, в конце концов — чем дома хуже? Вот что, сеньор Моран, я не хочу вас обманывать, картина тяжелая. Нет, сеньорита Кора, я считаю, что вам следует остаться с ним, и вот почему... Ну что ж это, Марсьяль... Иди, я тебе кофе сварю, покрепче. Да, зеленая ты еще. Слушай, старушка, говорил я с Суаресом. Парень твой, кажется...

Перестали наконец, везет им, голубям, — летают, где хотят, над всем городом. Утро тянется, тянется, я было обрадовался, когда ушли старики, их теперь часто пускают, потому что у меня большой жар. Ну ладно, полежу дней пять, чего уж. Дома лучше, конечно, но так и так — температура, и хуже все время становится. Странно, журнал не могу почитать, совсем нету сил, будто крови нет. А все этот жар, вчера говорил де Луиси, а утром Суарес — все жар, ну, им виднее. Сплю и сплю, а время не идет, вечно третий час, будто мне важно, три часа или пять. Наоборот, мне в три часа хуже, маленькая сменяется, а с ней так хорошо. Вот бы проспать до самой ночи. Пабло, это я, сеньорита Кора, твоя вечерняя сестра, которая уколами мучает. Знаю, что уколов не боишься, это я в шутку. Спи, если хочешь. Вот и все. Сказал «спасибо», глаза не открыл, а мог бы и открыть, с *этой* он болтал в двенадцать, хоть ему и запретили много разговаривать. В дверях я быстро обернулась — глядит, все время глядел в спину. Я пошла к нему, села, пульс проверила, расправила белье,

он пододеяльник помял, теребит от жара. Он глядел на мои волосы, а посмотришь в глаза — отводит взгляд. Я пошла, все взяла, стала его готовить, а он лежит, не мешает, как будто меня и нет. За ним должны были прийти ровно в полшестого, еще мог поспать. Родители ждали внизу, он бы разволновался, если б они явились. Доктор Суарес сказал, что придет пораньше, объяснит ему, что надо кое-что подрезать, поуспокоит. Но пришел почему-то Марсьяль, я очень удивилась, входит, показывает мне, чтоб не двигалась, читает листок, стоит в ногах, пока Пабло к нему не привыкнет. Потом начал как бы со смехом, уж он-то умеет, на улице холод, в палате — благодать, а Пабло смотрит, молчит, вроде ждет, а мне как-то странно стало, лучше б Марсьяль ушел, оставил с ним, я бы объяснила хорошо, нет, наверное — нет. Я и сам знаю, доктор, меня снова будут резать, это вы мне давали наркоз, я рад, что ж так лежать с температурой. Я знал, что-нибудь да сделают, очень болит со вчерашнего дня, по-другому, глубоко. А вы там не стройте рожи, не улыбайтесь, как будто хотите меня в кино пригласить. Идите, целуйтесь с ним в коридоре, не так уж я крепко спал, когда вы на него рассердились, зачем он здесь лезет. Оба уходите, дайте поспать, во сне хоть не так болит.

Ну вот, молодой человек, сейчас мы с этим покончим раз и навсегда, сколько можно место занимать. Считай, помедленней, раз, два, три. Хорошо, считай, считай, через неделю будешь есть бифштекс. Да, старина, покопались четверть часа и зашили. Да, хорошенький был вид у де Луиси, к такому ведь не привыкнешь. Слушай, я уломал Суареса, тебя переведут, я сказал — ты совсем измоталась, очень больной тяжелый. Поговори еще сама, переведут на второй. Дело твое, как хочешь, сама ныла, ныла, а теперь, видите ли, какая милосердная. Не сердись, для тебя же старался, да, я знаю, только — зря, я останусь сегодня с ним, и все время с ним буду. Он стал просыпаться в полдевятого, родители сразу ушли, ему нельзя было видеть, какие у них лица, у бедных, пришел Суарес, тихо меня спросил, сменить или нет, а я покачала головой — нет, остаюсь. Мария Луиса немножко побыла, мы его держали, успокаивали, потом он вдруг затих, и его почти перестало рвать. Очень он слабый, заснул, даже не стонал, спал до десяти. Опять эти голуби, мама, они каждое утро так, что

ж их не прогонят, полетели б на другое дерево. Мама, дай мне руку, очень знобит. А, это я спал, мне приснилось, что утро и голуби. Простите меня, пожалуйста, я думал — это мама.

Снова он глаза отводил, отворачивался, себе во вред, все смотрел на меня. Я ухаживала за ним, словно и не знала, что он сердится, села, смочила ему губы льдом. Вытерла одеколоном лоб и руки, тогда он посмотрел, а я наклонилась, улыбнулась и сказала: «Зови меня Корой. Да, сначала мы не ладили, но мы с тобой подружимся, Пабло». Он смотрел и молчал. «Ну, скажи мне — хорошо, Кора». Он все смотрел, потом говорит: «Сеньорита Кора», — и закрыл глаза. Я сказала: «Нет, Пабло, нет», — и поцеловала его в щеку, у самых губ. «Я для тебя — Кора, только для тебя». Мне пришлось отдернуться, а все равно лицо забрызгал. Я утерлась, подержала ему голову, он вытер губы, я его опять поцеловала и приговаривала на ухо. Он сказал «простите» очень тоненько. «Не смог удержаться». Я сказала, чтоб не дурил, для того я с ним и сижу, пускай его рвет, сколько угодно, легче будет. «Я бы хотел, чтоб мама пришла», — он говорит и смотрит куда-то, а глаза пустые. Я его погладила по голове, простыни расправила, все ждала, что он заговорит, но он ушел далеко, и я поняла, что со мной ему еще хуже. В дверях я обернулась, подождала. Он смотрел в потолок, глаза были совсем открытые. Я сказала: «Паблито. Пожалуйста, миленький. Пожалуйста!» Вернулась, наклонилась его поцеловать, от него пахло холодом, одеколоном, рвотой, анестезией. Еще бы немножко — я б заплакала тут, перед ним, по нему. Я еще раз его поцеловала и побежала за матерью и за Марией Луисой. Я не хотела туда идти при матери, и потом, до утра, да я и знала, что идти незачем, — Марсяль и Мария Луиса все сделают, освободят палату.

ДРУГОЕ НЕБО



Ces yeux ne t'appartiennent pas... où les as tu pris?¹

..... IV, 5

1

Когда я думал, что все скользит, превращается, тает, переходит само собой из одного в другое. Я говорю «думал», но, как ни глупо, надеюсь, что это еще случится со мной. И вот, хотя стыдно бродить по городу, когда у тебя семья и служба, я порой повторяю про себя, что, пожалуй, уже пора вернуться в свой квартал и забыть о бирже, где я служу, и, если немного повезет, встретить Жозиану и остаться у нее на всю ночь.

Бог знает, давно ли я это повторяю, и мне нелегко, ведь было время, когда все шло само собой и, только задень плечом невидимый угол, попадешь неожиданно в тот мир. Пойдешь пройтись, как ходят горожане, у которых есть излюбленные улицы, и оказываешься чуть не всякий раз в царстве крытых галерей — не потому ли, что галереи и проулки были мне всегда тайной родиной? Например, галерея Гуэмес, место двойное, где столько лет назад я сбросил с плеч детство, словно старый плащ. Году в двадцать восьмом она была зачарованной пещерой, где неясные проблески порока светили мне сквозь запах мятных леденцов, и вечерние газеты вопили об убийствах, и горели огни у входа в подвал, в котором шли бесконечные ленты реалистов. Жозианы тех лет смотрели на меня насмешливо и по-матерински, а я, с двумя грошами в кармане, ходил, как взрослый, заломив шляпу, заложив руки в карманы, и курил, потому что отчим предрек мне умереть от сигарет. Лучше всего я помню запахи и звуки, и ожиданье, и жажду, и киоск, где продавали журналы с голы-

¹ Эти глаза не твои... где ты их взял? (франц.)

ми женщинами и адресами мнимых машикюрш. Я уже тогда питал склонность к гипсовому небу галерей, к грязным окошкам, к искусственной ночи, не ведающей, что рядом — день и глупо светит солнце. С притворной небрежностью я заглядывал в двери, за которыми скрывались тайны тайн, и лифт возносил людей к венерологам или выше, в самый рай, к женщинам, которых газеты зовут порочными. Там ликеры, лучше бы — зеленые, в маленьких рюмках, и лиловые кимоно, и пахнет там, как пахнет из лавочек (на мой взгляд — очень шикарных), сверкающих во мгле галерей непрерывным рядом витрин, где есть и хрустальные флаконы, и розовые лебеди, и темная пудра, и щетки с прозрачными ручками.

Мне и теперь нелегко войти в галерею Гуэмес и не растрогаться чуть насмешливо, вспомнив юные годы, когда я чуть не погиб. Прелесть былого не тускнеет, и я любил бродить без цели, зная, что вот-вот войду в мир крытых галереек, где пыльная аптека влекла меня больше, чем витрины широких, наглых улиц. Войду в Галери Вивьен или в Пассаж-де-Панорамá, где столько тупичков и проулков, ведущих к лавке букиниста или к бюро путешествий, не продавшему ни билета; в маленький мир, выбравший ближнее небо, где стекла — грязны, а гипсовые статуи протягивают вам гирлянду; в Галери Вивьен, за два шага от будней улицы Реомюра или биржи (я на бирже служу). Войду в мой мир — я и не знал, а он был моим, когда на углу Гуэмес я считал студенческие гроши и прикидывал, пойти мне в бар-автомат или купить книжку или леденцов в прозрачном фунтике, и курил, моргая от дыма, и трогал в глубине кармана пакетик с невинной этикеткой, приобретенный в аптеке, куда заходят одни мужчины, хотя и надеяться не мог пустить его в дело, слишком я был беден и слишком по-детски выглядел.

Моя невеста, Ирма, никак не поймет, почему я брожу в темноте по центру и по южным кварталам, а если б она знала, что особенно я люблю Гуэмес, она бы ужасно удивилась. Для нее, как и для матери, нет лучшего места, чем диван в гостиной, и лучшего занятия, чем кофе, ликер и то, что зовется беседой. Ирма — кротчайшая из женщин, я никогда не говорил ей о том, чем живу, и потому, наверное, стану хорошим мужем и хорошим отцом, чьи дети, кстати, скрасят старость моей матери. Наверное, так и узнал я Жозияну — нет, не только из-за этого, мы

ведь могли встретиться и на бульваре Пауссоньер или на Рю-Нотр-Дам-де-Виктуар, а на самом деле мы впервые взглянули друг на друга в самых недрах Галери Вивьен, под сенью гипсовых статуй, дрожащих в газовом свете (венки трепетали в пыльных пальцах муз), и я сразу узнал, что тут ее место, и нетрудно ее встретить, если ты бываешь в кафе и знаком с кучерами. Может быть, это случайно, но мы встретились с ней, когда в мире высокого неба, в мире без гирлянды, шел дождь, и я считал это знаком и не подумал, что просто столкнулся со здешней девкой. Потом я узнал, что в те дни она не отходила от галерей, потому что снова пошли слухи о зверствах Лорана, и ей было страшно. Страх придал ей особую прелесть, она держалась почти робко, но не скрывала, что я ей очень нравлюсь. Помню, она глядела на меня и недоверчиво и пылко и расспрашивала поравнодушней, а я не верил себе, и радовался, что она живет тут же, наверху, и просил ее пойти к ней, а не в отель на улице Сантье, хотя там она многих знала и ей было бы спокойней. Потом она поверила, и мы смеялись ночью, что я мог оказаться Лораном. Мансарда была точь-в-точь как в дешевой книжке, а Жозиана — так прелестна, и так боялась убийцы, пугавшего Париж, и прижималась ко мне, когда мы говорили о его злодействах.

Мать знает всегда, если я не спал дома, и хотя ничего не скажет (это было бы глупо), дня два смотрит на меня то ли робко, то ли оскорбленно. Я понимаю прекрасно, что Ирме она не проговорится, но все же надоело, материнский присмотр уже ни к чему, а еще досадней, что в конце концов я-то и явлюсь с цветком или с коробкой конфет, и само собой станет ясно, что ссора кончена, и сын-холостяк снова живет, как люди. Жозиана радовалась, когда я описывал ей эти сцены, и там, в нашем царстве галереек, они стали своими так же просто, как их герой. Она, Жозиана, очень чтит семейные связи, и свойство, и родство; я не люблю говорить о своем, но о чем-то говорить надо, а все, о чем поведала она, было уже переговорено, вот мы и возвращались почти неизбежно к моим холостяцким затруднениям.

И это мне было тоже на руку, Жозиана любила галерейки — потому ли, что там жила, или потому, что там было тепло и сухо (мы познакомились в начале зимы, шел ранний снег, а в галереях, у нас, было весело и его не замечали). Мы ходили вдвоем, когда оставалось вре-

мя, то есть когда один человек (она не хотела называть его) был ублажен и отпускал ее поразвлечься. Мы мало говорили о нем — я спрашивал, конечно, а она, конечно, лгала о деловых отношениях, и само собой подразумевалось, что он — хозяин, достаточно тактичный, чтобы не лезть на глаза. Потом я решил, что он рад, когда я хожу с Жозианой, потому что в те дни все особенно боялись, убийца снова натворил дел на Рю-д'Абукир и она, бедняжка, не посмела бы уйти в темноте от Галери Вивьен. В сущности, мне полагалось благодарить и Лорана, и хозяина, из-за этих страхов я бродил с Жозианой по переходам, заглядывал в кафе и все больше понимал, что становлюсь другом девушке, с которой, казалось бы, ничем и не связан. Мы говорили глупости, молчали и понемногу, постепенно убеждались в нашей нежной дружбе. Я привыкал к чистой, маленькой каморке, так вписывавшейся в галереи. Вначале я поднимался ненадолго, у меня не хватало денег на ночь, да и ее ждал другой, побогаче, и я ничего не успевал разглядеть, а позже, дома, где единственной роскошью были журналы и серебряный чайник, вспоминал, и ничего не помнил, кроме самой Жозианы, и засыпал, словно она еще в моих объятьях. Но с дружбой пришли и права; а может, Жозиана уговорила хозяина, и он разрешил ей оставлять меня на ночь, и комната стала заполнять перерывы наших, не всегда легких, бесед. Все куклы, все картинки, все безделушки поселились в моей памяти и помогали лгать, когда я возвращался домой и говорил с матерью или с Ирмой о политике и о болезнях.

Потом пришло и другое, например — смутный абрис того, кого она звала американцем, но сперва всем владел страх перед тем, кто, если верить газетам, звался Лораном-душителем. Если я решаюсь вспомнить Жозиану, я вижу, как мы входим в кафе на Рю-де-Женер, садимся на малиновый плюш, здороваемся с друзьями, и сразу всплывает Лоран, все только о нем и говорят, а я утомился за день от работы и оттого, что на бирже, в перерывах, коллеги и клиенты тоже говорили о его последнем злодействе, и я думал теперь, кончится ли этот тяжкий сон, будет ли снова так, как, по моим представлениям, было здесь прежде (хотя тогда я тут не был), или жутким забавам нет конца. А хуже всего — говорю я Жозиане, спросив грогу, который так нужен в снег, — хуже всего, что мы его не знаем и зовем Лораном, потому что одна яспови-

дящая узрела в своем стеклянном шаре, как убийца писал кровавыми пальцами собственное имя, а газеты не хотят перечить тому, во что верит народ. Жозиана не глупа, но никто не убедит ее, что злодея зовут иначе, и нечего спорить с ней, когда, испуганно мигая синими глазами, она смотрит как бы невзначай на молодого человека, высокого и сутулого, который вошел в кафе и, не здороваясь ни с кем, прислонился к стойке.

— Может быть...— прерывает она мое наспех придуманное утешение,— а подниматься мне одной. Если ветер задует свечу, когда я буду на лестнице... Темно, я одна...

— Ты редко идешь одна,— смеюсь я.

— Вот, тебе смешно, а бывает, особенно в снег или в дождь, идешь под утро...

Она расписывает, как он притаился на площадке или, не дай господь, в комнате (дверь он открыл всеяильной отмычкой). За соседним столом вздрагивает Кики, и ее нарочитый крик отдается в зеркалах. Нас, мужчин, очень веселит этот кокетливый страх, и мы снисходительно и важно охраняем подружек. Хорошо курить трубку в кафе, когда дневная усталость растворяется в вине и в дыме, а женщины хвастают шляпами, боа и смеются пустякам; хорошо целовать Жозиану, хотя она задумчиво глядит на пришельца, почти мальчика, который стоит спиной к нам и мелкими глотками пьет абсент, опираясь на стойку. А все же удивительное дело: подумаешь о Жозиане (я всегда вспоминаю ее в кафе, снежным вечером, за разговором об убийце), и тут же в памяти явится тот, кого она звала американцем, и стоит спиной к ней, и пьет абсент. Я тоже зову его американцем или аргентинцем, она убедил меня, что он — оттуда, ей говорила Рыжая, та с ним спала еще до того, как они с Жозианой поругались, кому на каком углу стоять или когда стоять, и зря, они ведь очень дружат. Так вот, Рыжая сказала, что он ей сам признался, иначе и не угадаешь, у него совсем нет акцента. Сказал он, когда раздевался — кажется, снимал ботинки; надо же, в конце концов, о чем-то говорить.

— Вот он какой, совсем мальчишка. Правда, как из школы, только высокий? А ты бы послушал Рыжую!..— Жозиана всегда сплетала пальцы, когда рассказывала страшное, и расплетала, и сплетала снова. Она поведала мне об его требованиях (не особенно, впрочем, странных), об отказе Рыжей и о том, как угрюмо он ушел. Я спро-

сил, приглашал ли он ее. Нет, как можно, ведь все знают, что они с Рыжей — подруги. Он сам тут живет, про всех слышал, и, пока она говорила, я посмотрел на него снова и увидел, как он платит за абсент, бросает монетку на свинцовое блюдце, а нас (будто мы исчезли на бесконечный миг) окидывает пристальным, пустым взглядом, словно застрял в сновиденьях и не хочет проснуться. Он был молод и хорош, но от такого взгляда волей-неволей вспоминались жуткие слухи об убийствах. Я тут же сказал об этом ей.

— Кто, он? Ты спятил! Да ведь Лоран...

К несчастью, никто ничего не знал, хотя и Кики и Альбер помогали нам для потехи обсуждать разные версии. Подозрение наше рухнуло, когда хозяин, слышавший все разговоры, вспомнил, что кое-что о Лоране известно: он может задушить одной рукой. А этот сопляк... куда ему! Да и вообще поздно, пора идти, мне хотя бы, потому что Жозиану ждет в мансарде тот, другой, по праву владеющий ключом, и я провожу ее один пролет, чтоб не боялась, если погаснет свеча, и я вдруг устал, и смотрел, как она идет, и думал, что она, наверное, рада, а мне сказала неправду, и потом я вышел на скользкий тротуар, под снег, и пошел куда глаза глядят, и вышел вдруг на дорогу, и сел в трамвай, где люди читали вечерние газеты или глядели в окошко, словно хоть что-то увидишь в такой тьме, в этих кварталах.

Не всегда удавалось мне дойти до галереек или застать Жозиану свободной. Иногда я просто бродил по проулкам, разочарованно слонялся, убеждаясь понемногу, что и ночь — моя возлюбленная. В час, когда загорались газовые рожки, наше царство оживало, кафе обращалось в биржу досуга и радости, и люди жадно пили хмельную смесь заката, газет, политики, пруссаков, бегов и страшного Лорана. Я любил выпивать понемногу то там, то сям, спокойно поджидая, когда на углу галерейки или у витрины встанет знакомый силуэт. Если она была не одна, она давала мне понять (у нас был знак), когда освобождается; иногда же — только улыбалась, и я уходил бродить по галереям. В такие часы я исследовал и узнал самые дальние углы Галери Сент-Фуа, к примеру, и недра Пассаж-дю-Каир, но, хотя они нравились мне больше, чем людные улицы (а были и такие — Пассаж-де-Прэнс, Пассаж-Верде), хотя они нравились мне больше, я, сам не знаю как, любым путем, приходил к Галери Вивьен не

только ради Жозианы, но и ради надежных решеток, обветшалых фигур и темных закоулков галереи Пассаж-де-Пти-Пэр, ради всего этого мира, где не надо думать об Ирме и распределять время, и можно плыть по воле случая и судьбы. Мне не за что зацепиться памятью, и я не скажу, когда же именно мы снова заговорили об американце. Как-то я увидел его на углу Рю-Сен-Мар. Он был в черном плаще, модном лет за пять до того (тогда их носили с высокой, широкополой шляпой), и мне захотелось спросить его, откуда он родом. Однако я представил себе, как холодно и злобно принял бы такой вопрос я сам, и не подошел. Жозиана сказала, что зря,— наверное, он был ей интересен, она обижалась за своих и вообще страдала любопытством. Она вспомнила, что ночи две назад вроде бы видела его у Галери Вивьен, хотя он там бывал нечасто.

— Не нравится мне, как он смотрит,— говорила она.— Раньше я и внимания не обращала, но когда ты сказал про Лорана...

— Да я шутил! Мы сидели с Кики и Альбером, а он ведь шпик, сама знаешь. Он бы непременно сообщил. За голову Лорана хорошо заплатят.

— Глаза нехорошие,— твердила она.— Смотрит в сторону, а все, как есть, видит. Подойдет ко мне — убегу, истинный крест.

— Мальчишки испугалась! А может, по-твоему, мы, аргентинцы, вроде обезьян?

Все знают, чем кончаются такие беседы. Мы пили грог на Рю-де-Женер и, пройдясь по галереям, заглянув в театры на бульваре, поднимались к ней, а там смеялись до упаду. Были недели (нелегко мерить время, если счастлив), когда мы смеялись постоянно, даже глупость Бадэнге¹ и угроза войны смешили нас. Просто глупо, что такая гадость, как Лоран, могла унять наше веселье — но так было. Он убил еще одну женщину на Рю-Борегар, совсем рядом, — и мы в кафе приуныли, и Марта, прибежавшая, чтоб крикнуть нам новость, зашлась в истерике, и мы кое-как проглотили душивший нас клубок. В тот вечер полиция прочесала квартал, все кафе, все отели, Жозиана пошла за хозяином, и я отпустил ее, потому что тут была нужна высочайшая помощь. На самом же деле все это сильно меня огорчало — галерейки не для того, совсем

¹ Бадэнге — прозвище Наполеона III.

не для того, — и я пил с Кики, а потом с Рыжей, которая хотела помириться через меня с Жозианой. У нас пили много, и в жарком облаке, в винном чаду, в гуле голосов мне почудилось, что ровно в полночь американец сел в угол и заказал абсент — как всегда, изящно, рассеянно и странно. Я пресек откровенности Рыжей и сказал, что сам все знаю, вкус у него неплохой, ругать не за что; она замахнулась в шутку, и мы еще смеялись, когда Кики снизошла и сообщила, что бывала у него. Пока Рыжая еще не впилась в нее ноготками вопроса, я спросил, как же он живет, какая у него комната. «Большое дело — комната!» — бросила Рыжая, но Кики снова нырнула в мансардцу на Рю-Нотр-Дам-де-Виктуар и, словно плохой фокусник, извлекала из памяти серую кошку, кучи испанской бумаги, большой рояль, и опять бумаги, и снова кошку, которая, должно быть, осталась лучшим воспоминанием.

Я не мешал ей, и глядел в тот угол, и думал, что, в сущности, очень просто подойти и сказать что-нибудь по-испански. Потом я чуть не встал (и до сих пор, как многие, не знаю, почему я не решился), но остался с девицами, и закурил новую трубку, и спросил еще вина. Не помню, что я чувствовал, когда поборол свое желание — тут был какой-то запрет, мне казалось, что я вступаю в опасную зону. И все же я так жалею, что не пошел, словно это могло меня спасти. От чего спасти, в сущности? От этого: тогда б я не думал теперь все время, без перерыва, почему же я не встал, и знал бы другой ответ, кроме беспрерывного куренья, дыма и ненужной, смутной надежды, которая идет со мной по улицам, как шелудивый пес.

2

Où sont-ils passés, les becs de gaz? Que sont-elles devenues, les vendeuses d'amour? ¹

..... VI, 1

Понемногу я убедился, что времена пошли плохие и, пока Лоран и пруссаки так сильно нас тревожат, в галереях уже не будет, как было. Мать, наверное, поняла, что

¹ Куда они девались, газовые рожки? Что стало с ними, торговавшими любовью? (*франц.*)

я сдал, и посоветовала принимать таблетки, а Ирмины родители (у них был домик на острове) пригласили меня отдохнуть и пожить здоровой жизнью. Я отпросился на полмесяца и неохотно поехал к ним, заранее злясь на солнце и москитов. В первую же субботу под каким-то предлогом я вырвался в город и пошел, как по волнам, по размякшему асфальту. От этой глупой прогулки осталось все же хотя бы одно хорошее воспоминание: когда я вошел в галерею Гуэмес, меня окутал запах кофе, крепкого, почти забытого, — в галереях пили слабый, подогретый. Я обрадовался и выпил две чашки без сахара, смакуя, обжигаясь и нюхая. Потом, до вечера, все пахло иначе; во влажном воздухе, словно вода в колодцах, стояли запахи (я шел домой, обещал матери поужинать с ней вместе), и с каждым колодцем запах был резче, злее, пахло мылом, табаком, кофе, типографией, мате, пахло зверски, и солнце с небом тоже становились все злей и суше. Не без досады я забыл о галереях на несколько часов, а когда возвращался через Гуэмес (неужели это было в те полмесяца? Наверное, я спутал две поездки, а в сущности — это не важно), тщетно ждал, что мне в лицо ударит радостный аромат кофе. Запах стал обычным, сменился сладковатой вонью опилок и несвежего пива, сочащейся из здешних баров, — быть может, потому что я снова хотел встретить Жозиану и даже надеялся, что страх и снегопады наконец кончились. Кажется, в те дни я понял хоть немного, что все пошло иначе, однако желания тут мало, и прежний ритм не вынесет меня к Галери Вивьен, а может, я просто вернулся на остров, чтобы не расстроить Ирму, — зачем ей знать, что единственный мой отдых совсем не с ней? Потом опять не выдержал, уехал в город, ходил до изнеможенья, рубашка прилипла к телу, я пил пиво и все чего-то ждал. Выходя из последнего бара, я увидел, что, завернув за угол, попаду туда, к себе, и обрадовался, и устал, и смутно почувствовал, что дело плохо, потому что страх тут по-прежнему царил, судя по лицам, по голосу Жозианы, стоявшей на своем углу, когда она жалобно хвасталась, что сам хозяин обещал защищать ее. Помню, между двумя поцелуями я мельком увидел его в глубине галереи, в длинном плаще, защищавшем от мокрого снега.

Жозиана была не из тех, кто укоряет, что ты долго не был, и я задумывался порой, замечает ли она время. Мы вернулись под руку к Галери Вивьен и поднялись наверх,

но позже поняли, что нам не так хорошо, как раньше, и решили, должно быть, что это — из-за здешних тревог; война была неизбежна, мужчины шли в армию (она говорила об этом важно, казенными словами, с почтеньем и восторгом невежды), люди боялись, злились, а полиция никак не могла поймать Лорана. Чтоб утешиться, казнили других, например, отравителя, о котором болтали в кафе на Рю-де-Женер, когда еще не кончился суд; но страх рыскал по галереям, ничего не изменилось с нашей встречи, даже снег шел, как тогда.

Чтоб развлечься, мы пошли погулять, холода мы не боялись, ей надо было показать новое пальто на всех углах, где ее подружки ждали клиентов, дуя на пальцы и грея руки в муфтах. Мы не часто ходили вот так по бульварам, и я подумал, что среди витрин все же как-то спокойней. Когда мы ныряли в переулок (ведь надо показать пальто и Франсине и Лили), становилось страшней, но наконец обновку все посмотрели, и я предложил пойти в кафе, и мы побежали по Рю-де-Круассан, и свернули обратно, и спрятались в тепле, среди друзей. К счастью, о войне в этот час позабыли, никто не пел грязноватых куплетов о пруссаках, было так хорошо сидеть с полным бокалом, недалеко от печки, и случайные гости ушли, остались только мы, свои хозяину, здешние, и Рыжая просила у Жозианы прощенья, и они целовались, и плакали, и даже дарили что-то друг другу. Мы были как бы сплетены в гирлянду (позже я понял, что гирлянды бывают и траурные), за окном шел снег, бродил Лоран, мы сидели в кафе допоздна, а в полночь узнали, что хозяин ровно пятьдесят лет простоял за стойкой. Это надо было отпраздновать; цветок сплетался с цветком, бутылки множились, их ставил хозяин, мы почитали его дружбу и усердие, и к трем часам пьяная Кики пела опереточные арии, а Жозиана и Рыжая, обнявшись, рыдали от счастья и абсента, и, не обращая на них внимания, Альбер влетал новый цветок, предложив отправиться в Рокет¹, где ровно в шесть казнили отравителя, и хозяин растрогался, что полвека беспорочной службы увенчиваются столь знаменательно, и обнимался с нами, и рассказывал о том, что жена его умерла в Лангедоке, и обещал нанять фиакры.

Потом пили еще, вспоминали матерей и детство, ели

¹ Рокет — парижская тюрьма.

луковый суп, сваренный на славу Рыжей и Жозианой, пока Альбер и я обнимались с хозяином, клялись в вечной дружбе и грозили пруссакам. Наверное, суп и сыр охладили нас — мы как-то притихли, и нам было не по себе, когда запирали кафе, гремя железом, и холод всей земли поджидал нас у фиакров. Нам бы лучше поехать вшестером, мы б согрелись, но хозяин жалел лошадей и посадил в первый фиакр, с собой вместе, Рыжую и Альбера, а меня поручил Кики и Жозиане, которые, как он сказал, были ему вроде дочек. Мы посмеялись над этим с кучерами и отошли немного, пока фиакр пробирался к Попэнкуру и кучер усердно делал вид, что гонит вскачь, понукает коней и даже стегает их кнутом. Из каких-то неясных соображений хозяин настоял, чтобы мы остановились поодаль, и, держась за руки, чтоб не поскользнуться, мы поднялись пешком по Рю-де-ла-Рокет, слабо освещенной редкими рожками, среди теней, которые в полоске света оборачивались цилиндрами, или фиакром, или людьми в плащах и сливались в глубине улицы с большой и черной тенью тюрьмы. Скрытый, ночной мир толкался, делился вином, смеялся, взвизгивал, шутил, и наступало молчанье, или вспыхивал трут, вырывая лица из мрака, а мы пробирались, стараясь держаться вместе, словно знали, что только так мы искупим свой приход. Гильотина стояла на пяти каменных опорах, и слуги правосудия неподвижно ждали меж нею и каре солдат, державших ружья с примкнутым штыком. Жозиана впиалась мне ногтями в руку и так тряслась, что я хотел повести ее в кафе, но их тут не было, а она ни за что не соглашалась уйти. Держа под руку меня и Альбера, она подпрыгивала, чтоб рассмотреть машину, и снова впиалась мне в рукав и, наконец, схватив меня за шею, пригнула мою голову и поцеловала меня, укусила в истерике, бормоча то, что редко от нее слышал, и я на миг возгордился, словно получил над ней власть. Истым ценителем был один Альбер; он курил сигару и, чтоб убить время, наблюдал за церемонией, прикидывая, что будет делать преступник в последний момент и что происходит в тюрьме (он откуда-то это знал). Сперва я жадно слушал, узнавал все детали ритуала, но постепенно, медленно, оттуда, где нет ни его, ни Жозианы, ни праздника, что-то надвигалось на меня, и я все больше чувствовал, что я — один, что все не так, что под угрозой мой мир галереек, нет, хуже — все мое здешнее счастье только обман, пролог к чему-то, ловушка среди

цветов, словно гипсовая статуя дала мне мертвую гирлянду (я еще вечером думал, что все сплетается), дала венок, и я понемногу скольжу из невинного опьянения галереи и мансарды в ужас, в снег, в угрозу войны, туда, где хозяин справляет юбилей и зябнут на заре фиакры и Жозиана, вся сжавшись, прячет лицо у меня на груди, чтоб не видеть казни. Мне показалось (решетки дрогнули, и офицер дал команду), что это, по сути, конец, сам не знаю чего, ведь жить я буду, и ходить на биржу, и видеться с Жозианой, Альбером и Кики. Тут Кики стала колотить меня по плечу, повернувшись к приоткрывшимся решеткам, и мне пришлось взглянуть туда, куда глядела она и удивленно и насмешливо, и я увидел чуть не рядом с хозяином сутуловатую фигуру в плаще, и узнал американца, и подумал, что и это вплетается в венок, словно кто-то спешит доплести его до зари. А больше я не думал — Жозиана со стоном прижалась ко мне, и там, в большой тени, которую никак не могли разогнать две полоски света, падавшие от газовых рожков, забелела рубаха между двумя черными силуэтами. Белое пятно поплыло, исчезло, возникло, а над ним то и дело склонялся еще один силуэт, и обнимал его, или бранил, или тихо говорил с ним, или давал что-то поцеловать, а потом отошел, и пятно чуть приблизилось к нам в рамке черных цилиндров, и вдруг что-то стали делать ловко, словно в цирке, и, отделившись от машины, его схватили какие-то двое, и дернули, будто сорвали с плеч ненужное пальто, и толкнули вперед, и кто-то глухо крикнул — то ли Жозиана у моей груди, то ли само пятно, скользившее вниз в черной машине, где что-то двигалось и гремело. Я подумал, что Жозиане дурно, она скользила вдоль меня, словно еще одно тело падало в небытие, и я поддерживал ее, а ком голосов рассыпался последними аккордами мессы, грянул в небе орган (заржала лошадь, почуяв запах крови), и толпа понесла нас вперед под крики и команды. Жозиана плакала от жалости, а я видел поверх ее шляпы растроганного хозяина, гордого Альбера и профиль американца, тщетно пытавшегося разглядеть машину — спины солдат и усердных чиновников закрывали ее, видны были только пятна, блики, полоски, тени в мельканье плащей и рук, все спешили, все хотели выпить, согреться, выспаться, и мы хотели того же, когда ехали в тесном фиакре к себе в квартал и говорили, кто что видел, и успели между Рю-де-ла-Рокет и биржей все сопоставить, и поспорить, и удивить-

ся, почему у всех по-разному, и похвастаться, что ты и видел, и держался лучше, и восхищался последней минутой, не то что наши робкие подружки.

Не удивительно, что мать сокрушалась о моем здоровье и сетовала откровенно на мое безразличие к бедной Ирме, которое, на ее взгляд, могло поссорить меня с влиятельными друзьями покойного отца. На это я молчал, а через день-другой приносил цветок или уцененную корзиночку для шерсти. Ирма была помягче — должно быть, она верила, что после брака я снова буду жить как люди; и сам я был недалеко от этих мыслей, хоть и не мог расстаться с надеждой на то, что там, в царстве галереек, страх схлынет и я не буду искать защиты дома и понимать, что защиты нет, как только мама печально вздохнет, а Ирма протянет мне кофе, улыбаясь хитрой улыбкой невесты. В те дни у нас царила одна из бесчисленных военных диктатур, по всех волновала больше угроза мировой войны, и всякий день в центре собирались толпы, чтоб отметить продвижение союзников и освобождение европейских столиц. Полиция стреляла в студентов и женщин, торговцы опускали железные шторы, а я, застрявши в толпе у газетных стендов, думал, когда же меня доконает многозначительная улыбка Ирмы и биржевая жара, от которой мокнет рубаха. Я чувствовал теперь, что мирок галереек — не цель и не венец желаний. Раньше я выходил, и вдруг на любом углу все могло закружиться почти незаметно, и я попадал без усилий на Плас-де-Виктуар, откуда так приятно нырнуть в переулок, к пыльным лавочкам, а если повезет — оказывался в Галери Вивьен и шел к Жозиане, хотя, чтоб себя помучить, любил пройтись для начала по Пассаж-де-Панорама и Пассаж-де-Прэнс и, обогнув биржу, прийти кружным путем. А теперь в галерее Гуэмес даже не пахло кофе мне в утешенье (несло опилками и щелоком), и я чувствовал смутно, что мир галереек — не пристань, и все же верил еще, что смогу освободиться от Ирмы и от службы и найти без труда угол, где стоит Жозиана. Я всегда хотел вернуться — и перед газетными витринами, и среди приятелей, и дома, в садике, а больше всего вечером, когда там загорались на улице газовые рожки. Но что-то держало меня около матери и Ирмы — быть может, я знал, что в галерейках меня уже не ждут, страх победил. Словно автомат, входил я в банки и в конторы,

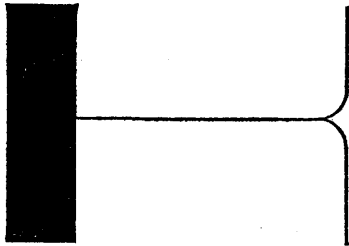
терпеливо покупал акции и продавал и слушал, как цокают копыта и полицейские стреляют в толпу, славящую союзников, и так мало верил в освобождение, что, очутившись в мире галереек, даже испугался. Раньше я не чувствовал себя таким чужим, чтоб оттянуть время, я нырнул в грязный подъезд и, глядя на прохожих, впервые привыкал заново к тому, что казалось мне прежде моим: к улицам, фиакрам, перчаткам, платьям, снегу во двориках и гомону в лавках. Наконец стало снова светло, и я нашел Жозиану в Галери Кольбер, и она целовала меня, и прыгала, и сказала, что Лорана уже нет, и в квартале всякий вечер это празднуют, и все спрашивают, куда я пропал, как же не слышал, и снова прыгала, и целовала. Никогда я не желал ее так сильно, и никогда нам не было лучше под крышей, до которой я мог дотянуться из постели. Мы шутили, целовались, радостно болтали, а в мансарде становилось все темнее. Лоран? Такой курчавый, из Марсея, он — трус, он заперся на чердаке, где убил еще одну женщину, и жалобно просил пощады, пока полицейские взламывали дверь. Его звали Поль, мерзавца, нет, ты подумай — еще и трус, убил девятую женщину, а когда его тащили в тюремную карету, вся здешняя полиция стояла (правда, без особой охоты), а то б его убила толпа. Жозиана уже привыкла, погребла его в памяти, не сохранившей деталей, но мне и того хватало, я просто не верил, и только ее радость убедила меня наконец, что Лорана нет, и мы сможем ходить по переулкам, не опасаясь подъездов. Это надо было отметить, и, раз еще и снега не было, Жозиана повела меня на танцы к Пале-Рояль, где мы не бывали при Лоране. Когда, распевая песни, мы шли по Рю-де-Пти-Шан, я обещал ей повести ее попозже на бульвары, в кабаре, а потом — в наше кафе, где за бокалом вина я испулю свое отсутствие.

Несколько недолгих часов я пил из полной чаши здешнего, счастливого времени, убеждаясь, что страх ушел, и я вернулся под мое небо, к гирляндам и статуям. Танцуя в круглом зале у Пале-Рояль, я сбросил с плеч последнюю тяжесть межвременья и вернулся в лучшую жизнь, где нет ни Ирминой гостиной, ни садика, ни жалких утешений Гуэмес. И позже, болтая с Кики, Жозианой и хозяином и слушая о том, как умер аргентинец, и позже я не знал, что это — отсрочка, последняя милость. Они говорили о нем насмешливо и небрежно, словно это — здеш-

ний курьез, проходная тема, и о смерти его в отеле упомянули мимоходом, и Кики затрещала о будущих балах, и я не сразу смог расспросить ее подробней, сам не пойму — зачем. Все ж кое-что я узнал, например — его имя, самое французское, которое я тут же забыл; узнал, как он свалился на одной из улиц Монмартра, где у Кики жил друг; узнал, что он был один, и что горела свеча среди книг и бумаг, и друг его забрал кота, а хозяин отеля сердился, потому что ждал тестя и тещу, и лежит он в общей могиле, и никто о нем не помнит, и скоро будут балы на Монмартре, и еще — взяли Поля-марсельца, и пруссаки совсем зарвались, пора их проучить. Я отрывался, как цветок от гирлянды, от двух смертей, таких симметричных на мой взгляд — смерти американца и смерти Лорана, — один умер в отеле, другой растворился в марсельце, и смерти сливались в одну и стирались навсегда из памяти здешнего неба. И ночью я думал еще, что все пойдет, как раньше, до страха, и обладал Жозианой в маленькой мансарде, и мы обещали друг другу гулять вместе летом и ходить в кафе. Но там, внизу, было холодно, и угроза войны гнала на биржу, на службу, к девяти утра. Я переломил себя (я думал тогда, что это нужно), и перестал думать о вновь обретенном небе, и, проработав весь день до тошноты, поужинал с матерью, и рад был, что она довольна моим состоянием. Всю неделю я бился на бирже, забегал домой сменить рубашку и снова промокал насквозь. На Хиросиму упала бомба, клиенты совсем взбесились, я бился, как лев, чтоб спасти обесцененные акции и найти хоть один верный курс в мире, где каждый день приближал конец войны, а у нас еще пытались поправить непоправимое. Когда война кончилась и в Буэнос-Айресе хлынули на улицу толпы, я подумал, не взять ли мне отпуск, но все вставали новые проблемы, и я как раз тогда обвенчался с Ирмой (у матери был припадок, и семья, не совсем напрасно, вишла в том меня). Я снова и снова думал, почему же, если там, в галереях, страха больше нет, нам с Жозианой все не приходит время встретиться снова и побродить под нашим гипсовым небом. Наверное, мне мешали и семья и служба, и я только иногда ходил для утешения в галерею Гуэмес, и смотрел вверх, и пил кофе, и все неуверенней думал о вечерах, когда я сразу, не глядя, попадал в мой мир и находил Жозиану в сумерках, на углу. Я все не хотел признать, что веноч сплетен и я не встречу ее ни в проулках, ни на бульварах. Несколько

дней я думаю про американца и, нехотя о нем вспоминая, утешаюсь немного, словно он убил и нас с Лораном, когда умер сам. Я разумно возражаю сам себе — все не так, я спутал, я еще вернусь в галереи, и Жозиана удивится, что я долго не был. А пока что я пью мате, слушаю Ирму (ей в декабре рожать) и думаю довольно вяло, голосовать мне за Перона, или за Тамборини, или бросить пустой бюллетень, или остаться дома, пить мате и смотреть на Ирму или на цветы в садике.

ПУТЕШЕСТВИЯ



Когда путешествуют славы, то, останавливаясь в каком-нибудь городе на ночлег, они поступают так: один слава идет в гостиницу и осторожно наводит справки о ценах, о качестве простынь и расцветке ковров. Второй направляется в полицейский комиссариат и заполняет декларацию на движимость и недвижимость всех троих, а также составляет опись содержимого их чемоданов. Третий слава идет в больницу и там списывает фамилии дежурных врачей и их специальности.

Покончив с этими неотложными делами, путешественники собираются на главной городской площади, делятся результатами своих наблюдений и заходят в кафе выпить аперитив. Но перед этим они берутся за руки, становятся в круг и пляшут. Этот танец носит название «радость слав».

Когда путешествуют кронопы, то все гостиницы переполнены, поезда уходят из-под носа, льет проливной дождь, а шоферы такси отказываются их везти или сдирают бешеные деньги. Но кронопы не падают духом, ибо они абсолютно уверены в том, что так происходит со всеми, и, ложась спать, они говорят друг другу: «Какой красивый город, какой изумительно красивый город!» И всю ночь им снится, что в городе большой праздник и они тоже в числе приглашенных. Наутро они встают в превосходном настроении, — и вот так путешествуют кронопы.

Надежды ведут оседлый образ жизни, их перевозят вещи и люди; они подобны статуям, — чтобы их увидеть, надо к ним подойти, ибо сами они утруждать себя не станут.

ЧАСЫ

У одного славы были настенные часы, и каждую неделю он заводил их с *большой осторожностью*. Мимо проходил кроноп, и, увидев это, он засмеялся, пошел домой и изобрел часы-артишок.

Чтобы сделать часы-артишок, этот кроноп взял артишок с большой головкой и воткнул его в специальное отверстие в стене. Бесчисленные листики артишока отмечают текущий час и, кроме того, все часы, так что кронопу достаточно сорвать один листик, и он узнаёт, который час. Так как он отрывает их слева направо, листик всегда показывает верное время, и каждый день кроноп начинает отрывать новый венчик листьев. Когда он достигает сердцевины, время уже нельзя измерить, и в бесконечности этой лиловой внутренней розочки кроноп находит большую радость; он съедает ее с маслом, уксусом и солью и вставляет в отверстие новые часы.

ПЛАТКИ

Один слава очень богат, и у него есть служанка. Этот слава использует носовой платок и кидает его затем в корзину для бумаг. Использует другой и кидает его в корзину. Он кидает в корзину все использованные платки. Когда они кончаются, он покупает себе новую коробку.

Служанка собирает платки и берет их себе. Ее очень удивляет поведение славы, и в один прекрасный день она не может удержаться и спрашивает его, неужели платки действительно надо выбрасывать.

— *Круглая ты идиотка,* — говорит слава. — *Не надо было спрашивать.* С этого дня ты будешь стирать платки, а я сберегу деньги.

ФИЛАНТРОПИЯ

Славы способны на чрезвычайно великодушные поступки, — например, увидев бедную надежду, свалившуюся с кокосовой пальмы, слава сажает ее в свой автомобиль

или женой, обе стороны здороваются друг с другом почтительно и издалека. Они не осмеливаются даже заговорить, настолько каждый по-своему совершенен и боится заразы.



ИХ ВЕРА В НАУКИ

Одна надежда верила в физиономические типы, такие, как курносые, типы с рыбьими лицами, типы, задирающие нос, типы унылые и бровастые, типы с интеллигентными лицами, типы с парикмахерской красотой и т. д. Решив дать окончательное определение каждой из этих групп, надежда для начала занесла своих знакомых в длинные списки и затем поделила их вышеуказанным образом. Потом взяла первую группу, состоящую из восьми курносых, и с удивлением заметила, что на самом деле эти молодые люди подразделяются на три типа, а именно: курносые с усами, курносые боксерского типа и курносые типа министерских курьеров, что составило три, три и два курносых соответственно. Едва она распределила их по новым группам (в баре Паулиста де Сан-Мартин, куда она собралась с большим трудом и при помощи небольшого количества хорошо взбитого кофе-гляссе), она тут же увидела, что первая подгруппа не однородна, потому что двое из курносых с усами относились к типу тапирообразных, а третий, без всякого сомнения, к курносым японского образца. Отодвинув его в сторону при помощи большого бутерброда с анчоусами и крутым яйцом, она усадила подгруппу из двух тапирообразных и собралась было описать их в своей тетради для научных наблюдений, когда один из тапирообразных взглянул в одну сторону, а другой в противоположную, вследствие чего надежда и прочие собравшиеся смогли убедиться в том, что, в то время как первый из тапирообразных относился, несомненно, к брахицефальным курносым, череп второго гораздо больше был приспособлен для того, чтобы на него вешали шляпу, а не надевали ее. Вот так распалась подгруппа, а об остальном мы умолчим, потому что все прочие типы перешли от кофе-гляссе к тростниковому ликеру, и единственное, что объединяло их на этой стадии, — это их твердое желание продолжать выпивку за счет надежды.

◆ ВОСПИТАНИЕ ПРИНЦА

У кронопов редко рождаются сыновья, но если сын все же появляется, они теряют голову, и тогда происходят самые удивительные вещи. Например, у кронопа родился сын; это немедленно переполюсовывает его восторгом, он уверен, что его сын — столп красоты и что по его жилам бежит полный ассортимент химических веществ с вкрапленными туда островками всех искусств, и поэзии, и благовоспитанности. И тогда этот кроноп уже не может видеть своего сына, без того чтобы не склониться перед ним в глубоком поклоне и не воздать ему наивысшие почести.

Естественно, что сын пронзительно ненавидит его. Когда малыш вступает в школьный возраст, отец записывает его в первый класс, и ребенок веселится среди других маленьких кронопов, слав и надежд. Но по мере того как дело приближается к полудню, он становится все более непослушным, ибо знает, что у входа его ждет отец, который при виде сына воздевает руки и изрекает разные слова, а именно:

— Прогулки без охулки, кронопчик, кронопчик, самый хороший, и самый высокий, и самый румяный, и самый красноречивый, и самый почтительный, и самый прилежный из детей!

При этом маленькие славы и надежды корчатся от смеха на обочинах дорожки, а маленький кроноп остро ненавидит своего отца и в конце концов всегда умудряется между первым причастием и военной службой устроить ему веселую жизнь. Но кронопы не особенно страдают от этого, потому что они тоже ненавидели своих отцов, и им даже кажется, что эта ненависть — просто другое название для свободы и просторного мира.

◆ НАКЛЕИВАЙТЕ МАРКУ В ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ УГОЛ КОНВЕРТА

Один слава очень дружит с кронопом; они вместе идут на почту отправить письма своим женам, которые путешествуют по Норвегии, вверившись заботам агентства «Кук и сын». Слава аккуратно наклеивает свои марки, разглаживая их, чтобы они хорошенько пристали к кон-

верту, но кроноп издает отчаянный вопль, пугая служащих, и с безграничным возмущением заявляет, что картинки на марках грубы, отвратительны и что никогда в жизни он не согласится опозлить проявление супружеской любви подобной гадостью. Славе очень неудобно, потому что он уже наклеил свои марки, но, будучи другом кронопа, он хочет его поддержать и замечает, что марка в двадцать сентаво, пожалуй, действительно несколько уродлива и *шаблонна*, но зато марка в один песо имеет красивый оттенок старого вина. Это ничуть не успокаивает кронопа, он размахивает письмом и изливает свой гнев на почтовых работников, взирающих на него с изумлением. Появляется начальник почты, и не проходит и двадцати секунд, как кроноп оказывается на улице, с письмом в руке, полный глубокой обиды. Слава, который успел украдкой опустить свое письмо в ящик, спешит утешить его и говорит:

— Как удачно, что наши жены путешествуют вместе: я сообщил в письме, что ты здоров, таким образом, твоя жена узнает об этом от моей.



ИХ ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Цветок и кроноп

Один кроноп видит в поле цветок. Сначала он хочет его сорвать, но потом думает, что это ненужная жестокость, и становится на колени, и весело принимается играть с цветком, а именно: гладит ему лепестки, дует на него, чтобы он танцевал, жужжит пчелой, вдыхает его аромат и наконец ложится под цветком и засыпает, довольный и спокойный.

Цветок думает: «Он как цветок».

Слава и эвкалипт

Один слава гуляет по лесу, и хотя дрова ему не нужны, он жадно разглядывает деревья. Деревьям очень страшно, потому что они знают нравы слав и опасаются самого худшего. Среди других деревьев стоит прекрасный эвкалипт, и при виде его слава испускает радостный вопль

и принимается плясать вокруг обеспокоенного эвкалипта, приговаривая:

— Антисептические листья, зима без болезней, весьма гигиенично.

Он достает топор и, не долго думая, бьет эвкалипт в живот. Раненный насмерть, эвкалипт издает стон, и другие деревья слышат, как он шепчет, стеная:

— И подумать только, что этому идиоту надо было просто купить в аптеке таблетки Вальда.

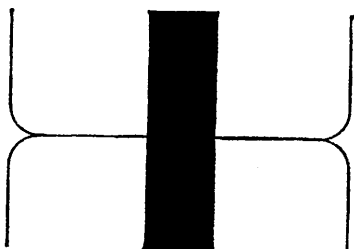
Черепахи и кронопы

Вполне естественно, что теперь черепахи преклоняются перед высокими скоростями.

Надежды знают об этом, но им все равно.

Славы знают об этом и издеваются.

Кронопы знают об этом и всякий раз, когда встречают черепаху, вытаскивают коробку с цветными мелками и на круглом щите черепахи рисуют ласточку.



БАСНЯ БЕЗ МОРАЛИ

ил-был человек, который продавал слова и выкрики. Дела у него шли хорошо, хотя попадалось много людей, упорно торговавшихся и просивших сбавить цену. Человек почти всегда уступал и потому легко сбывал всякие вопли уличным торговцам, разные охи и вздохи богатым дамам и расхожие слова для указов, лозунгов, заголовков и фальшивых ситуаций.

Наконец человек подумал, что пришло время, и попросил аудиенцию у тиранчика — местного правителя, который ничем не отличался от других таких же правителей и принял его в окружении генералов, министров и чашечек кофе.

— Я пришел продать вам ваши последние слова, — сказал человек. — Они очень важны, но когда пробьет час, вы их ни за что не найдете, а именно в последний момент вам надо выразиться красиво, чтобы потом было легче воспроизвести ход истории.

— Переведи то, что он сказал, — велел тиранчик своему переводчику.

— Он аргентинец и говорит на нашем языке, ваше превосходительство.

— На нашем? Почему же я ничего не понял?

— Вы прекрасно все поняли, — сказал человек. — Повторяю, что пришел продать вам ваши последние слова.

Тиранчик встал, как полагается в таких случаях, и, стараясь преодолеть дрожь в коленках, приказал арестовать человека и бросить в один из специальных застенков, каковые всегда имеются при подобных правительствах.

— Жаль, — сказал человек, когда его схватили. — Ведь в самом деле вам захочется произнести свои последние

слова, когда пробьет ваш час, и вы должны будете сказать их, чтобы потом было легче воспроизвести ход истории. Я хотел продать вам именно то, что вы захотите сказать, и обмана тут нет никакого. Но вы не идете на сделку и не желаете заранее вызубрить эти слова, и когда в последний момент они сами попросятся вам на язык, вы ни за что не сможете их сказать.

— Почему я не смогу их сказать, если они как раз те, которые я захочу сказать? — спросил тиранчик, принимаясь за вторую чашечку кофе.

— Потому что вас одолеет страх,— печально сказал человек.— Когда вам накинута петля на шею, оставят в одной рубахе, у вас застучат зубы от ужаса и от холода, и вы не сможете произнести ни слова. Палач и его помощники, среди которых будут некоторые из этих сеньоров, подождут для приличия минутки две, но, так как вы будете только хрипеть вперемежку с икотой и мольбой о прощении (это полезет из вас без всяких усилий), им надоест слушать, и вас повесят.

Возмущенные помощники, и особенно генералы, окружили тиранчика, прося его немедленно расстрелять человека. Но тиранчик, бледный-пребледный как смерть, растолкал их и заперся наедине с человеком, чтобы купить свои последние слова.

Меж тем генералы и министры, оскорбленные таким к себе отношением, подготовили мятеж и на завтра схватили тиранчика, когда тот ел виноград в своей любимой беседке. Дабы он не смог сказать своих последних слов, они его пристрелили на месте. Затем бросились искать человека, который исчез из правительственного дворца, и не замедлили найти его, ибо он разгуливал по базару, продавая выкрики торговцам и газетчикам. Бросив человека в тюремный фургон, они привезли его в крепость и стали пытаться, чтобы он выдал слова, которые мог напоследок сказать тиранчик. Им не удалось добиться у него признанья, и его забили ногами насмерть.

Уличные торговцы, которые приобрели у него слова, продолжали выкрикивать их на всех углах, и один из этих выкриков позже послужил призывом к перевороту, который покончил с генералами и министрами. Некоторые из них перед смертью успели со стыдом себе признаться, что в действительности человек их надул и обвел вокруг пальца и что слова и выкрики, правда, могут быть пред-

метом продажи, но не купли, хотя это и кажется абсурдом.

И все стали потихоньку гнить в земле — тиранчик, человек, генералы и министры, но выкрики продолжают раздаваться на улицах.

◆ «ВХОД С ВЕЛОСИПЕДОМ ВОСПРЕЩЕН»

На всем белом свете в банках и магазинах никому нет никакого дела — войдете ли вы туда с кочаном капусты под мышкой, с крючконосым туканом, или насвистывая песенки, которым вас в детстве учила мать, или ведя за лапу шимпанзе в полосатых штанах. Но если человек входит туда с велосипедом, поднимается настоящий переполох, и служители вышвыривают машину на улицу, а ее владельцу всыпают по первое число.

Велосипед, этот скромный трудяга, чувствует себя униженным и оскорбленным постоянными напоминаниями, высокомерно красующимися на стеклянных входных дверях. Известно, что велосипеды изо всех сил старались изменить свое жалкое социальное положение. Но абсолютно во всех странах «вход с велосипедом воспрещен». А иногда добавляется — «и с собаками», что еще сильнее заставляет велосипеды и собак ощущать комплекс неполноценности. И кошки, и заяц, и черепаха в принципе могут войти в роскошный универмаг Бунхе-Борн или в адвокатские конторы на улице Сан-Мартин, вызвав всего лишь удивление или великий восторг жадных до сенсаций телефонисток или, в крайнем случае, распоряжение швейцара об удалении вышеупомянутых животных. Да, последнее может иметь место, но это не унижительно, во-первых, потому, что допускается как мера возможная, но не единственная, и, во-вторых, потому, что является реакцией на нечто непредвиденное, а не следствием заведомых антипатий, которые устрашающе выражены в бронзе или эмали, или непрерываемых скрижалей закона, который вдребезги разбивает простодушные порывы велосипедов, этих наивных существ.

Но смотрите, берегитесь, власть имущие! Розы тоже несведущи и приятны, однако вы, вероятно, знаете, что в войне двух роз умирали принцы — черные змии, ослепленные кровавыми лепестками. Не случится ли так, что

однажды велосипеды будут угрожать вам, покрывшись шипами, что рога рулей вырастут и повернут на вас, что, защищенные броней ярости, они — легион числом — устремятся к зеркальным дверям страховых компаний и что печальный день завершится всеобщим падением акций, двадцатичетырехчасовым трауром и почтовыми уведомлениями о похоронах.



МУКИ СЛУЖЕБНЫЕ

Моя верная секретарша из тех людей, что выполняют свой долг «бук-ва-ли-сти-чес-ки», а это, как известно, значит вдаваться в крайности, оккупировать территории, запускать пятерню в стакан с молоком, чтобы вытащить один несчастный волосок.

Моя верная секретарша вершит или хотела бы вершить абсолютно всем в моем кабинете. Мы проводим дни, доброжелательно сражаясь за распределение прав и обязанностей, мило обмениваясь колкостями, убегая и возвращаясь, подлавливая друг друга и великодушно прощаая. У нее хватает времени решительно на все, она не только старается утвердить свое господство в кабинете, но и с великой дотошностью относится к своей работе. Например, к словам. Не проходит дня, чтобы она не полировала их, не чистила, не раскладывала бы по полочкам, не готовила и не драила для обычного употребления. Если у меня при диктовке с языка срывается какой-либо предосудительный эпитет — ибо все эпитеты такого рода рождаются без участия моей секретарши, некоторым образом мною самим, — она, подняв карандаш, на лету настигает его и убивает, не давая слиться с фразой и выжить — случайно или по привычке. Если дать ей волю, если бы в эту секунду дать ей волю, она вышвырнула бы в ярости всю мою писанину в корзинку. Она полна такой решимости заставить меня жить правильно, что любой мой шаг не по струнке ввергает ее в тихую ярость — ушки на макушке, хвост трубой, дрожь в конечностях, как у пойнтера на стойке. Приходится изворачиваться и, делая вид, что редактируешь какой-нибудь доклад, пополнять некоторые листочки розовой или зеленой бумаги словами, которые мне нравятся, — с их игрой, с их выкрутасами и бравыми наскаками.

Моя верная секретарша меж тем наводит порядок в бумагах, будто равнодушная, но всегда готовая к броску. Посредине одного стиха, который рождался, бедняга, таковой довольный самим собою, я вдруг слышу ее осуждающее, жуткое повизгивание, и мой карандаш сам по себе начинает рваться к вредным словам, спешно вымарывает их, устраняет странное, вычищает нечистое, придает им блеск и красоту, и оставшееся звучит, возможно, очень хорошо, но только... эта вот тоска, этот скверный привкус во рту, эта роль начальника при своей секретарше.

◆ ВОЗМОЖНОСТИ АБСТРАГИРОВАНИЯ

Многолетняя работа в ЮНЕСКО и других международных организациях помогла мне сохранить чувство юмора и, что особенно важно, выработать способность абстрагироваться, иными словами — убирать с глаз долой любого неприятного мне типа одним лишь собственным внутренним решением: он бубнит, бубнит, а я погружаюсь в Мелвила; бедняга же думает, что я его слушаю. Аналогичным образом, когда мне нравится какая-нибудь девица, я могу, едва она предстает предо мной, абстрагироваться от ее одежды, и пока она болтает о том, какое сегодня холодное утро, я скрашиваю себе нудные минуты обзором ее пупка.

Иногда эта способность к абстрагированию переходит в нездоровую манию. В прошлый понедельник объектом моего внимания стали уши. Удивительно, сколько ушей металось в вестибюле за минуту до начала работы. В своем кабинете я обнаружил шесть ушей, около полудня в столовой их было более пятисот, симметрично расположенных двойными рядами. Забавно смотреть, как то и дело два уха, висевшие в воздухе, выпархивали из рядов и уносились. Они казались крылышками.

Во вторник я избрал предмет, на первый взгляд менее банальный: наручные часы. Я обманулся, ибо во время обеда насчитал их около двухсот, мельтешащих над столами: туда-сюда, вверх-вниз, — точь-в-точь как при еде. В среду я предпочел (после некоторого колебания) нечто более спокойное и выбрал пуговицы. Какое там! В коридорах словно полным-полно темных глаз, шныряющих в горизонтальном направлении, а по бокам каждого такого

горизонтального построения пляшут и качаются две, три, четыре пуговики. В лифте, где теснота неопиcуемая,— сотни неподвижных или чуть шевелящихся пуговиц в диковинном зеркальном кубе. Больше всего мне запомнился один вид из окна, вечером: на фоне синего неба восемь красных пуговиц спускаются по гибкой вертикали вниз, а в других местах плавно колышутся крохотные перламутрово-светлые незримые пуговики. Эта женщина была, должно быть, очень хороша собой.

Среда выдалась препаскудной, и в этот день процессы пищеварения мне показались иллюстрацией, наиболее подходящей к обстановке. Посему в девять с половиной утра я стал унылым зрителем нашествия сотен полных желудков, распираемых мутной кашцей — мешаниной из корнфлекса, кофе с молоком и хлеба. В столовой я увидел, как один апельсин разодрался на многочисленные дольки, которые в надлежащий момент утрачивали свою форму и прыгали вниз — до определенного уровня, — где слипались в белесую кучку. В этом состоянии апельсин пошел по коридору, спустился с четвертого этажа на первый, попал в один из кабинетов и замер там в неподвижности между двумя ручками кресла. Напротив в таком же спокойном состоянии уже пребывало четверть литра крепкого чая. В качестве забавных скобок (моя способность к абстрагированию проявляется по-всякому) все это окружалось струйками дыма, которые затем возвращались вверх, дробились на светлые пузыри, поднимались по каналцу еще выше и, наконец, в игривом порыве разлетались крутыми завитками по воздуху. Позже (я был уже в другом кабинете) под каким-то предлогом мне удалось выйти, чтобы снова взглянуть на апельсин, чай и дым. Но дым исчез, а вместо апельсина и чая были только две противные пустые кишки. Даже абстрагирование имеет свои неприятные стороны; я распрощался с кишками и вернулся в свою комнату. Моя секретарша плакала, читая приказ о моем увольнении. Чтобы утешиться, я решил абстрагироваться от ее слез и несколько секунд наслаждался зрелищем хрустальных шустрых ручейков, которые рождались в воздухе и разбивались вдребезги о справочники, пресс-папье и официальные бюллетени. Жизнь полна и таких красот.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Э. Брагинская. Хулио Кортасар и его рассказы</i>	5
<i>Захваченный дом. Перевод Н. Трауберг</i>	23
<i>Автобус. Перевод Н. Трауберг</i>	27
<i>Врата неба. Перевод М. Абезгауз</i>	35
<i>Заколоченная дверь. Перевод Н. Трауберг</i>	47
<i>Менады. Перевод Э. Брагинской</i>	53
<i>Аксолотль. Перевод В. Спасской</i>	66
<i>Ночью на спине, лицом кверху. Перевод Г. Полонской</i>	72
<i>Конец игры. Перевод Э. Брагинской</i>	80
<i>Мамины письма. Перевод Е. Биневой</i>	92
<i>Слюни дьявола. Перевод Э. Брагинской</i>	112
<i>Преследователь. Перевод М. Былинкиной</i>	127
<i>Южное шоссе. Перевод Г. Полонской</i>	179
<i>Остров в полдень. Перевод С. Змеева</i>	202
<i>Здоровье больных. Перевод Э. Брагинской</i>	210
<i>Сеньорита Кора. Перевод Н. Трауберг</i>	226
<i>Другое небо. Перевод Н. Трауберг</i>	241
<i>Из «Историй о кронопах и славах». Перевод В. Спасской</i>	257
<i>Из «Материала для ваяния». Перевод М. Былинкиной</i>	264

Хулио Кортасар
ДРУГОЕ НЕБО

Редакторы Г. Полонская
и А. Шлейфер

Художественный редактор
Д. Ермоленко

Технический редактор Л. Титова

Корректор Л. Фильцер

Сдано в набор 25/III 1971 г. Подписа-
но к печати 6/VIII 1971 г. Бумага
№ 2. 84×108^{1/2}. 8,5 печ. л. 14,01 уч.-
изд. л. 14,28 усл. печ. л.

Тираж 75 000 экз.

Заказ № 1940. Цена 93 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28